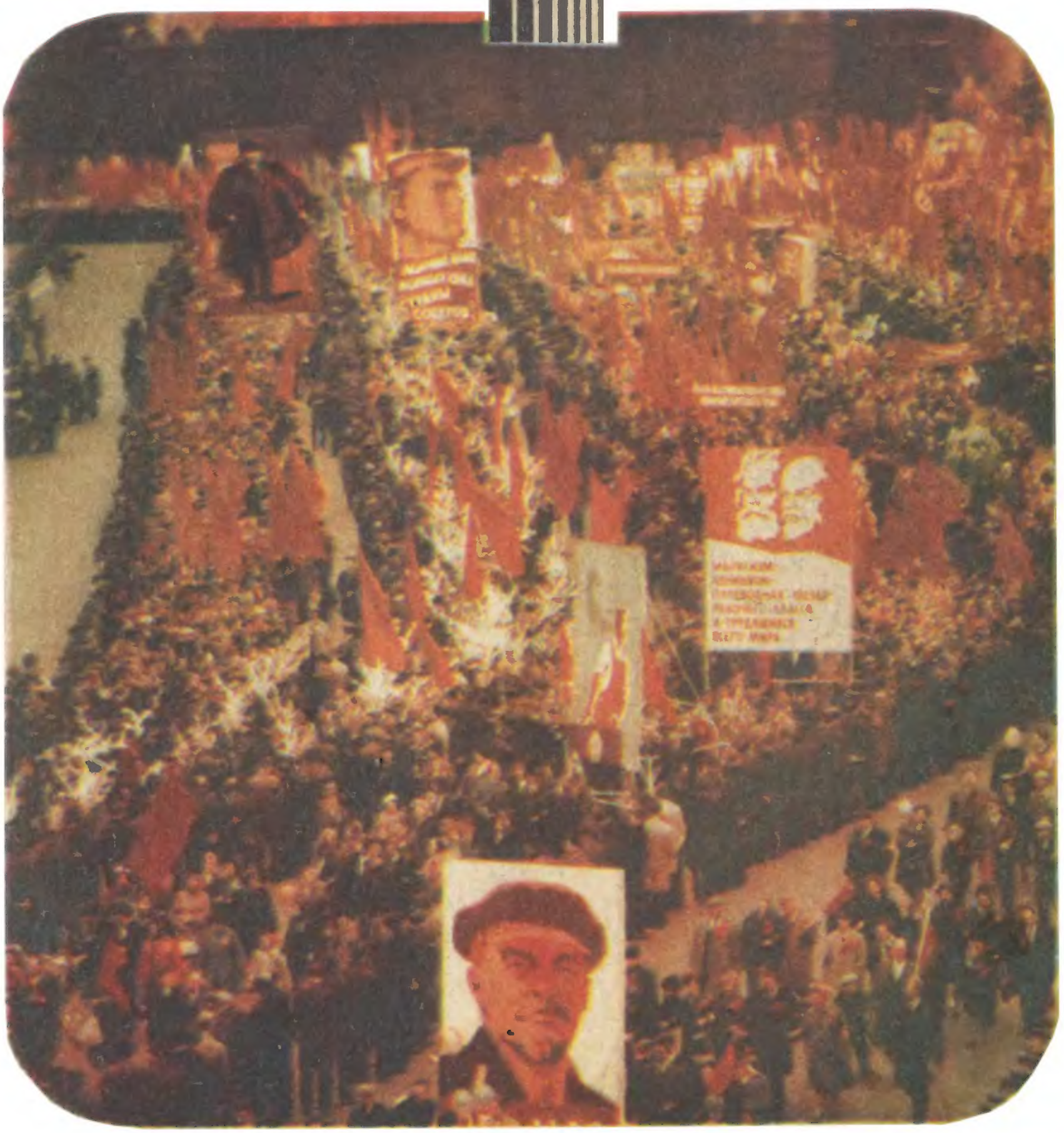
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



5•1981

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

5 • 1981

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

Анатолий САЛУЦКИЙ. **На своей земле** 3

К 36-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Генрих КУВИТАНОВ. **История «Беркута».** Документальная повесть 16

Иван СЛЕПНЕВ. **Принимаю присягу.** Стихи 55

В. М. ШАТИЛОВ, генерал-полковник, Герой Советского Союза. **В боях рожденное знамя** 60

●

Сергей ВИКУЛОВ. **Честь и совесть.** Стихи 102

Егор ИВАНОВ. **Негромкий выстрел.** Роман-хроника. Книга вторая. **Вместе с Россией.** Продолжение 110

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ТОВАРИЩ» 161

Виктор СМИРНОВ. **Солнце августа.** Стихи 227

СТИХИ МОЛОДЫХ

Валерий КРАСНОПОЛЬСКИЙ. **Живой огонь** 229

●

Михаил БУБЕННОВ. **Жизнь и слово.** (О времени и о себе) 232

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Маргарита ЛОМУНОВА. **Отчий дом** 296

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

Евг. ПАВЛИХИН. **Воспитание гражданина.** Николай ЛИСОВОЙ. **На службе России.** О. ФИЛИМОНОВ. **Преемственность критики.** Б. СПОРОВ. **Рядом с домом** 306

Первая и четвертая страницы обложки: фото Анатолия Бочинина.

Рисунки в номере художников В. Недогонова (стр. 16), В. Халютина (стр. 60), Б. Жутовского (стр. 110, 111), Л. Белова (стр. 232).

Наш адрес:

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а.
Телефоны редакции: приемная — 285-88-58; отдел прозы — 285-80-55; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-80-14; отдел «Товарищ» — 285-89-66; секретариат — 285-80-16.

© «Молодая гвардия», 1981 г.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ
О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ЦЕЛОМ,
ТО ПЕРЕД НИМ
СТОИТ ТА ЖЕ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА,
ЧТО И В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, —
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА.

Л. И. Брежнев

ДЕЛА И ЛЮДИ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Анатолий САЛУЦКИЙ

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

В каждом сельском районе, где приходится бывать — не только в Калужской области, — нередко слышишь грустную фразу: «Мелеет деревня, в города люди уходят». Спорить тут не приходится, однако стоит ли так сокрушаться? Ведь вопрос сегодня поставлен уже иначе. Разве в том дело, что уходят в города? Гораздо важнее разобраться: кто уходит, а кто остается?

Обратимся к цифрам. Возьмем не лучшие, не показательные цифры, не те, которые любят приводить в докладах и сводках, а самые что ни на есть рядовые, взятые в хозяйствах, отнюдь не самых передовых.

Вот, скажем, совхоз молочно-мясного направления «Желтоуховский». В Кировском районе он не очень приметен, его доля в общем вале скромная. В 1967 году, когда директором сюда пришел Дмитрий Иванович Носов, совхоз сдавал государству 30 тонн мяса и 200 тонн молока, было в

нем 617 голов крупного рогатого скота. А рабочих числилось в то время 563 человека.

Сегодняшние цифры таковы: мяса совхоз сдает 120 тонн, молока 705 тонн, на откорме у него 1200 голов. А людей в хозяйстве осталось... 230. Что же получается? Упрямая арифметика свидетельствует, что число рабочих сократилось в два с половиной раза, а выход продукции увеличился в четыре раза. Итак, производительность труда возросла в десять(!) раз.

Хочется повторить, что абсолютные цифры в совхозе «Желтоуховский» невелики, это хозяйство к аграрно-индустриальным не отнесешь — обычное, рядовое. А за последние четырнадцать лет — десятикратный рост производительности труда!

Дальше. Возьмем кошелевский «Путь к коммунизму». Этот колхоз покрепче, но тоже не гигант. Четверть века назад в хозяйстве было 240 голов крупного рогатого скота, из них 90 коров. А что сегодня? Крупного рогатого скота 1100 голов, из них 400 коров. Соответственно возросла и сдача мяса, молока. Иначе говоря, поголовье увеличилось в четыре раза, продуктивность скота — почти в два раза. Четверть века назад в колхозе было шестьсот трудоспособных членов артели, а теперь осталось триста. Значит, число работающих сократилось в два раза, и, следовательно, производительность труда за четверть века поднялась в шестнадцать раз. Подчеркиваю, не на 160 процентов, а в шестнадцать раз.

Можно взять и целый район. На сей раз не Кировский, а Мосальский — тоже Калужской области. Район этот, один из самых удаленных, в общеобластном вале абсолютными цифрами не блещет. О нем речь еще пойдет особо, потому что условия работы там нелегкие, положение объективно складывается напряженное. Только за последние десять лет население сократилось на восемь тысяч человек, иначе говоря, на сорок процентов! В 1970-м была 21 тысяча, а в минувшем — осталось 13 тысяч. Непосредственно в сельской местности, в колхозах и совхозах всего лишь 2100 трудоспособных.

И все-таки...

Район не только не снижает сдачу сельскохозяйственной продукции, а неизменно из года в год увеличивает ее. Производительность труда растет. Каждый трудоспособный колхозник и рабочий совхоза в Мосальском районе в среднем производит 4500 килограммов молока, 519 килограммов мяса, 4890 килограммов зерна и 2350 килограммов картофеля. Много людей кормит и поит ныне один мосальский крестьянин.

Можно приводить и другие цифры, но все они встанут в тот же ряд. За последние десять-пятнадцать лет, особенно после принятия постановления ЦК КПСС о развитии Нечерноземья, производительность труда в среднерусской деревне возросла многократно, а главное — продолжает расти все ускоряющимися темпами. Прежнее количество людей ныне просто-напросто не требуется. Уже давно во многих колхозах за одним механизатором закреплены по два, а то и более механизмов: косит кукурузу на силос, а пошел дождь, тут же пересаживается на трактор и вывозит на вспаханные поля навоз.

Да, числом в деревне теперь много не возьмешь — надо брать умением.

И вот тут снова хочется поставить насущный вопрос: кто уходит, а кто остается? Потому что сегодня селу нужны в первую очередь люди умелые.

Между тем нечерноземная деревня стремительно стареет. Молодежь действительно в большинстве своем оседает в городах, и даже парни, после десятилетки избравшие сельское хозяйство, после армейской службы зачастую предпочитают домой не возвращаться. Так что проблема не в количественном сокращении сельского населения, а в изменении его возрастного состава, за которым видится тревожная перспектива — уменьшение доли трудоспособных. Потому что в ближайшие годы достигнет пенсионного рубежа сразу целое поколение — многочисленное поколение родившихся перед войной. Вдобавок немало из этих людей с трудной юностью не получили даже семилетнего образования и все больше отстают от возможностей современной сельскохозяйственной техники.

Все это, впрочем, достаточно хорошо известно. Но если от общих привычных представлений перейти к цифрам, к демографической статистике, то можно обнаружить несколько странное на первый взгляд явление. Не только в полнокровном селе Волое, но даже в «мелеющем» Мосальском районе всем выпускникам десятилетних школ места в колхозах и совхозах не найдется. Хозяйства вполне в состоянии поглотить один выпуск, второй, третий, ну четвертый... А дальше, даже с учетом проводов на пенсию, трудоустраивать молодежь станет нелегко. Потому что все парни после десятилетки или сельских ПТУ садятся на тракторы, комбайны, девушки идут на механизированные молочные фермы и комплексы, где неуклонно сокращается доля ручного труда. В общем, три-четыре полных выпуска — и вся сельская техника в поле и в животноводстве окажется занятой, впоследствии для пополнения потребуются лишь единицы.

Знаю, мне могут возразить: уж сколько лет исправно, целыми классами направляем молодежь в сельское хозяйство, но все нехватка. А считал ли кто-нибудь, сколько человек из этих «целых классов» действительно остается в деревне спустя два-три года? Кое-кто считал и с тоской подытожил: мало, очень мало. А потому с еще большим усердием стремится направлять молодежь в сельское хозяйство, так сказать, «оптом», сразу выпускными классами в расчете на то, что из каждого выпуска, глядишь, кто-нибудь все же приживется в колхозе, зацепится.

Так не настало ли уже время для того, чтобы выпускников в сельское хозяйство направлять не «оптом», а выбирать из них наиболее достойных, наиболее трудолюбивых и толковых?

(Замечу в скобках, что даже с точки зрения психологической огульный, «оптовый» подход, по мнению ученых, оказывает отрицательное воздействие на формирование интересов молодежи. И наоборот, избирательный подход к формированию кадров в той или иной отрасли повышает престиж данной профессии.)

Но это все теория. Поэтому хочется рассказать о том, что может ныне сделать в сельском хозяйстве один современный молодой человек, любящий свое дело. Один, всего один. Причем работающий не в каких-то исключительных условиях, не в совхозе-гиганте, на виду у всех, близ большого города, а, как говорится, в самой что ни на есть глубинке.

С Виктором Ивановым я познакомился на партийной конференции Мосальского района, но слышал о нем раньше, еще в Калуге. Да и как не слышать: Иванов — чемпион Российской Федерации по машинному доению. Поэтому я Виктора разыскивал специально. С тем чувством любопытства, которое рождается от догадок: в какой мере образ человека, рожденный рассказами, совпадает с истинным?

Абсолютно не совпал, и говорить нечего! Чемпион республики, человек, который блестяще выступил на областном партийно-хозяйственном активе, так выступил, что по его предложению обком КПСС и облисполком приняли специальное постановление, оказался... невысоким худеньким пареньком, очень приятным, симпатичным, жизнерадостным. Выглядел он моложе своих двадцати четырех лет, но за плечами у него была уже интересная, сложная жизнь.

Родился он в деревне Тиханово, ничем не примечательной и, как сейчас говорят, неперспективной. И по сей день там живет. Помню, партконференция в Мосальске закончилась вечером, затемно, Виктора вместе с другими делегатами совхоза «Груздовский» должны были довезти до центральной усадьбы, а оттуда ему предстояло еще девять верст топать домой пешком, ночью.

— Я за полтора часа добегу, честное слово! — смеялся Иванов. — Сейчас подморозило, грязи нет... А летом был случай: мне совхоз дал путевку на Олимпиаду. Надо в Москву ехать, а я на автобус в тот день опаздывал. Как припустил! Потом глянул на часы и сам не поверил: за сорок минут добежал!

Отца он не помнит — умер рано. Мать малолетним водила Витеньку с собой на молочную ферму — боялась оставить малыша дома без присмотра. В общем, вырос парень около коров. С пятого класса начал помогать не только матери, но и другим доярка м. Все лето крутился рядом — посуду мыл, корм готовил. А когда перешел в девятый класс и переехал в Мосальск — сперва в интернат, а затем на частную квартиру, то во время каникул из родной деревни уже никуда не отлучался — подменял доярок.

И вот странно: во время такой подмены в плохоньких группах коров надои начинали подниматься.

Доение, конечно, было уже механическим, иначе пареньку не хватило бы сил, но остальное приходилось делать вручную. Работал по общему распорядку: на первую дойку бежал к пяти утра, на вторую — к часу, на вечернюю, если были коровы в летнем лагере, — к девяти вечера. Казалось, дня не видел.

В общем, о юности Виктора Иванова можно рассказывать долго. Но ведь известно: когда речь идет о том, как нынешний прославленный летчик с детства крутился около самолетов, — это интересно. А рядом со скотиной, в коровнике, в колхозе да в навозе — тут мало романтики. Но, между прочим, должен все-таки сразу заметить, что уже к двадцати четырем годам итог у Виктора Иванова получился куда заманчивее, чем, пожалуй, у многих его сверстников, подавшихся в город без определенной цели, без призвания.

После десятилетки он подал документы в Тимирязевку и, хотя не поступил, ничуть не расстроился, вернулся в родную деревню. Потом два года армейской службы, и снова — совхоз «Груздовский». А через три года, в 1980-м, Иванов был уже областным и российским чемпионом, знаменитостью, лучшим молодым дояром.

Но мало этого, крепко встал на ноги и материально — райисполком в поощрение за хороший труд предложил купить ему автомобиль... «Волгу». Правда, Виктор отказался по причине тихановского бездорожья. Однако при первом же пожелании эта машина будет продана ему вне очереди...

Невеста к Виктору едет из Москвы. То есть она местная, но после десятилетки отправилась в город, в строительное училище. А теперь вот тоже хочет работать на ферме.

Я еще продолжу рассказ о трудовой биографии Иванова, объясняющей столь быстрое его возмужание. Но сперва хочется сказать о другом, вспомнить о новых больших стройках, каких немало в нашей стране и на которые так охотно едет молодежь. Правильно, кстати, делает. Потому что эти стройки открывают перед теми, кто вступает в самостоятельную жизнь, перспективы огромные: в больших, только создающихся коллективах легче выдвинуться, проявить свои способности, утвердить себя в деле. Люди там растут стремительно: вчера рядовой бетонщик, завтра бригадир, послезавтра поступил в заочный институт, потом стал прорабом, начальником участка... За последние двадцать лет повелось мне бывать на всех крупных стройках — от Братска до «Атоммаша» — и видеть сотни быстро мужающих юношей, которых взрослит настоящее дело.

Не знаю, как среди горожан, а среди сельской молодежи почему-то очень твердо укоренилось мнение, будто такое желанное восхождение возможно лишь в далеких от родной деревни краях. А дома будто бы только колхоз да навоз, скучно, неинтересно...

Но пример Виктора Иванова показывает обратное. В Нечерноземье в силу целого ряда причин создалась нынче очень благодатная атмосфера для профессионального роста молодежи, для полного ее материального благополучия. Не следует воспринимать это как своего рода рекламу, хочу снова подчеркнуть, что для Иванова никаких специальных условий не создавали, что трудится он в удаленном, далеко не самом лучшем районе Калужской области, на старой молочной ферме, которой вот уже тридцать лет и которую скоро снесут.

Но трудится хорошо, вот и все. Правда, есть в его характере своеобразные качества, или, как говорят, странности.

«Странности» Виктора проявились еще в тот момент, когда он не сдал экзамена по биологии в Тимирязевке. Не сдал, а вышел из аудитории сияющим. У него попросили экзаменационный лист.

— Нет у меня экзаменационного листа, — весело улыбнулся Виктор.

— Как нет? А где же он?

— Там остался. — И кивнул на дверь. — Провалился я, понимаете, провалился.

— А что же ты смеешься? Вот чудак! Что делать-то теперь будешь?

— Как что? Пойду работать на ферму.

— Надо же, как интересно, — удивилась секретарь приемной комиссии. — Первый раз вижу, чтобы человек, не поступивший в институт, радовался возвращению в деревню.

Виктор не рисовался, он действительно был очень рад тому, что получил возможность вернуться на ферму.

Мы привыкли упрекать сельских десятиклассников и десятиклассниц в том, что они рвутся в города, пренебрегая работой в родных

селах. Но всегда ли справедливы такие упреки? Немало мне приходилось разговаривать с сельскими выпускниками, бывать у них дома, и могу со всей ответственностью сказать: очень большую вину за путаницу, возникающую в «зеленых умах», несут родители.

Школа, комсомол, все общественные организации бьются над тем, чтобы растолковать выпускникам, сколь притягательной становится работа в сельском хозяйстве. Но дома, в семье разговор совсем иной:

— Мы старики, нам на роду было написано грязь месить. А ты уж давай в город, в люди выходи.

Конечно, в любой семье отъезд ребенка в незнакомый, пугающий обилием людей город сопровождается переживаниями. Родительскому сердцу больно отпускать от себя детей. Но глубоко въевшаяся в сознание людей старого поколения убежденность в безусловных преимуществах городской жизни перед деревенской заставляет поощрять отъезд.

И еще: «Что скажут соседи?»

Это «Что скажут соседи?» по-прежнему очень влияет на деревенскую улицу, придавая некую инерционность мышлению потомственного сельского жителя. Может, где-то в глубине души он и начинает осознавать бесперспективность отъезда дочери или сына в город, да завалинка не позволяет ему принять иное решение. Потому что присядет кто-нибудь вечером у калитки и обязательно скажет:

— Наша-то в Москве, в строительном училище. В общежитие устроилась.

И язык не повернется ответить, что наша в деревне решила остаться, на ферму пойти. Потому что сосед или соседка как пить дать выразят сочувствие:

— Да-а... Не получилось, значит...

А такое сочувствие как острый нож.

Когда Виктор Иванов, еще учась в школе, помогал на каникулах дояркам, о нем как-то написала районная газета: вот, мол, удалец-молодец! Никто бы на ту заметку не обратил внимания, если бы... не родители. Не знаю, что уж они говорили по этому поводу своим детям, но некоторые из одноклассников, особенно те, кто тяготел к технике, стали над Виктором посмеиваться. Возможно, учился бы он плохо, его работу на ферме восприняли б как нечто естественное — от безысходности. Но в том-то и дело, что школу Иванов закончил без троек. И никто не понимал: зачем ему коровник? Увлечение это, прихоть, чудачество?

Кстати, и поступление в институт, в Тимирязевку, со стороны Иванова было своего рода слабостью, «данью моде», все ведь его к этому подталкивали. Потому-то он и не переживал свой провал на экзамене в институт.

Вот тут-то к нему и проявили сочувствие:

— Витька, неужели тебе в Москве места не нашлось? Парень ты вроде толковый, учился хорошо...

Но окончательный приговор ему вынесли тогда, когда после армейской службы Иванов вновь объявился в совхозе и опять пошел работать на ферму.

— Ничуть не поумнел, — говорили соседи его матери.

Да что там соседи, даже сама мать, сорок лет ходившая за скотиной, тоже корила сына, упрекала в ненужном пристрастии к де-

ревенской, к тому же исконно женской работе — не только в «Груздовском», но и во всем Мосальском районе не было ни одного доярa!

А теперь, спустя всего лишь три года, те же тихановские родители, совершенно позабыв про свои прежние суждения, твердят совсем иное:

— Витька Иванов как зашагал! Перспектива!

Между прочим, в Стрелевской школе-восьмилетке, где учился Виктор, в одном классе было десять парней и девчат из Тиханова. Потом все они перешли в мосальские десятилетки и получили среднее образование. Но в деревне из десятерых остался только один Виктор Иванов. Немудрено поэтому, что поначалу ему очень даже сочувствовали.

Когда Иванов приехал в совхоз после неудачи в Тимирязевке, главный зоотехник «Груздовского» Чистякова категорически сказала:

— Принимай ферму, будешь заведующим!

— Да что вы, Галина Федоровна! Я только школу кончил, кто меня слушать станет?

— Ничего, доярки тебя знают, столько лет на ферме рядом с ними... Не робей.

Так Виктор Иванов стал заведующим фермой — вожаком шести доярок возрастом от 35 до 50 лет. Доверие окрыляет, это Виктор почувствовал сразу же. Приняв ферму, он не мог работать так же, как раньше, он просто обязан был что-то изменить, усовершенствовать... Еще в восьмом классе Иванову случайно попался на глаза журнал «Молочное и мясное скотоводство» и заинтересовал его. Виктор решил подписаться на него. В то время его сверстники хвастались тем, что удалось подписаться на «Науку и жизнь», на «Технику — молодежи», на «Сельскую молодежь».

Чтение специального журнала обогатило молодого заведующего фермой знаниями, расширило технический кругозор. Вскоре Виктор обратился к директору совхоза с просьбой поставить на ферме кормораздатчики. И поскольку предложение было продумано до мелочей — с перечнем всех типов и марок необходимого оборудования, с расчетами экономической эффективности, директор не смог отказать. Хотя, честно говоря, очень уж не хотелось ему вкладывать средства в старую ферму. А Иванов настаивал: устройство кормораздатчиков позволило бы укрупнить группы коров и сократить число доярок.

Заказали оборудование в «Сельхозтехнике» и через полгода ферму механизировали. Это был первый настоящий праздник для семнадцатилетнего Виктора Иванова. В глазах доярок он увидел радость — теперь не придется таскать корма вручную! А ведь кормораздатчики можно было поставить и раньше. Но для этого требовался энергичный, мыслящий по-современному человек — и даже не где-то там, в дирекции совхоза, а непосредственно на месте действия, в коровнике.

Здесь я снова должен обратиться к цифрам, чтобы показать, как уверенно входил в свои служебные права Виктор Иванов, а заодно и подчеркнуть, сколь велики резервы сельскохозяйственного производства в Нечерноземье. Резервы, которые могут очень быстро использовать опять-таки энергичные, грамотные, неравнодушные, любящие свое дело люди.

На ферме было двести коров. И в первый же год — при Иванове — от каждой получили по 2800 килограммов молока, то есть на 400 килограммов выше, чем в среднем по совхозу.

Из армии Виктор все время слал в «Груздовский» письма и регулярно получал от зоотехника ответы. Если родители его сверстников были удивлены его возвращением, то в дирекции совхоза ни у кого даже не возникало сомнений в том, что Иванов приедет домой, его ждали.

И опять поставили заведующим. Он согласился, но на сей раз выдвинул условие: «по совместительству» возьмет группу коров и будет одновременно работать дояром. Понятно, никто не возражал, однако многие удивлялись: зачем?

А ему было интересно. Ин-те-рес-но! Он любил эту профессию, вот и все.

И потому взял не просто группу коров, а попросил первотелок. Это казалось ему еще интереснее. Известно, надои зависят от ухода за скотиной, от корма, не зря опытные доярки говорят, у коровы молоко на языке... Не успел Виктор освоиться, как ушла на пенсию одна из лучших совхозных доярок — Нина Ивановна Кутикова, оставив тридцать хороших, продуктивных коров. Кому их доверить?

И Виктор Иванов взял на себя и эту заботу.

Зиму 1978 года он встречал большим хозяйством. За ним было закреплено более полусотни коров. Взял обязательство за год получить от них 150 тонн молока. Опять сравним: в то время наивысший показатель по надоям молока в Мосальском районе составлял 110 тонн. Иными словами, молодой дояр замахнулся побить районный рекорд. И побил... свое собственное обязательство: взял по 3710 килограммов от каждой коровы, а всего — 173,5 тонны!

Не только в совхозе «Груздовском» — во всем Мосальском районе, повторяю, о таких надоях даже не слыхивали.

На второй год Виктор получил от группы коров уже 211 тонн молока со средним надоем 3900 килограммов. И принял участие в районном конкурсе мастеров машинного доения, как теперь называют доярок и дояров. Об этом традиционном конкурсе он слышал давно, вернее, читал в журнале «Молочное и мясное скотоводство».

Конечно, Иванов выиграл — в районе равных ему уже не было. Поехал в Калугу, на областной смотр — там тоже оказался первым. И его послали в Уфу, на Всероссийский конкурс 1979 года.

Итог известен — впервые в Калужской области объявился чемпион Российской Федерации по машинному доению. Стал им дояр совхоза «Груздовский» Мосальского района 23-летний Виктор Иванов.

Вот, собственно, и вся его биография, короткая, но, как видите, довольно насыщенная. Остается добавить, что, конечно же, он поступил в сельхозинститут и сейчас учится заочно на третьем курсе. Ему уже предлагали работать в совхозе зоотехником, но Виктор отказался. Более того, от заведования фермой устранился — полностью сосредоточился на дойке. И хотя через пару лет, когда он окончит институт, его, пожалуй, опять будут настойчиво уговаривать пойти в зоотехники, но пока что...

На партийной конференции Мосальского района он поднялся на трибуну и сказал, что всю одиннадцатую пятилетку намерен трудиться дояром, взять большую группу — коров сто пятьдесят — и получать ежегодно по 500 тонн молока.

— Я почему сказал — пятьсот? — объяснял мне потом Виктор.— Потому что рекорд Калужской области — четыреста тридцать тонн, в Медыни столько берут. Вот я и хочу этот рекорд побить. А если честно — примериваюсь на шестьсот тонн. — И улыбнулся: — Я всегда так, с запасиком...

Теперь подведем итог. В 1978 году Виктор Иванов надоил 173,5 тонны, в следующем — 211 тонн, в одиннадцатой пятилетке намерен брать минимум пятьсот, а то и все шестьсот тонн. И еще: сейчас в Мосальском районе доярки, даже самые лучшие, надаивают по 130 тонн в год.

Чудеса, да и только!

Но все-таки чудес не бывает. Тот факт, что Виктору Иванову удалось вдвое превзойти самые лучшие прежние надои Мосальска, можно объяснить его исключительной добросовестностью, любовью к делу. И еще тем, что комсомольская организация совхоза поддерживает Виктора во всех его добрых начинаниях, опыт его работы не раз обсуждался на собраниях и слетах животноводов-комсомольцев.

Конечно, 500—600 тонн Иванов намерен получать уже не в своем старом коровнике, а на новой механизированной ферме, которую заканчивают строить на центральной усадьбе совхоза «Груздовский». Кстати, неподалеку от фермы поставят хороший дом, куда переселится из Тиханова Виктор.

— Но прежнюю нашу избу, материнскую, сохраним, — рассказывал Иванов. — Летом поголовье обычно возрастает, держать его на центральной усадьбе невыгодно, далеко корма подвозить, вот и перегоним скот в летний лагерь, на берег Перекши, как раз к Тиханову. И будем в старом доме — вроде как на даче.

Теперь-то Иванову действительно, как принято говорить, создают условия. И это вполне естественно, он их заслужил. Новая ферма под стать его знаниям, его умению. Они вполне соответствуют друг другу — современный молодой сельскохозяйственный рабочий и современный уровень механизации животноводства. Для любого другого дояра и для любой доярки, которые умели бы работать так же, как Иванов, построили бы такие же новые фермы — сейчас дело не за техникой, а за людьми.

Еще несколько цифр. Виктор Иванов на новой ферме один сможет заменить пять-шесть нынешних доярок и будет поить молоком... 2800 человек, если иметь в виду, что каждый из нас выпивает пол-литра молока в день. Сто тысяч таких дояров вполне смогут напоить всю страну.

— Жизнь в деревне теперь намного лучше стала, — убежденно говорил Виктор. — Я считаю, что в самое ближайшее время молодежь устремится в деревню. Не только многие школьники будут оставаться, но даже из городов поедут. Вспомните мое слово. Вот только бы квартиры с удобствами...

Да, в деревне хорошо, но и в городе не хуже. Не в сравнениях тут дело, а в том, кому что по душе. И еще раз хочется сказать, что современному сельскому хозяйству нужны сейчас не вообще работники и даже не вообще молодежь, а только те, кто действительно хочет работать в аграрном производстве, кто любит его.

А любовь эта чувствуется сразу. Сядешь в попутный грузовик к какому-нибудь сельскому шоферу, и сразу станет ясно: он в деревне от безысходности или по желанию. У одного кабина замусоленная, грязная, а у другого чистенько, специальная скоба для

радиоприемника приварена, антенна на крышу выведена... Сравнишь двух таких водителей и снова думаешь о том, что нынешнему механизированному и начинающему уже автоматизироваться селу нужна теперь не просто «рабочая сила», а лишь люди, любящие свое дело.

Да, сегодня еще бытует мнение: в деревне остаются лишь те парни и девушки, которым не на что претендовать в городе.

Но завтра все будет наоборот: в город поедут те, кому не удастся устроиться на селе, кому не хватит там мест.

Сергей Иванович Якушев, первый секретарь Мосальского райкома партии, рассказывал мне, как собрал в прошлом году десятиклассников послушать Виктора Иванова:

— Он и вообще-то выступает неплохо, эмоционально, интересно. А в тот раз и вовсе удачно говорил. Смотрю, у ребят глаза заблестели. Одно дело, когда мы, взрослые, им что-то говорим. И совсем другое — когда сверстник, ведь его еще по школе помнят... А потом я развернул свежий номер газеты «Сельская жизнь» и на первой полосе показал всем большой портрет Виктора. Случайно получилось, как раз в тот день опубликовали... Иванов вообще сейчас нарасхват. Звонит мне Некрылов Петр Иваныч, первый секретарь Спас-Деменского райкома, говорит: «Нельзя ли Иванова нам на совещание молодых животноводов?» Пришлось послать, хотя Виктор очень не любит, когда его от работы отрывают.

Кстати, в фойе Дома культуры, где недавно проходила конференция мосальских коммунистов, были развешаны многочисленные таблицы с цифрами, характеризующими развитие района за пятилетку. Одна из таблиц меня заинтересовала, и я переписал ее. То были данные о количестве школьников, отправившихся после десятилетки работать в сельское хозяйство. Вот эта таблица:

1976 год. План — 25, факт. — 19.
1977 год. План — 25, факт. — 16.
1978 год. План — 25, факт. — 73.
1979 год. План — 42, факт. — 84.
1980 год. План — 30, факт. — 87.

Мое внимание привлек резкий перелом, происшедший в 1978 году. Позднее я спросил у Якушева, в чем тут дело. Сергей Иванович, подумав, ответил:

— Раньше было много, может быть, слишком много призывов к тому, чтобы молодежь шла в сельское хозяйство. Но только в 1978 году мы взялись за эту проблему по-настоящему, то есть от слов перешли к делу. Бюро райкома приняло решение и контролировало его исполнение неотступно. За счет денег, выделенных правительством из средств Всесоюзного коммунистического субботника, построили в Мосальске типовой городок для сельского профтехучилища с учебными корпусами на 350 человек и пятиэтажным общежитием. В общем, работали, и результаты сказались быстро... А кроме того... Понимаете, в таких делах очень важен почин, сила личного примера. Того же Виктора Иванова возьмите. За ним в сельское хозяйство многие потянулись. Или другое... Вот, скажем, Таня Завидохина, дочка заведующей общим отделом райкома партии, закончила десятилетку с золотой медалью, а трудится сейчас дояркой в колхозе «40 лет Октября». Дочь заведующего отделом пропаганды тоже... Все это, вместе взятое, и сказывается...

Однако нельзя от каждого требовать такого же подвижничества,

такой же самоотверженной любви к делу, какие помогали Виктору Иванову не обращать внимания на бытовые неудобства, на бездорожье, на нелегкие условия работы в старом коровнике. Рассчитывать надо на нормальных средних молодых людей, которые обладают необходимыми сельскому хозяйству знаниями и которые по праву требуют для себя современных условий жизни — квартир со всеми удобствами.

Между тем, например, в Мосальском районе, да и некоторых других районах Нечерноземья такие квартиры практически не строят. Остро встает проблема отопления, горячей воды. Мосальский район сильно удален от железной дороги. Ближайшая станция, откуда доставляют сюда грузы, платформа Мятлевская на линии Калуга — Износки, расположена в 80 километрах от Мосальска. До железнодорожной станции Барятинская всего полста километров, однако туда нет дороги.

Далеко находится Мосальск и от магистральных газовых путей. Но и это не все: лесные фонды в районе, как говорится, на пределе. Некогда могучие окрестные леса были почти полностью сведены в годы войны. Как раз на границе Мосальского и Спас-Деменского районов возвышается знаменитая Зайцева гора — прямо на трассе Варшавского шоссе поставлен монумент в честь павших здесь воинов и создан музей боевой славы. Сражения вокруг Зайцевой горы шли длительные и жесточайшие, леса, конечно, в большинстве выгорели. А новые, послевоенные, еще молоды, неспелы. Чтобы им подняться, возмужать, требуется минимум полвека; здесь можно проводить лишь санитарные рубки.

Иными словами, в районе сложилась очень трудная ситуация с топливом; своего нет, а возить издалека уголь или мазут очень дорого.

Зато есть электроэнергия. И вопреки запретам энергонадзора в некоторых новых домах местные власти разрешают ставить небольшие тены для отопления и подогрева воды. Если бы району официально разрешили использовать электроэнергию в этих целях, проблему строительства комфортабельных домов для животноводов было бы решить гораздо легче.

Вообще для каждого района целесообразно бы иметь экономико-географические расчеты, по-научному точно определяющие использование этого региона для общегосударственной выгоды. Ведь делается же такое в рамках сельского хозяйства: структуру посевных площадей и специализацию хозяйств определяют, исходя из конкретных местных условий. Скажем, калужане недавно возделывание льна почти полностью сосредоточили в Медынском районе, поближе к льнозаводам, потому что, например, из Кирова возить сырье далеко, накладно.

Почему бы не поступать так же в других вопросах, в частности, в вопросе об определении наиболее рационального источника энергии и топлива? Конечно, электроэнергия в «прижелезнодорожных» районах, куда легко завозить уголь, мазут, газ, является в отоплении роскошью, неоправданной тратой. А вот для такой глубинки, как Мосальск, электроэнергия — острая потребность, необходимые затраты, которые окупятся быстрым ростом производства сельскохозяйственной продукции.

Как видим, жизнь властно и настойчиво выдвигает задачу дифференцированного подхода к социально-экономическому развитию районов Нечерноземья. Истинную рентабельность можно вычислить

лишь тогда, когда будут устранены ведомственные барьеры и выгода — невыгода откроется с общегосударственных позиций.

Есть и еще одна трудность, до сих пор сдерживающая не только хозяйственное, но и социальное развитие этого края. Имею в виду очень плохое состояние сельских дорог.

Я поездил по ним на самых различных видах транспорта, включая такой уж совсем не пассажирский, как гусеничный трактор. Видел много дорожных ситуаций... Но особенно врезался в память один случай, происшедший как раз в Мосальском районе.

Я ехал на «козле» из деревни Речицы в Мосальск — это километров двенадцать. Был конец ноября, и стоял бесснежный мороз. Большак, напрочь разбитый в летние переувлажненные месяцы, намертво сковало холодом, и местами он зиял колеей глубиной до сорока сантиметров. Нас швыряло вверх и вбок, словно на крутой волне, вспомнил я в тот момент ямщиков, которые плотно перевязывали живот широким кушаком, чтобы при езде не побить внутренности. Райкомовский шофер виртуозно крутил баранку, чтобы не свалить машину в ямы. Вспотел, скинул шапку, а продвигались мы со скоростью не больше чем километров двадцать в час. По пути встретили лишь один отчаянный грузовик, столь же упрямо и мужественно преодолевавший бесчисленные проселочные рытвины, да мотоцикл с коляской, на котором, видимо, до лязга в зубах тряслись сразу четверо.

Где-то посередине пути, между Речицами и Мосальском, я увидел на дороге группу ребят — человек десять. Была суббота. Это шли домой школьники, учившиеся в Мосальске.

Они шли весело, размахивали сумками, о чем-то болтали, смеялись. Одеты в большинстве были ярко, нарядно — в разноцветных нейлоновых куртках, в модных клетчатых пальто. И этот разительный контраст между современной красивой одеждой школьников и грязным, разбитым проселком производил удручающее впечатление. Мальчишкам и девчонкам требовалось преодолеть пешком двенадцать-пятнадцать километров, чтобы добраться до своих деревень. И это в наш автомобильный двадцатый век?! Окончив школу, получив среднее образование, а вместе с ним и свободу выбора самостоятельного пути, эти парни и девушки не могут не устремиться с этого проселка на асфальт. И будут правы.

— Радуются ребятишки, что подморозило, — сказал водитель. — А вот когда здесь распутица или дождь... Прорва, да и только. В этом году здесь с весны автобусы не ходят.

Много, очень много было газетных дискуссий о том, какой строить в деревне дом. После непродолжительного крена в сторону пятиэтажных сельских «небоскребов» вернулись к небольшим коттеджам, жители которых, как говорится, не отрываются от земли, от огородничества. В таком исходе дискуссий, кстати, можно было не сомневаться, он единственно верный. А теперь спорят о другом — о принципах и генеральных схемах расселения в сельской местности. Собирать всех на центральных усадьбах или нет? Ликвидировать побыстрее «неперспективные» деревеньки, хутора и поселки или, наоборот, вдохнуть в некоторые из них новую жизнь? Но вот странно, среди этих спорящих мало приходилось слышать тех, кто всерьез затронул бы проблему сельских дорог.

Неужели в этой проблеме всем все ясно?

Или, может быть, боятся ее затрагивать, считая в обозримом будущем по-настоящему неразрешимой?

Видимо, дорожные проблемы Нечерноземья должны занять более заметное место не только среди хозяйственных забот, но и в планах социального развития. Потому что эти проблемы для многих нечерноземных районов ключевые. Не говорю уж о помехах экономическому росту, которые создает бездорожье.

Вспоминаю, как несколько лет назад в Сухиничском районе мне рассказывали о председателе колхоза «Октябрь» Петре Спиридоновиче Простове. Его колхоз был одним из самых трудных: расположенное на крутых увалах, почти оторванное от райцентра в распутицу хозяйство, можно сказать, вымирало: молодежь разбегалась куда глаза глядят. Но Простов сумел вывести колхоз из тупика всего лишь за два года, активно строя дороги и дома.

Конечно же, далеко не везде следует гнаться за асфальтом. В Мосальском районе ценой колоссальных усилий, сосредоточением сил всех местных организаций, хозяйственным способом, по пять-шесть километров в год соорудили двадцатикилометровый выход на Варшавское шоссе. Безусловно, Мосальск облегченно вздохнул: раньше до трассы приходилось добираться полтора-два часа, теперь — минут пятнадцать.

Но весной, а зачастую и глубокой осенью дорогу закрывают, чтобы тяжелые машины не разбили полотно. Однако полностью остановить грузовое движение невозможно — городок задохнется. К тому же гусеничным тракторам двигаться здесь категорически запрещено — только колесным. А у «Беларуси», оказывается, давление на каждый квадратный сантиметр полотна еще выше, чем у гусеничных, этот трактор очень сильно проминает асфальт. Но где взять битум для ремонта? Достают, конечно, однако всякий раз с превеликим трудом. Еще одна такая внутрирайонная «магистраль» — и Мосальск окажется «разутым-раздетым».

А между тем непосредственно в районе есть прекрасные залежи гранитного, самого лучшего для дорог щебня, которых хватит на сто лет. Поставить один экскаватор, одну простенькую камнедробилку, и можно за год превратить все ухабистые проселочные дороги в грейдерные.

Можно... Но для этого надо иметь примерно десяток свободных самосвалов и два трактора С-100, которых в районе нет.

Говорю это не для того, чтобы дать готовый рецепт дорожникам, — в каждом деле своя специфика. Возможно, в другом месте, где нет под рукой залежей щебня, гравия, понадобятся другие методы наступления на бездорожье. Все, повторяю, зависит от местных условий. Но несомненно одно: сегодня со всей очевидностью выясняется, что строительство внутрирайонных сельских дорог ведется крайне вяло, хотя средства выделяются немалые.

И еще: дороги ныне становятся преградой не только для движения транспорта, но также для позитивных сдвигов в психологии людей.

— Нашему селу сейчас не хватает главного — хорошей дороги. Хотя бы до района проложить. Неужели не одолеем? Неужели ждать, когда кто-то сделает за нас? Надо самим браться... Ведь мы на своей земле хозяева! — горячо рассуждал Виктор Иванов во время нашей недавней встречи.

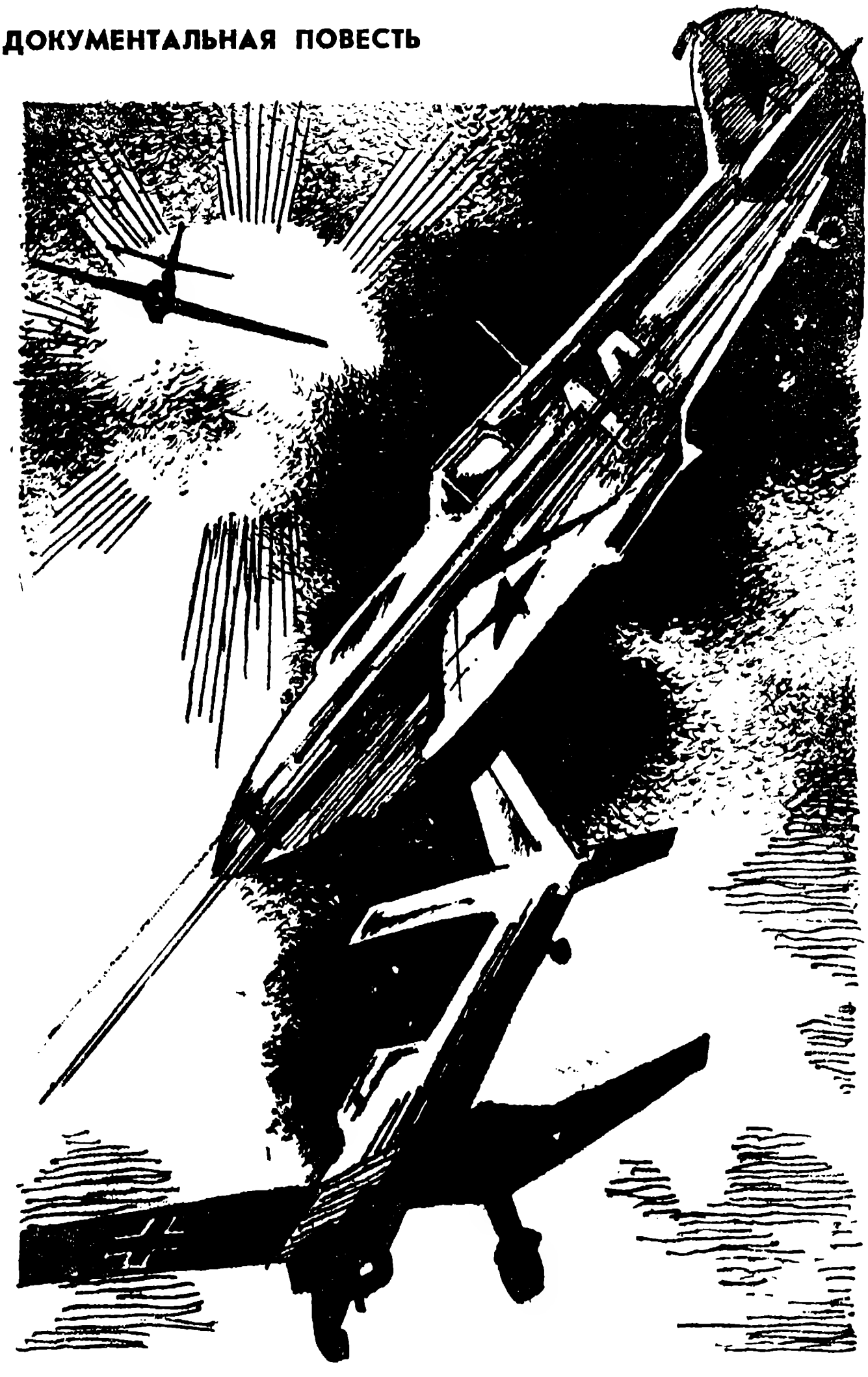
А я слушал его и верил твердо: дорога будет построена непременно.

●

Генрих КУВИТАНОВ

ИСТОРИЯ «БЕРКУТА»

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ



Есть замечательная пословица: «Подлинная жизнь прекраснее легенд».

Уверен, эту пословицу непременно вспомнят читатели документальной повести «История «Беркута». Ее герой Петр Семенович Шемендюк, человек удивительной судьбы. Я знаю его уже около пятидесяти лет. Впервые мы встретились с ним в 1934 году на Дальнем Востоке, куда приехали строить город юности — Комсомольск-на-Амуре.

Помню маленький пароход, доставивший нас, первостроителей, на амурский берег, истоптанный, заваленный чемоданами, узлами. На берегу толпились парни и девчата. Куда ни глянь, всюду молодые лица. И вдруг с высоты сложенных горой ящиков раздался отчетливый, ясный голос:

— Комсомольцы! Не каждому дано совершить в жизни дело, остающееся в веках. Вам дано это счастье. Вы оденете в гранит обрывистые берега седого Амура, зальете асфальтом широкие проспекты нового города, построите завод, красоте и мощи которого позавидует любой завод мира!

«Ура!» — гремит над рекой.

— «Вставай, проклятьем заклейменный...» — громко запевает молодой оратор.

Ребята подхватывают:

— «Это есть наш последний и решительный бой...»

Да, строительство Комсомольска-на-Амуре, где начинался трудовой путь Петра Семеновича Шемендюка, действительно походило на сражение. И выиграть его предстояло почти безоружным людям. Кирка, лопата, топор — вот вся техника на первых порах.

Город на заре был построен. Его строители получили путевки в настоящую жизнь. Получил ее и будущий летчик-истребитель Петр Шемендюк. Впоследствии, когда ему приходилось собирать в кулак душевные силы, мобилизовывать всю свою волю, он с благодарностью вспоминал о годах, проведенных на комсомольской стройке. Именно там он научился быстро ориентироваться в любой обстановке, стойко переносить лишения, не бояться трудностей. Боевая закалка Комсомольска особенно пригодилась Шемендюку во время войны.

С Петром Семеновичем нас сдружила голубая мечта: мы оба страстно хотели стать летчиками. Вместе мы закончили аэроклуб, вместе поступили в военную летную школу. Война надолго разлучила нас.

Летом 1943 года до меня дошла печальная весть: Петр погиб. Сказать откровенно, я никогда не верил в это, и он

действительно выжил, буквально воскрес из мертвых, вернулся к жизни всем смертям назло. И надо же случиться такому счастливому совпадению — одним Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР Петру Семеновичу и мне было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

После долгой разлуки мы встретились с ним в одном из военных госпиталей. У меня вместо ступней ног были протезы, у него под самый корень отсечена левая «плоскость».

Мы обрадовались встрече. «А помнишь?..» И пошли воспоминания молодости. И будто мы никогда не расставались, словно и не разлучали нас огненные сороковые годы, словно мы только вчера покинули город на заре.

После тяжелого увечья Петр Семенович совершил поистине мужественный подвиг: безрукий летчик снова встал в боевой строй. Он начал войну 22 июня сорок первого, закончил 9 мая сорок пятого... Отважный летчик сбил 24 самолета врага.

Автор, полковник Г. Кувитанов, рассказывает о героическом пути отважного летчика, знакомит читателей со многими фронтовыми друзьями Шемендюка, воевавшими с ним крыло к крылу.

Думаю, что «Историю «Беркута» с интересом прочтут и молодежь, и ветераны.

Алексей МАРЕСЬЕВ

Это письмо заместитель управляющего трестом «Калининградэнерго» П. С. Шемендюк получил много лет спустя после победного мая сорок пятого. Вот оно:

«Дорогой Петр Семенович!

К Вам обращаются жители села Моховое Кромского района Орловской области. Наконец-то мы нашли Вас живым и здоровым, и как хочется каждому моему земляку, от октябренка до седого ветерана минувшей войны, крепко обнять Вас, заслуженного летчика-фронтовика, поговорить с Вами, дорогой товарищ.

К поискам неизвестного летчика, то есть Вас, Петр Семенович, нас подтолкнули рассказы односельчан, людей постарше, которые хорошо запомнили, как в один из августовских дней 1943 года разгорелся жаркий воздушный бой наших «ястребков» с фашистскими «мессерами». Многие тогда, и в частности Василий Шавырин, ви-

дели, как падали на землю вражеские стервятники, сбитые меткими очередями советских соколов.

Упал недалеко от околицы села и объятый пламенем краснозвездный «ястребок». Летчик храбро сражался с превосходящими по силе фашистами. Многим запомнилось: над местом гибели самолета низко пролетели боевые товарищи сбитого пилота, они покачали крыльями, навсегда прощаясь с другом.

Тогда все решили, что летчик погиб, так как никто не видел его выпрыгнувшим с парашютом. Вскоре на месте падения Яка собрались жители поселка и установили памятник с надписью: «Неизвестному герою».

После войны мы попытались разрыть воронку, образовавшуюся при падении самолета. Хотелось найти останки авиатора, а может, и установить его имя. Но раскопки ничего не дали. На трехметровой глубине удалось обнаружить лишь несколько обломков самолета. Прошло еще немало лет. Мысль о неизвестном герое, погребенном вместе с подбитым «ястребком», не давала нам покоя. И снова начались раскопки. Десять дней кряду в свободное от работы время колхозники Виктор и Николай Леоновы, Леонид и Анатолий Тишкины, Николай Сидоров, Николай Федорович и Николай Егорович Шавырины и многие другие метр за метром пробирались к тайне, хранившейся в земле столь долгие годы. На глубине семи метров лопаты ударились о металл. Это был мотор. С помощью двух тракторов подняли на поверхность все, что осталось от самолета. Первым делом все бросились к обломкам кабины. Останков летчика не было. «Значит, пилот, возможно, жив?!» На сиденье нашли полуистлевшую планшетку, пробитую в нескольких местах осколками и пулями. В планшетке — пожелтевшая крупномасштабная карта центральных районов России, конспекты, свидетельствующие, что неизвестный авиатор учился в летной школе. И вот, представьте, товарищ герой, охватившее всех огромное волнение, когда из рук в руки пошла фотография летчика, посеченная мелкими осколками. На гимнастерке летчика четко виден орден Ленина. Нашли также письма на имя П. Шемендюка и фотографию трех девушек. В планшетке хорошо сохранился еще один интересный документ — вырезка из армейской газеты «Доблесть» от 23 июня 1943 года. Фронтовой корреспондент майор Коротков рассказывал о том, что старший лейтенант Шемендюк вместе с Героем Советского

Союза Залевским в одном из боев с фашистскими стервятниками сбили 13 вражеских самолетов. Сколько слез радости было у моих односельчан. В тот же день мы написали письмо в «Правду». И вот долгожданная весточка: Вы, дорогой наш Петр Семенович, живы... Так примите самое горячее, самое чистосердечное приглашение от всех моховчан приехать к нам в гости. Встретим всем Кромским районом. Ждем с нетерпением, чтобы увидеть Вас, послушать Вас, ветерана Великой Отечественной войны, за плечами которого, как нам кажется, какая-то необыкновенная судьба.

С глубоким уважением учитель Моховской школы Ададуров Г. Д.».

Петр Семенович, побарывая волнение, прочитал письмо, потом еще раз. И память невольно заворошила страницы прожитого, пережитого...

По полю едва плетется пегая лошаденка, тащит за собой старенькую деревянную соху. Ведет лошадь мальчик десяти лет. Босые, черные от загара ноги ступают по жесткой стерне. За сохой идет отец мальчика, Семен Сидорович.

— Стой, Петро, передохнем, — говорит отец.

Он достает из-под телеги лагун с водой, вынимает деревянную пробку и приникает к горлышку. Струйки влаги побежали по щетинистому подбородку.

В небе появился аэроплан. В лучах восходящего солнца его крылья казались алыми. Мотор самолета работал с перебоями. Вскоре машина опустилась за неровной гребенкой леса. Мальчик со всех ног бросился туда.

Вот она, загадочная крылатая машина! Летчик в кожаной куртке, с большими очками на шлеме, оказался приветливым, добрым. Он позволил малышу посидеть в кабине пилота, подержать штурвал.

Вернувшись домой, Петя достал отцовский инструмент и стал украдкой мастерить самолет.

— Вот что, сынок, выбрось это из головы. Твое дело, как и мое, — земля, — сказал ему отец.

Но тайные думы не давали пареньку покоя...

В 1931 году Петр уехал в Одессу с наказом отца поступить в школу, где «обучают плотницкому делу по-настоящему». Это была строительная профшкола. Впоследствии Петр Семенович узнает, что в этой же школе полу-

чил специальность кровельщика и каменщика С. П. Королев, будущий Главный конструктор космических кораблей.

Через два года комсомольцы отправились возводить своими руками город на самом краешке дальневосточной земли, на берегу Амура.

Бригада Петра Шемендюка разместилась в рубленом доме. Снег занес его до самой крыши. В суровую зиму строителям не хватало обуви. Вскоре в Комсомольск пришла целая баржа с лаптями. А за портянками обратились к маршалу В. К. Блюхеру, командовавшему Особой Краснознаменной Дальневосточной армией. И все-таки холод по-прежнему оставался самым жестоким врагом строителей. Морозы стояли — 40—50 градусов. В такую погоду ребята рубили в Амуре канал и сплавляли бревна.

Но не одной работой жили строители. По вечерам молодежь валила в кружки. Вот так примерно составлялась программа концертов:

«Мог бы выступить со своими партнерами на турнике и показать номера партерной гимнастики. Слесарь А. Иванов».

«Изъявляю желание станцевать «Лезгинку». Я исполняла ее на краевой олимпиаде и получила за это премию. Нарядчица корпусного цеха В. П. Давыдова».

«Сыграл бы на гитаре. Чеканщик В. Простонишин».

«Могу исполнить вдвоем или втроем какой-либо скетч, а также могу декламировать. Повар столовой № 2 Б. Бесчастнов».

«Могу продекламировать различные стихи. Работник прокуратуры Зенкевич».

«Имею большое желание участвовать в оркестре. Могу петь в хоре, а также участвовать в пьесе. Столяр площадки № 1 В. Спирин».

Но молодой бригадир П. Шемендюк не мог забыть о встрече с летчиком. В свободное время смастерил он макет аэроплана и укрепил под потолком комнаты. Посмотреть макет ходили из соседних бараков. Так он познакомился с Алексеем Маресьевым, с человеком, о котором потом напишут книгу «Повесть о настоящем человеке». Петр и Алексей сразу подружились. Сблизила их мечта — летать.

Чтобы создать свой аэроклуб, комсомольцы постановили — всем отработать не менее четырех дней. Началась

раскорчевка леса для взлетного поля. Вскоре аэродром был готов.

В памяти Петра остался первый самостоятельный полет. Вращающийся пропеллер превратился в прозрачный диск, позади взметнулось огромное облако пыли, прижата к земле тугим потоком воздуха трава. Тяжело покачиваясь с крыла на крыло, машина устремилась на взлет. Стрелка прибора скорости показала цифру 60. Самолет оторвался от земли. Скорость — 110. Перед глазами летчика сказочный мир. Навстречу несется горизонт, стелется удивительно огромный зеленый ковер тайги. Блеснуло зеркало озера, проплыли ровные квадраты полей с крошечными фигурками людей, извилистая нитка безмолвной реки. Сверху могучий Амур-батюшка кажется маленьким ручейком...

Петр заметил, что инструкторы аэроклуба стали чаще употреблять слова «бой», «враг», «война». Неужели, рассуждал молодой строитель, на нашу мирную землю может прийти война?.. А вскоре дальневосточники с гневом читали сообщение о том, что от рук фашистских пиратов погибло советское судно «Комсомол», затем разразились события в районе озера Хасан. Занятия в аэроклубе пошли по уплотненной программе.

Однажды к Шемендюку подошел Алексей Маресьев и подал ему свежий номер «Комсомольской правды». Петр развернул газету.

«ЛЕТЧИКИ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Над городом и могучим Амуром, над цепью синеющих сопок высоко в небе летают стальные птицы. В прошлом году Комсомольский аэроклуб подготовил значительную группу пилотов. Все они в нынешнем году проходят тренировку. Кроме того, аэроклуб выпустил 118 парашютистов второй ступени, 10 инструкторов парашютного спорта и 30 десантников. В этом году аэроклуб расширил свою работу по подготовке летчиков, парашютистов и планеристов. Половина учлетов нового набора уже летает самостоятельно. Лучшие учлеты т.т. Вяткин, Кубарцев, Чеплаков и Шемендюк имеют по 30 самостоятельных вылетов каждый.

Молодежь Комсомольска готова смело драться с врагом, защищая границы Родины, защищая город юности, построенный ее собственными руками».

Шемендюк и Маресьев закончили аэроклуб с оценкой «отлично». 15 декабря, в день трагической гибели Валерия Чкалова, Петр и Алексей по рекомендации крайкома комсомола выехали в Читу держать экзамены в военную летную школу.

Маресьев прошел строгую отборочную комиссию, как говорится, без сучка без задоринки. Петру же пришлось изрядно поволноваться. В прошлую зиму он сильно простудился на сплаве леса и два месяца пролежал с воспалением легких. Здоровье как следует еще не окрепло.

— Приезжайте через годик, молодой человек, — сочувственно посоветовал начальник школы полковник Оковин, — окрепнете, повзрослеете...

— Товарищ полковник, — взмолился Петр, — возьмите меня, не отчисляйте, я на вашей перловой каше так отъемся, что, вот увидите, через неделю не узнаете...

Начальник школы, как и все остальные члены приемной комиссии, громко рассмеялся.

— Ладно, оставим его, комиссар, пусть ест перловую кашу! — вытирая слезы, махнул в знак согласия Оковин.

— Пусть ест на здоровье, — ответил комиссар школы.

Так была решена судьба будущего военного летчика.

Правда, в Чите пришлось находиться недолго. После освоения учебно-тренировочной машины УТ-2 группу курсантов, в том числе Шемендюка, отправили продолжать учебу в Батайскую военно-летную школу. База здесь была гораздо богаче и авиационная техника совершеннее. Сразу начали тренироваться и летать на истребителях И-16 и УТ-4.

Летчики-инструкторы капитан Хвостиков и младший лейтенант Николаев — прекрасные специалисты своего дела — всю душу вкладывали в обучение. Петр Шемендюк помнит, как однажды капитан Хвостиков, зайдя в учебно-тренировочный класс с газетой в руке, объявил курсантам:

— Вот что, орлята, пока на несколько минут оставьте чертежи и макеты. Вся страна только что узнала имя нового героя — Сергея Грицевца. Он из нашей крылатой семьи, военный летчик.

И далее офицер, зажигая юные сердца, будоража их

умы, рассказал о том, как Сергей Грицевец совершил неслыханный доселе подвиг. В одном из воздушных боев над Халхин-Голом японскому самураю удалось подбить наш самолет, управляемый командиром полка Забалуевым. Советский офицер совершил вынужденную посадку. Со всех сторон к краснозвездной машине устремились вражеские пехотинцы. Сергей Грицевец решает во что бы то ни стало спасти командира. Летчик посадил свой И-16 неподалеку от подбитого самолета командира полка, принял Забалуева к себе на борт и прямо на глазах обезумевших от ярости самураев взмыл в облака, а вскоре приземлил машину на своем аэродроме.

— В чем здесь соль подвига? — спросил курсантов капитан Хвостиков. — Скажете — в товарищеской спайке? Правильно! Ответите, что Грицевец поступил так по долгу службы, — тоже будет верно. Но разве мог летчик выручить товарища из беды, выполнить святой воинский долг, не обладай он высочайшим искусством управлять техникой? Нет. Так пусть каждый из вас хорошенько запомнит это и изо дня в день становится сильнее, помня, что рано или поздно вам всем придется постоять за свою Родину.

А вскоре тот же капитан Хвостиков вместе с младшим лейтенантом Николаевым с мелом у доски провели еще один урок мужества. На этот раз они в деталях раскрывали перед военными курсантами суть боевой школы другого советского воздушного аса, тоже участника событий на Халхин-Голе, первого дважды Героя Советского Союза Георгия Пантелеевича Кравченко...

Так уж повелось, что каждое поколение советских людей воспитывается на героических примерах своих сограждан. Петр Шемендюк, как и его товарищи, ничего не упускал из героического наследства.

Но вот что удручало Петра все более и более. Несмотря на то, что он наравне с лучшими курсантами успешно «грыз» гранит авиационных наук, все экзамены и зачеты по теории сдавал лишь на «отлично», к полетам его не допускали. Инструктор поначалу отшучивался: «Каши еще мало съел». Шемендюк раз от разу все настойчивее приступал с просьбами подняться в небо. Не помогли самые веские аргументы — и что он в аэроклубе в Комсомольске-на-Амуре совершил около сорока самостоятельных вылетов, и что о нем не раз писала газета «Амурский комсомолец».

— А вот хвалиться летчику никак не положено — пропащее дело, — угрюмо ответил инструктор.

— Тогда скажите честно, почему я не летаю? — поставил Петр вопрос ребром.

— Сам не видишь — погода все время прескверная, — ответил инструктор. — К полетам допускаем самых здоровых ребят. Подожди малость.

Петр все понял: виной всему был его щуплый вид. До слез стало обидно: неужели никто не видит, как он закалял свое здоровье — бегал кроссы больше других, до мозолей занимался на спортивных снарядах, буквально зарывался на утренней зарядке в сугробы снега. Разве только не спал, как Рахметов, на гвоздях. А погода действительно стояла, как назло, отвратительная. И потому во время очередных полетов, когда несколько счастливчиков здоровяков учились покорять небо, курсант Шемендюк шел в стартовый наряд.

Но, говорят, нет худа без добра. В конце концов Петр не то что свыкся с обязанностями финишера, а и полюбил их. Стоя часовым порядка у посадочного Т, он все замечал, все фиксировал, как тот или иной «здоровенький» выполнял пробежку, отрывал самолет, выходил строить «коробочку», летал по кругу, как заходил на посадку, выравнивал и выдерживал, кто «не дотягивал», кто «промазывал» и «козлил». Больше того, он мысленно воображал себя сидящим в кабине самолета и мысленно управлял им в каждом полете, «набивая» таким образом свои руки и глазомер. А то, что это не было пустым занятием, вскоре подтвердилось на практике разборов полетов. Когда инструктор спрашивал мнение Шемендюка и просил его дать анализ ошибок только что приземлившегося курсанта, тот делал настолько подробный и точный разбор, что, по существу, офицеру и добавить было нечего.

— Ну а сам-то, «профессор», сможешь утереть кое-кому нос, а? — неожиданно спросил однажды инструктор после головомойки шибко провинившемуся курсанту.

— Так точно, смогу! — разом выпалил Петр и закраснелся от неожиданно нескромной фразы. Тут же поправился: — Я просто хочу летать.

— Раз хочешь — надевай парашют, и вперед и выше, поглядим, на что годишься.

От счастья дух перехватило. Руки дрожат от волне-

ния, даже карабины лямок парашюта застегнуть не могут.

В учебном самолете Петр сел во вторую кабину, опробовал рычаги, тумблеры, внимательно посмотрел на приборную доску. Вспомнились наставления инструктора, который на первое место ставил точность летчика, пунктуальность в обращении с приборами управления. «Ошибка пилота стоит жизни», — не уставал напоминать он.

На малых оборотах Петр вырулил на взлетную полосу, развернул самолет и плавно затормозил у стартера.

— Проси старт, — послышалось в наушниках.

Петр поднял руку над «фонарем» кабины. Стартер резко взмахнул белым флажком. Самолет легко побежал по взлетной полосе и мягко оторвался от земли. Полет по кругу прошел без замечаний. И посадка получилась удачной — на три точки, у самого Т.

— Завтра полетишь в самостоятельный, — сказал инструктор.

Назавтра состоялись очередные полеты. Настроение у Петра было, как выражаются курсанты, выше облаков.

На высоте в тысячу метров Петр приступил к выполнению виражей с креном в пределах малых углов. Все шло строго по программе. И вдруг случилось непредвиденное — отказал мотор. Самолет пошел в вираж, готовый свалиться в штопор. По инструкции курсант обязан перевернуть самолет вниз кабиной и выпрыгнуть с парашютом. Но как же машина?

Петр выпустил шасси и щитки. Самолет резко сбавил скорость. До земли оставалось метров 30.

К посадочной полосе бегут курсанты, механики. До земли два метра... Касание с подпрыгиванием.... Еще касание — и самолет бежит по земле!

Оказалось, заклинило один из поршней.

Командир построил курсантов.

— Товарищи, курсант Шемендюк, проявив отменное мастерство, сумел посадить самолет с вышедшим из строя мотором. Вывести машину из виража, перевести ее в пикирование и посадить на землю! И это при первом самостоятельном вылете. Курсант Шемендюк проявил настоящие бойцовские качества. За отличную подготовку, а также за находчивость и мужество в воздухе курсанту Шемендюку объявляю благодарность!

— Служу Советскому Союзу! — ответил курсант.

Незаметно пролетело время в школе военных летчиков. В декабре 1940 года младший лейтенант Петр Шемендюк вместе со своими товарищами младшим лейтенантом Петром Харитоновым и старшиной Николаем Тотминым получил назначение в Ленинградский военный округ.

С волнением переступили молодые летчики порог кабинета молодого командующего ВВС округа генерал-майора А. А. Новикова. Александр Александрович рассказал, что на вооружение поступила новая техника. Осваивать ее предстоит в очень неблагоприятных метеоусловиях. Генерал призвал бережно хранить боевые традиции Военно-Воздушных Сил, готовить себя к схватке с сильным и коварным противником.

Шемендюк получил назначение в эскадрилью старшего лейтенанта А. П. Покрышева, великолепного летчика, отличившегося в войне с белофиннами. Истребитель с тончайшей техникой пилотирования, человек творческого склада, Покрышев был новатором в летном деле. Это ему принадлежала идея перейти от звена в три самолета к парам, что давало большое преимущество в маневре, во взаимодействии в воздухе.

Эскадрилья Покрышева находилась на аэродроме.

— Товарищ командир, младший лейтенант Шемендюк прибыл в ваше распоряжение!

Покрышев протянул руку.

— Ну что ж, будем знакомы. Видишь, «ишачок» стоит? Вперед и выше.

Шемендюк спокойно запустил мотор, поднял машину в облака. Он удачно построил «коробочку», выполнил несколько фигур средней трудности. При посадке «притер» машину к земле и посадил ее в общем-то на пятерку.

— Плохо, брат, очень плохо, — огорченно заметил комэск. — Долго думаешь, нет реакции. От фигуры до фигуры у тебя уходит пропасть времени. А летчик должен соображать мгновенно. Трудновато тебе придется. Но время еще есть, можешь попроситься в другую эскадрилью.

— Плохие летчики, товарищ командир, — с нажимом на слово «плохие» выпалил сердито Шемендюк, — ни одной эскадрилье ВВС не нужны. Так что никуда проситься не собираюсь. Буду учиться здесь, у вас!

Многие офицеры эскадрильи прошли хорошую боевую школу, о чем красноречиво говорили их ордена. Свой богатый опыт они передавали молодым, необстрелянным летчикам.

Полеты, как правило, проводились в сложных условиях, часто практиковались посадки на незнакомый аэродром, на необорудованное поле. Осваивались и ночные полеты. В середине июня в полк начала поступать новая, более совершенная техника — самолеты Як-1. На станцию Псков прибыл большой железнодорожный состав со специальными контейнерами. В них и были Яки. Соблюдая все меры скрытности, личный состав полка немедленно приступил к разгрузке и сборке секретной матчасти. Таким вот своеобразным методом летчики познакомились с устройством новых машин. Но как они поведут себя в воздухе? Уже на третий день после прибытия эшелона превосходный летчик-истребитель старший лейтенант Покрышев на глазах товарищей смело сел в кабину Яка, запустил мотор и взлетел в хмурое небо. Как бы для разведки, вначале он опробовал машину на несложных элементах, а затем, набрав высоту в 1500 метров, заложил машину в головокружительный вираж, после которого последовал целый каскад сложнейших фигур.

— Отличная машина! Летать можно, — заявил Покрышев, спрыгивая с крыла Яка.

Это было 19 июня сорок первого...

22 июня в третьем часу ночи полк был поднят по боевой тревоге. Пришел приказ рассредоточить эскадрильи на полевом аэродроме. А через час началась война.

Уже на следующий день, утром 23 июня, отличился заместитель командира эскадрильи лейтенант А. В. Чирков, первым в полку открывший счет сбитым фашистским самолетам. В то утро он находился на боевом дежурстве, когда прозвучала команда вылететь на перехват двух немецких бомбардировщиков, шедших курсом на Ленинград. Молодой летчик устремил ввысь свой Як-1.

— Я их увидел впереди себя и выше примерно на 300 метров, — глотая от волнения слова, делился своим первым боевым опытом Андрей Чирков. — Гляжу, идет пара «хейнкелей», кручу головой на все 360 — истребительного прикрытия нет. Видно, были настолько уверены

в своем превосходстве над нами, что отказались от сопровождения. Ну, думаю, не выйду из боя живым, а собью хоть одного гада. Набрал высоту, зашел со стороны солнца — налетел на ведущего «хейнкеля». Нажимаю на гашетку и вижу — трасса точно прошила цель. Фашист загорелся. Вот тут надо было вовремя прекратить стрельбу, а я сдуру строчил до тех пор, пока вражеский самолет не врезался в землю.

В этот момент Андрей вдруг почувствовал запах гари. Это перегрелись стволы пулеметов от длинной очереди. Оружие было выведено из строя. Хорошо, что второй фашист сбежал, сбросив бомбы в болото. Иначе бы пришлось туго советскому летчику — пулеметы больше не слушались гашеток. Когда Чирков приземлился, его тут же подхватили на руки друзья и товарищи.

Вскоре Андрей Чирков снова отличился: менее чем за неделю сбил еще двух стервятников. Сам же едва не погиб и едва не сгорел в кабине падающего самолета.

— Почему долго не выпрыгивал?! — с тревогой спрашивали летчика однополчане.

— Я выполнял приказ — снимал часы... — ответил Чирков. (До войны существовал приказ, строго обязывающий летчика перед оставлением самолета снять часы. Вскоре фронтовая жизнь внесла свои коррективы, и приказ этот был отменен.)

Полк вел круглосуточное патрулирование на подступах к Ленинграду.

25 июня Петр Шемендюк вылетел в составе группы из шести самолетов под командованием Покрышева. По небу неслись серые рваные облака. В их разрывах проглядывало солнце. Неожиданно комэск подал условный сигнал: «Приготовиться к бою».

Впереди справа показались четыре «Юнкерса-88». Они шли без истребительного прикрытия. На хвостовом оперении каждого бомбардировщика виднелась черная свастика, на крыльях — кресты. Впервые так близко увидел Петр отличительные знаки врага.

Выполняя маневр комэска, устремился сверху вниз, ловя в прицел один из «юнкерсов». Пальцы нажали на гашетки. Дробно застучали пулеметы. Огненные пунктиры прошли мимо цели. Сказалась типичная для молодых летчиков привычка рано открывать огонь. От фашистского бомбардировщика протянулась длинная огненная линия. Петр инстинктивно отдал ручку от себя. Пу-

ли прошли над «фонарем». И Петр почувствовал странное спокойствие. Волнение первого боя улеглось.

Самолет Покрышева повис на хвосте «юнкерса». Брызнули огнем его пулеметы. Вражеский самолет на какое-то мгновение остановился и взорвался.

Шемендюк заложил машину в глубокий вираж и, срезая угол на левом повороте, устремился за своей целью. Нервы немецкого летчика сдали. Освобождаясь от лишнего груза, он сбросил бомбы и потянул к верхней кромке облаков. Его примеру последовали и остальные бомбардировщики. «Уйдут гады!» — подумал Петр и снова нажал на гашетки. На этот раз трасса чиркнула посередине корпуса «юнкерса», но вреда большого вражескому самолету не причинила. В это время комэск покачал крыльями — знак уходить домой. Вражеские самолеты скрылись в облаках.

Первые победы... Как они важны для молодых необстрелянных летчиков!

На пятый день войны героический подвиг совершил младший лейтенант комсомолец Петр Харитонов. Группа фашистских бомбардировщиков шла курсом на Псков без прикрытия, как бы демонстрируя свою уверенность в победе. В воздух поднялась шестерка наших И-16. Бомбардировщики развернулись и стали уходить на юг, нарушив боевой строй. Петр Харитонов погнался за «юнкерсом», нажал на гашетки пулеметов, однако оружие молчало. Отважный летчик вспомнил о таране. Молодой боец зашел в хвост бомбардировщику и на миг увидел злое, оскалившееся лицо вражеского летчика, обернувшегося назад. Харитонов ударил винтом по рулю глубины. Страшный треск, разлетающиеся в стороны куски. «Юнкерс» повалился вниз, И-16 сильно затрясло, но Харитонов все же сумел посадить поврежденную машину на брюхо. Это был первый воздушный таран в небе Ленинграда.

Буквально через день еще два однополчанина Петра Харитонова, младшие лейтенанты кандидат в члены партии Степан Здоровцев и комсомолец Михаил Жуков, проявили в бою исключительную отвагу, мужественно протаранив вражеские бомбардировщики винтами своих истребителей.

Через несколько дней летчикам полка П. Харитонову, С. Здоровцеву и М. Жукову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Восхищаясь храбростью

отважных соколов, поэт Александр Твардовский посвятил им стихи, которые были опубликованы в «Известиях»:

И сколько себя еще в схватках лихих
Покажут советские люди!
Мы многих прославим, но этих троих
Уже никогда не забудем.

Запомни же русские их имена,
Что дороги будут для внуков:
Здоровцев Степан, командир звена,
Пилот Харитонов и Жуков.

Образцы умения беспощадно громить врага летчики полка демонстрировали ежедневно. Лишь с 8 июля по 1 августа 1941 года они провели 48 воздушных боев, сбили 18 самолетов противника, потеряв 4 своих.

Особо отличился 19-летний комсомолец-сибиряк, старшина Николай Тотмин. Это произошло 14 июля. Большая группа немецких бомбардировщиков совершила массированный налет на аэродром базирования полка. Наши летчики в это время производили заправку после боевых вылетов. Навстречу врагу смог подняться в небо лишь один истребитель. В его кабине находился Николай Тотмин. Смелыми атаками он рассеял боевой порядок фашистов, заставил расчлениться и сбросить бомбы. Предвидя легкую победу, на Тотмина кинулись четыре «мессера» и стали перестраиваться для атаки. Несмотря на численное превосходство врага, Николай решил принять бой. В жестокой схватке с 12 вражескими самолетами советский летчик израсходовал весь боезапас. Он мог выйти из боя, и никто бы не упрекнул его за это. Но молодой комсомолец рассудил иначе — драться до последней капли крови, до последнего вздоха. И ничего, что кончились патроны. Зато в руках воздушного бойца самое страшное оружие для фашистов — таран, успешно испытанный уже тремя однополчанами. Старшина Тотмин смело пошел на лобовой таран. Такого в мировой истории авиации еще не было. Расстояние между самолетами стремительно сокращалось. Счет жизни измерялся секундами. В последнее мгновение нервы фашиста не выдержали, и он отвернул в сторону. Тотмин несколько накренил машину и консолью крыла, как ножом, срезал плоскость «мессершмитта», который, кутаясь в клубах густого дыма, бесформенной массой упал на краю аэро-

дрома. Николай Тотмин покинул поврежденную машину в последний момент и приземлился чуть ли не на руки товарищей, с восхищением наблюдавших этот беспримерный воздушный поединок.

Когда Тотмина спросили, знал ли он, что идет на верную смерть, он ответил, что о своей жизни подумать не успел, что времени хватило лишь на решение практической задачи — как сбить фашиста.

За этот подвиг Николаю Тотмину было присвоено звание Героя Советского Союза. Отважный летчик, любимец всего полка, погиб в неравном бою с большой группой фашистских истребителей в конце октября 1942 года, защищая подступы к городу Ленина.

Надо сказать, что ни один немецкий летчик за время войны ни разу не отважился на таран, не проявил готовности к самопожертвованию. Страх перед возможным тараном сковывал действия вражеских летчиков, не позволял им использовать превосходство своих самолетов.

Осенью сорок первого года полк убыл на переформирование и за получением материальной части. Здесь, на местном аэродроме, Петр Шемендюк впервые увидел новый истребитель — ЛаГГ-3. Эту машину следовало освоить в кратчайший срок.

Машина понравилась всем. На самолете имелись 37-миллиметровая пушка конструкции Шпитального и РС — довольно мощное оружие. Только боекомплект был маловат. При обычном расходе его можно было спалить за одну атаку. Инструктор сделал для летчиков одно существенное уточнение на будущее: при стрельбе длинными очередями гаснет скорость истребителя. Отсюда сразу встала задача — научиться вести огонь меткими короткими очередями. Когда более-менее изучили устройство материальной части и особенности аэродинамики самолета, начались полеты. Поскольку ни одной спарки не оказалось, приходилось сразу начинать с самостоятельных вылетов. Первым поднял ЛаГГ-3 в небо лейтенант Шемендюк. А вскоре полк в составе двух эскадрилий перелетел на только что сформированный Калининский фронт.

Суровый, тревожный октябрь сорок первого. Созданный несколько дней назад Западный фронт оборонял столицу нашей Родины. Советские войска стояли у порога Москвы неприступной стеной. Летчики наносили удары по передовым позициям противника, громили воинские

эшелоны, уничтожали полевые штабы, штурмовали вражеские аэродромы в районе Ржева. На каждый день приходилось пять-шесть боевых вылетов.

6 декабря началось историческое контрнаступление советских войск под Москвой. В этот день Петр Шемендюк поднялся в воздух командиром звена.

Под крылом самолета, как на ладони, открывалась грандиозная панорама контрнаступления.

Вверху, под кромкой рваных облаков, шел воздушный бой.

В воздухе висели белые клубы разрывов.

Самолет Шемендюка сильно тряхнуло, из мотора вырвались языки пламени. Кабина наполнилась дымом. Пилот резко потянул ручку на себя. ЛаГГ взмыл в облака и оттуда в крутом вираже стремительно понесся к земле. Сильная струя воздуха сбила пламя. Шемендюк выровнял самолет и благополучно посадил. Оказалось, осколком перебило бензопровод цилиндра. Загорелась струя горючего.

Со своим звеном лейтенант Шемендюк вылетел на сопровождение штурмовиков. Заметив фашистский бомбардировщик, который обстреливал нашу пехоту, летчик резко пошел на снижение и на вираже удачно поймал в прицел желтобрюхое тело пирата. От очереди из пушки самолет загорелся, начал быстро терять высоту и вскоре сел в расположении наших войск. Со всех сторон к нему побежали солдаты. Бортстрелок бомбардировщика открыл стрельбу. Петр прошелся на бреющем полете и дал очередь. Бомбардировщик взорвался.

Вторая победа над воздушным пиратом досталась Шемендюку чрезвычайно быстро. Это был тоже немецкий бомбардировщик. Оказавшись перед носом фашиста, советский летчик нажал на гашетки, и от бомбардировщика полетели куски обшивки фюзеляжа. На груди убитого немецкого летчика было два Железных креста. Судя по документам, он воевал еще в Испании.

В напряженных фронтовых буднях, в кипении жарких боев, вихрях жестоких атак росло и крепло боевое умение Шемендюка. Полк часто перебазировался с одного полевого аэродрома на другой. Часто бывало и так, что по приказу старшего начальника из полка пе-

ожиданно отбирали лучших летчиков с предписанием явиться в местечко Н., где создавалась вновь или переформировывалась какая-то авиационная часть. За короткий срок Петр Семенович сменил не одну полевую почту. И всякий раз, вливаясь в новый коллектив, он обязательно встречался со старыми друзьями. С одним из них учился в летной школе, с другими защищал небо Ленинграда или Москвы. Только вот встреча со своим давним другом по Комсомольску-на-Амуре Алексеем Маресьевым произошла много позднее. Алексей, Петр это хорошо знал, воевал где-то совсем рядом, воевал весьма успешно — сбил несколько самолетов врага. Радуясь боевым победам друга, Шемендюк не терял надежды обязательно свидеться с ним и вместе, крылом к крылу, повоевать с фашистами. Это же чувство испытывал и Маресьев, также зная, что Петр находится где-то неподалеку...

Весной сорок второго полк, в котором воевал Шемендюк, перелетел на аэродром под Старицу. Звено старшего лейтенанта Шемендюка поднялось в небо для прикрытия своего аэродрома.

Через несколько минут командир заметил над горизонтом черную точку. Увеличиваясь в размерах, она превратилась в желтобрюхого «мессера».

— Прикрой! — скомандовал ведомому и круто задрал нос своему ЛаГГу.

Приняв вызов, фашист тоже полез вверх и выполнил целый каскад фигур высшего пилотажа. Как видно, за штурвалом сидел опытный летчик.

«Мессер» резко заскользил вниз, Петр синхронно повторил его маневр. На огромной скорости стал выходить из пикирования. Навалилась чудовищная тяжесть, от чрезмерной перегрузки потемнело в глазах. Как в тумане, показались две огненные строчки над самой головой. И сразу пропала темнота в глазах. В груди поднялась спокойная ярость. «Теперь берегись!»

На борту вражеского самолета Петр разглядел намалеванный черной краской туз пик.

Снова набор высоты, снова крутой вираж. Стрелять рановато, надо наверняка. Враг бросил машину вверх, потом вниз — и каскад высшего пилотажа. Но Петр Шемендюк не отставал и медленно приближался к хвосту «туза пик». Немецкий ас решает резким разворотом на пикировании нырнуть под ЛаГГ. Петр вовремя раз-

гадал маневр врага и даже подыграл, дав ему возможность нырнуть под себя. Он знал, что может быстрее «мессера» выполнить разворот. Маневр — и ЛаГГ оказался в самой выгодной позиции — сверху и чуть сзади. Дробно простучали пулеметы. Огненные трассы вспороли «туза», будто нож селедку. От обшивки полетели лохмотья, мотор вспыхнул, и «мессер» камнем пошел к земле, оставляя траурный след из черной копоти.

Вечером летчики собрались на торжественный митинг по случаю 700-летия со дня разгрома немецких псов-рыцарей на Чудском озере войсками Александра Невского. К этому времени на счету Петра Шемендюка было уже пять сбитых фашистских самолетов. По нескольку побед имели и другие летчики полка. Словом, возмужали, закалились, набрались богатого опыта наши воздушные бойцы. А гитлеровские? Что касается их боевого мастерства, то оно по-прежнему оставалось высоким. Чего нельзя было сказать об их боевом духе. Заметно поубавилась эдакая безудержная лихость, куда девалась бесшабашная самоуверенность! Сбили с них наши соколы спесь. Фашисты все чаще проявляли боязнь открытых встреч с нашими истребителями. Они обкатали довольно неплохо один из приемов так называемой тактики храбрости большинства. То есть любили внезапно нападать из-за облаков при явном численном превосходстве. Только и это не приносило должных результатов. Потери в воздушных боях гитлеровцы неизменно несли бо́льшие, нежели советские асы.

— Количество играет не всегда решающую роль, — любил повторять командир эскадрильи капитан Петр Красиков, — это не раз подтверждалось в бою. У немцев было больше и самолетов, выше и скорость, и потолок, а победа оставалась за нами. А почему? Потому что в бою побеждает тот, кто сильнее морально, действует более напористо, противопоставляет тактике врага атакующий стиль.

Красиков всегда подтверждал сказанное на практике. Лишь в одном воздушном бою с 11 самолетами врага его группа в составе летчиков Соколова, Шемендюка и Сударенкова сбила 4 «мессера».

В конце июня группа летчиков полка приехала в Горький за новыми самолетами Ла-5. Об этой машине уже были наслышаны. Истребитель по своим тактико-техническим характеристикам превосходил лучшие немецкие

образцы. Летчики горели желанием получить эту замечательную машину.

Однако летчикам предложили на заводе самолеты ЛаГГ-3. Шемендюк, старший группы командированных, стал добиваться новых.

— А чем «третьи» плохи? — неожиданно вмешался в разговор человек в гражданском костюме.

— Этого я вам сказать, извините, не могу.

— Военная тайна? — рассмеялся тот и представился: — Лавочкин.

Шемендюк доложил главному конструктору мнение фронтовых летчиков о слабых и сильных сторонах истребителя. Многое Лавочкина огорчило. Например, воздушные штуцеры ЛаГГа совершенно другие, чем у Яка. Из-за такого пустяка, который не сумели предвидеть два главных конструктора, пришлось рационализаторам мастерить специальное переходное устройство к воздушному баллону для запуска машин.

— Спасибо, дружок, за такое серьезное замечание. Учтем.

На Юго-Восточном фронте готовились серьезные события. Решалась судьба Сталинграда. Чтобы сковать резервы врага, Ставка Верховного Главнокомандования приказала провести частные наступательные операции. Эту задачу выполняли войска Западного и Калининского фронтов. При этом большая роль отводилась авиации, которая должна была надежно прикрывать от ударов с воздуха свои войска, сдерживать и срывать попытки противника к наступлению, нанести ощутимый урон вражеской авиации, особенно бомбардировщикам. Тактика же наших летчиков-истребителей сложилась такой, что при встрече с бомбардировщиками врага они первым делом вступали в бой с самолетами прикрытия. Тем временем бомбовозы спокойно и безнаказанно продолжали идти прежним курсом и наносили удары по советским войскам. «Считать основной задачей наших истребителей, — строго потребовал нарком обороны, — при встрече с воздушным противником уничтожение в первую очередь его бомбардировщиков».

— Новые задачи, — говорил замкомэска Шемендюк молодым летчикам эскадрильи, — требуют хитрости и сноровки. Нам все равно приходится считаться с истребителями противника, они будут защищать свои бомбовозы, а значит, атаковать нас. Какой выход? Применять

обманные атаки на истребители, а в нужный момент молниеносный маневр для выхода к бомбардировщикам. Но для этого требуются быстрота реакции, смелость и, если хотите, дерзость.

При очередном боевом вылете Петр Шемендюк прикрывал наши войска в районе Галахово — Брилево. Возвращаясь с задания, он увидел под крылом горящую деревеньку. Чуть дальше шла стая «юнкерсов» под прикрытием двух «мессеров». Видимо, только что отбомбились и уходили к себе. Петр набрал высоту и догнал фашистов. Затем в крутом вираже Шемендюк набросился на ведущего «юнкерса» и нажал сразу три кнопки. Сработали пушка и два пулемета. Пули и снаряды угодили в мотор и бензобак. Фашистский летчик дернулся и уткнулся в приборную доску. Бомбардировщик, объятый пламенем, пошел к земле и взорвался на реденькой опушке леса. Летчик взглянул на приборы. Показался красный «глаз». Горючее на исходе! И «мессеры» вот-вот появятся. Надо возвращаться домой.

В следующий вылет Шемендюк отправился с капитаном Емельяновым. Над передовой позицией наших войск летчики заметили звено «юнкерсов». Капитан Емельянов заложил машину в глубокий вираж, Шемендюк за ним. После первой же атаки звено фашистов рассыпалось. Во второй атаке советские летчики открыли огонь из пулеметов и пушек. Один «юнкерс» взорвался в воздухе, другой свалился на крыло и врезался в землю. Так за один день Петр сбил два вражеских бомбардировщика.

Молодых летчиков в бой брать не торопились. Вначале их «обкатывали» на патрулировании. «Старики» бережно воспитывали ребят, еще не нюхавших пороха.

Однажды в районе Ржева наша четверка самолетов, которую вел Петр, встретила группу «Ме-109». Завязался бой. Шемендюк зашел в хвост одному «мессеру», поджег его. Фашист, умело сбив пламя, продолжал оставаться в строю. Повторяя атаку, Петр заметил, как в хвост нашему молодому, еще не обстрелянному летчику Сергею Пушкову зашел «мессер». Шемендюк бросился на фашиста и буквально прошил его очередью.

— Спасибо, командир, — сказал после боя Сергей Пушков, — вы спасли мне жизнь. Постараюсь научиться драться, как вы.

И молодой летчик сдержал свое слово. Он научился

драться с врагом храбро, беспощадно. Уже в другом полку и на другом фронте лейтенант Сергей Пушков совершил бессмертный подвиг. В августе сорок третьего в труднейшем воздушном бою он ценой своей жизни таранил «фоккер». Свидетелями его последнего боя были танкисты. Под впечатлением увиденного и пережитого они написали коллективное письмо летному составу полка.

«Дорогие наши крылатые друзья!

Мы видели, как дрался с «рамой» ваш боевой товарищ. Немец кружил над нашей обороной — местом сосредоточения танков, занявших позиции для контратаки. Советский летчик принял смелое и неожиданное для многих из нас решение — таранить вражеского разведчика. Мы, а также и пехотинцы, следившие за этим поединком, гордимся подвигом отважного сокола, который после рокового удара по фашисту на своем самолете упал в наш окоп. Мы вынули из машины погибшего и по документам узнали, что это Сергей Петрович Пушков из вашей дивизии.

Следуя примеру героя-летчика, мы все разом бросились в атаку. За короткое время нам удалось продвинуться вперед на пять километров, уничтожить двадцать танков, множество техники и до полка пехоты. Около ста двадцати фашистов сдались в плен.

Мы похоронили С. П. Пушкова с почестями, под боевым знаменем гвардейского полка.

Мы восхищены подвигом боевого товарища и гордимся им! Клянемся удвоить энергию для быстрейшего изгнания врага с советской земли!

Большое спасибо за то, что вы воспитали такого мужественного и отважного комсомольца!

Передайте наше сердечное сыновнее спасибо родителям героя. Мы заверяем вас, что будем достойны подвига С. П. Пушкова!

Еще смелее бейте, друзья, ненавистного врага. Мы всегда с вами!»

Наступала осень сорок второго, вторая осень Великой Отечественной войны. Враг отброшен от стен Москвы. Позади остались освобожденными многие города и села.

Однако летчики полка, вглядываясь в карты, на которых условными знаками была отмечена территория, занятая врагом, отмечали про себя: драться с фашистами

еще придется долго. Значит, предстояли новые и новые упорные бои.

К началу октября на боевом счету Петра Семеновича было уже десять сбитых самолетов противника. Опыта прибавилось, авторитет вырос. Легче стало учить молодых летчиков.

— Каждый истребитель, — не уставал повторять Шемендюк, — должен твердо усвоить суровый закон: всегда атаковать первым. Если я увидел врага первым — он мне уже не страшен, так как я первым приму решение и первым пойду в атаку.

8 октября в воздух поднялась шестерка ЛаГГов. На взлете Петр ощутил, как его машину сильно и резко встряхнуло. Он не придал этому особого значения, однако услышал по радио голос комэска:

— «Беркут», уходи домой. У тебя левая лыжа в вертикальном положении. Будь осторожен при посадке.

Из-за облаков вынырнули два «Ме-109» и, почувствовав легкую добычу, бросились на краснозвездную машину. На фюзеляжах обоих «мессеров» красовались черные тузы.

После сложного маневра Шемендюк неожиданно вышел одному из них в заднюю полусферу и дал очередь. «Туз» вовремя увернулся. А в это время второй оказался сзади нашего самолета. Хладнокровно работала мысль летчика. Действия врага в эти мгновения он чувствовал интуитивно. Вот он прицеливается, вот нажимает гашетки. Пора! Петр неожиданно резко сбавил газ и перешел на скольжение. Огненная россыпь вражеской очереди прошла над головой. Когда же «туз» проскочил вперед, Шемендюк ударил по нему из пушки и пулеметов. «Мессер» вспыхнул и, разгораясь, свалился на крыло. Остался еще один фашист. Снова следует каскад за каскадом сложнейших маневров. «Мессер» не отстает. Чувствовалось, что в его кабине находился опытный летчик. Петр попытался обманным маневром нырнуть в облака. Однако «мессер» достал его огнем с дальней дистанции и расшиб «фонарь». В кабину хлестнул леденящий воздух. Петр почуял гарь. Где-то огонь! Температура масла подскочила вверх. Видимо, пробит картер. Надо срочно садиться, а под крылом сплошной лес.

Но вот открылась небольшая полянка. Прижимаясь к верхушкам деревьев, Петр направил свой «ястребок» на пятачок. Благо снега много. Раздался хруст, взмет-

нулась вверх лыжа. Самолет срубил три молоденькие березки и погасил бешеную скорость, по самую кабину врезавшись в огромный сугроб.

К месту вынужденной посадки прибежали сельские ребятишки.

— Ребята, — обратился к ним летчик, — идите в село, пусть срочно приедут на пяти санях.

Помощь не заставила себя ждать. Вместе с колхозниками Шемендюк погрузил самолет на подводы и доставил на аэродром. Но после такой посадки машину пришлось отправить в капитальный ремонт. На фюзеляже своего верного друга летчик сделал очередную пометку чернильным карандашом — итог встречи с двумя «тузами». Вскоре самолет доставили из ремонта. Боевой счет летчика чья-то заботливая рука увековечила кармином.

И снова бои. Один горячее другого. Схватки в воздухе, штурмовки, разведка, свободная охота.

Рано утром в штаб полка передали сведения о том, что фашисты готовят крупный налет на один из районов Осташкова, где были сосредоточены наши части, готовящиеся к наступлению. Прикрыть этот район командование полка поручило нескольким группам самолетов. Одну из них повел Шемендюк.

Стаю стервятников советские летчики заметили сразу, как только вышли из облаков. 33 «хейнкеля» и 7 «мессеров». 40 против трех. Такого в боевой практике Шемендюка еще не бывало.

— Я — «Беркут», всем — атака! — подал Петр команду.

Отжав от себя ручку управления, он нацелился на ведущий бомбардировщик.

В воздухе стало тесно.

В перекрестии прицела вырастал бомбардировщик. Петр увидел самое больное место вражеского самолета — мотор, дал короткую очередь и переворотом вышел из атаки. Оглянулся: самолет, заплетая дымные кольца, круто пошел к земле. По второму стервятнику метко полоснул лейтенант Шустров. Неплохо для первой атаки!

Заканчивая переворот, Шемендюк оказался в хвосте «мессера». Фашистский летчик заметил угрозу с задней полусферы. За двухкилевым хвостом фашиста потянулись две едва заметные дымные дорожки: летчик дал

форсаж в попытке оторваться. Петр дал полные обороты винта, прицелился. Короткая очередь. Трассы огненными змеями скользнули по серо-белому фюзеляжу «мессера». Кабина брызнула крошками разлетавшегося плексигласа. Вторая очередь, подлиннее. Этот смертельный укол сбросил «мессера» вниз.

Боевой строй фашистских бомбардировщиков рассыпался. Стараясь отделаться от лишнего груза, гитлеровцы начали сбрасывать бомбы на пустое место. Самый подходящий момент пустить в ход всю силу огня и маневра. Советские асы закрутили такую головокружительную карусель, что фашистам деваться было некуда, кроме как убираться поскорее восвояси. Вражеская стая недосчиталась в тот день шести машин.

Зима сорок третьего. На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью перешла в руки советского командования. Боевое счастье теперь уже верно служило нам.

Летчикам полка вместо новых жарких боев пришлось срочно переучиваться на новейшую матчасть. С заводского конвейера прибыла первая партия более совершенных истребителей Як-7б. На их фюзеляжах красовалась надпись: «Трудовые резервы». Эти самолеты — подарок от москвичей.

В сжатые сроки летчики полка успешно завершили освоение новых Яков. В апреле они перелетели в район Курска.

Активные действия немецкой авиации в районе Курска начались с мая. В ее тактике появились новые особенности. Гитлеровцы отказались от прежнего использования мелких бомбардировочных групп и перешли к массированным налетам. Один из таких налетов они предприняли на Курск рано утром 22 мая. 20 бомбардировщиков прикрывались 27 истребителями. Позади этой группы находились патрульные самолеты.

Наши летчики, которых повел в бой только что назначенный на должность замкомэска старший лейтенант Шемендюк, не стали связываться с патрулями и, сковав их действия, устремились прямо к бомбардировщикам.

— Двадцатый, я — «Беркут»! Атакую ведущего бомбера. Прикрой! — подал команду ведомому Шемендюк.

Глубоким раскачиванием крыльев фашистский летчик пытался уклониться от огня. Петр рассчитал амплитуду колебаний, прицелился. Правый мотор загорелся. Фа-

шистский летчик в испуге обернулся. Последовала вторая очередь, пронзившая кабину бомбардировщика.

В смертельной «карусели» воздушного боя теряется ощущение времени. Казалось, прошла целая вечность с начала этой схватки. Но бой продолжался всего пятнадцать минут. Советские истребители, выполнив задание, повернули на свой аэродром. Догорали на земле обломки пяти самолетов врага.

Второго июня фашисты подняли в воздух 500 самолетов. Армада шла этажами. Третью часть составляли истребители.

Шесть раз Петр Шемендюк поднимался в этот день со своими боевыми товарищами в жаркое небо.

Быстро набрав высоту, группа Яков легла на заданный курс. С земли передали:

— Противник идет южнее на высоте 3500 метров.

Шемендюк принял решение атаковать прикрывающую группу.

— Я — «Беркут». Всем — атака!

Не принимая боя, истребители противника рассыпались, прячась за облака и уходя к земле. Небо было очищено. Бомбардировщики, не дойдя до цели, сбросили свой груз.

В это время со стороны солнца появилась еще одна шестерка наших Яков под командованием Героя Советского Союза Владимира Залевского. Но из облаков вывалилась и новая группа немецких истребителей. Обстановка усложнилась.

Четверка наших самолетов завязала бой, отвлекая противника от места сражения. Шемендюк увидел, что в хвост нашему истребителю пристроились два «фоккера».

— Двадцатый, два «фоккера» на хвосте! — предупредил по радио Петр.

Атакой сверху он отбил от машины товарища самолеты врага. Один из них удрал в облака, Шемендюк атаковал второго. «Фоккер» переворотами начал уходить к земле, но Петр неотступно следовал за ним и меткой очередью сбил фашиста. Во время этой атаки его прикрывали Лемешев и Редькин.

В этом трудном бою старший лейтенант Шемендюк сбил три самолета. А всего наши отважные соколы уничтожили 13 вражеских машин. Так закончилась схватка с вражьей стаей.

После этого боя авторитет нового замкомэска враз стал непререкаемым. Его тепло поздравили все летчики эскадрильи, те самые, которые поначалу приняли назначение Шемендюка с некоторым холодком. Ведь в эскадрилье Героя Советского Союза майора Зудилова были и свои кандидаты на повышение. Среди них Герой Советского Союза Владимир Залевский, Андрей Боровых, сбивший более десятка самолетов врага.

Последний особенно пришелся по душе Петру Семеновичу. Это был летчик исключительной отваги, не ведающий страха, настоящий ас. Когда познакомились ближе, Андрей рассказал о себе.

Родом он был из Курска, из семьи рабочего. В сороковом году добровольцем ушел в ряды Красной Армии, поступил в авиационную школу. После окончания его, как способного пилота, оставили инструктором. Грянула война. Андрей стал настойчиво проситься на фронт. И добился своего — был направлен в 157-й истребительно-авиационный полк, защищавший небо Ленинграда. В конце сорок второго года полк убыл на переформирование под Москву, на Калининский фронт, и затем на Центральный. Летчики эскадрильи видели, с какой решимостью сражался Андрей Боровых в небе родного города, где жила его семья — мать, отец, братья и сестры. Только за месяц боев он сжег восемь фашистских самолетов. Бывало так, что Андрей поднимал свой Як в грозовое небо, по нескольку раз пролетал над Курском, над своей родной улицей, своим домом. От увиденного теснило грудь, учащенно билось сердце. Всякий раз, пролетая над городом, Андрей приветливо покачивал крыльями.

— А что, если тебе сбросить на свою улицу какой-нибудь заметный вымпел, а к нему — весточку домой, — предложил Андрею Петр Шемендюк, — адрес укажи. Кто найдет вымпел, уверен, сразу передаст родным.

Боровых так и сделал. Написал письмо, вложил его в снарядную гильзу, а к ней на длинном шнуре привязал кусок красной материи и взял «посылку» с собой в боевой вылет.

В этот день старшему лейтенанту Боровых пришлось вести особенно тяжелый бой. Ведомая им тройка истребителей геройски дралась с превосходящими силами гитлеровцев. Андрей атаковал врага с особенным ожесточением, будто чувствовал, что за ним внимательно и с надеждой смотрят не только родные, но и все земляки.

Летчик сбил в этот день два самолета. Проходя над своим родным домом на бреющем, по привычке несколько раз качнул крыльями и сбросил вымпел с запиской, который подобрали пехотинцы и отнесли по указанному адресу. Не знал только Андрей, что в этот день его отец, Егор Боровых, боец пожарной дружины, погиб на своем посту от осколка разорвавшейся авиабомбы...

В августе сорок третьего Андрей станет Героем Советского Союза. Во многих боях еще будет сражаться за чистое небо Родины этот бесстрашный ас — над городами и селами Украины и Белоруссии, Польши и Германии. В победном сорок пятом он пролетит над поверженным Берлином и увидит, как курятся развалины имперской канцелярии... В победном сорок пятом Андрей Боровых получит свою вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза, а ему исполнится всего лишь 24 года...

Наступило первое августа сорок третьего. Капитан Петр Семенович Шемендюк, недавно назначенный командиром эскадрильи, повел свою группу Яков на прикрытие наземных войск, наступавших южнее Орла. На ближних подступах к городу повстречались с большой стаей «мессеров» и «фокке-вульфов». Вывалившись из-за облаков, гитлеровцы стремились с трех сторон зажать в клещи наши «ястребки».

Бой проходил на высоких скоростях. Комэск зажег одного «мессера», с крутого виража вышел в хвост еще одному. Оставалось прицелиться и нажать на гашетки. Но тут он вдруг увидел, как один «Ме-109» с намалеванным черным тузом пик на фюзеляже, зловеще сверкнув на солнце остекленной кабиной, приблизился сзади к «ястребку» молодого летчика, младшего лейтенанта Редькина, любимца эскадрильи. Все решали секунды. Раздумывать долго не пришлось. Петр резким движением почти толкнул ручку управления от себя, одновременно правой ногой утопил педаль поворота. Летчик бросил свою машину наперерез фашисту, действуя по солдатскому правилу: «Если смерть смотрит в глаза друга — прими ее взгляд на себя». И он полностью принял смертельный взгляд врага на себя. В момент, когда Як Шемендюка заслонил собой самолет Редькина, черный туз ударил из всего бортового оружия. С оглушительной силой забарабанили пули по обшивке Яка. В одно мгновение Петр увидел разлетающиеся осколки вдребезги разбитого «фонаря», фонтан крови, бьющий в прибор-

ную доску из раздробленной левой руки, яркое пламя, языки которого жарко обняли кабину. Потом услышал нервный кашель мотора и пронзительный свист воздушных потоков, обтекающих смертельно раненный самолет.

А прыгать нельзя. Внизу нейтральная полоса. И высоко. Немцы могут расстрелять в воздухе. И Шемендюк принял единственно правильное решение — покинуть самолет в самый последний момент.

Машина теряла высоту. Застывший винт, точно перекрестие прицела, угрюмо глядел на быстро надвигающуюся, изрытую бомбами землю. Языки огня лизали изрешеченную руку, грудь, лицо. На летчике загорелся комбинезон. Петр посмотрел вниз. Под крылом какая-то маленькая деревенька. Земля уже близко. Можно прыгать. А силы совсем покинули пилота. В предсмертной схватке за жизнь человек способен сделать невозможное. Невероятным усилием Петр перевалился через борт кабины и покинул свой самолет. Дернул кольцо парашюта. За спиной послышалось спасительное шуршание шелка. От удара о землю и от чудовищной боли в руке Шемендюк потерял сознание. Придя в себя, он был оглушен звенящей тишиной. Над головой чистое небо, перед глазами пахучие травы, раскачиваемые теплым ветром, белеет шелк купола, зацепившегося за сук разлапистого дерева.

Превозмогая боль, Петр кое-как перевязал одной рукой раненую руку, использовав для этого стропы парашюта, и хотел было идти в сторону видневшейся деревни. Ступил два шага и упал. Силы совсем покидали летчика. Закусив до крови губу, он пополз. Так он к вечеру добрался до деревеньки Дьячье, точно еще не зная, находятся там немцы или нет. На всякий случай Петр достал пистолет и с помощью коленей и правой руки дослал патрон в патронник. «Если что, живым не дамся», — скрипнул зубами Шемендюк и, не снимая оружия с боевого взвода, засунул его за борт комбинезона. Пытался прислушаться — ничего не получалось. Мешал шлемофон. Снять же его не удавалось. Запекшаяся кровь буквально припаяла шлемофон к голове.

Постучался в крайнюю избу. Дверь открыла старушка Авдотья Михеева. При виде летчика упала в обморок. Едва удалось привести ее в чувство.

— Как же тебе помочь, батюшка? — спросила она. — Немцы где?

— Сбежали супостаты, сбежали, сынок, — обрадовалась старуха, — стрельба весь день была, наши, видать, подходят, они и наутек.

— Йод, бинт есть в доме?

— Нет, родимый...

Горячим утюгом бабушка Авдотья тщательно прогладила тряпки для раны. Когда же старушка попыталась взяться за перевязку, то снова потеряла сознание. Петр решил обойтись своими силами. Он привязал одну парашютную стропу за столб, другим концом обвязал себе талию. Поворачиваясь, он наматывал на себя тугие кольца, подкладывая под них на рану куски шелка. С наступлением ночи Петр двинулся на восток. Пробираясь лесом, вконец обессилев, летчик надолго потерял сознание. На него чудом наткнулись наши разведчики. Привели в чувство, дали, что случилось под рукой, подкрепиться.

— Не обижайся, браток, — извинялись разведчики, — и бросать тебя нельзя, и с собой не возьмешь. Мы выполняем очень важную задачу, скоро не вернемся. Отдохни малость и тяни как-нибудь к своим.

Разведчики поделились с летчиком продуктами и вскоре растворились в безмолвной черноте ночи. Петр снова пополз. Начинало уже светать, когда на него — опять чисто случайно — набрели санитары.

В госпиталь доставили в безнадежном состоянии. Срочная операция. Когда Шемендюк пришел в сознание — перед собой увидел доброе лицо доктора; рядом с ним с заплаканными глазами стояла молоденькая санитарка.

— Так ты, оказывается, летчик? — удивился доктор. — А я, видишь ли, отсек тебе левую плоскость... Под самый корень...

— Как отсек?! — закричал Петр.

А дальше началось долгое, мучительное путешествие по госпиталям. Из-под Курска увезли в Липецк. В палате военного госпиталя, кроме Шемендюка, лежало еще четверо летчиков и также без левых рук. Выходило, что существовала какая-то злосчастная закономерность, что в бою летчик непременно терял левую руку.

— Я понял, в чем дело, — сказал Петр Семенович товарищам по палате, с которыми обсуждал причину одного и того же ранения, — правая рука лежит на штурвале, так? А левая? Она свободна, и мы по привычке кла-

дем ее на край борта кабины, где нет никакого предохранения. Давайте напишем главному конструктору, чтобы подумал.

Письмо тут же составили как надо и попросили милую, симпатичную белокурую девушку, которую все называли Шурочкой, отнести его на почту. Шурочка, как и многие другие девушки из местного техникума, взявшие шефство над госпиталем, как раз дежурила в палате у безруких летчиков. Она старательно ухаживала за больными, носила им почту, книги из библиотеки, перепела для них все песни, какие только знала, а по воскресеньям носила из леса разные ягоды. Летчики сразу полюбили эту славную девушку, хотя и не признавались в этом друг другу. А вот кому Шурочка ответит взаимным чувством — никто про то не знал.

Раз вбегает она в палату, распахнув широко дверь. Глаза светятся радостью, щеки горят. В руках газета «Правда».

— Читайте! — торжественно объявила девушка, тряхнув золотыми кудряшками, и развернула газету. Петр Семенович взял «Правду», и строчки текста запрыгали перед глазами. В газете был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года о присвоении Шемендюку высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза. За два года войны он сделал почти триста боевых вылетов и сбил 24 вражеских самолета. Этим же Указом звания Героя Советского Союза был удостоен летчик Алексей Маресьев. Какое совпадение! Не смогли пока встретиться друзья — встретились теперь их геройские фамилии...

Разволновавшись, Петр крепко обнял правой рукой Шурочку и расцеловал ее на радости. Этот минутный порыв летчика обернулся для девушки затаенным счастьем. Забегая наперед, можно сказать, что вскоре она отважится поехать в Москву, куда переведут для дальнейшего лечения Петра Семеновича, и там она станет женой героя.

Из Липецка Петра Семеновича увезли в Москву, в Центральный военный госпиталь. Четыре раза делали врачи операцию на руке, но больше всего Петра угнетало не это. Каждый час, каждую минуту его сжигала мысль, что он теперь совсем отлетался, что больше уже никогда не поднимется в небо вместе с боевыми друзьями и не отплатит сполна гитлеровцам...

— Петр Семенович, к вам пришли, — объявила с порога санитарка.

Петр приподнялся над подушкой и глазам своим не поверил: в дверях стоял, широко улыбаясь, его задушевный друг Алексей Маресьев.

— Алеша!..

— Здорово, дружище, здравствуй, Петро! Насилу отыскал тебя. Собирайся, поедем ко мне.

— Куда к тебе?

— Домой, тут недалеко. С врачами я договорился. Уважили: как-никак три года не виделись.

Друзьям было что вспомнить.

— Отвоевался я, Леша, — глядя в окно на ночную Москву, задумчиво проговорил Петр.

— Как это отвоевался? — удивился Маресьев.

— А на что я гожусь, калека?

— А я на что, по-твоему, гожусь — хлеб только переводить? На, смотри, Петро, — как-то странно, чужим голосом сказал Алексей и приподнял обе штанины брюк. Петр в изумлении, ничего не понимая, уставился на протезы друга. — Я не стал тебе говорить о своей беде при встрече в госпитале, не хотел расстраивать. И сейчас не сказал бы, если бы ты не завел разговора о «калеке». Главное — не раскисать и готовить себя к новым боям. Мы же с тобой советские, значит, настоящие люди.

— Не хочешь ли ты сказать, Алексей, что на этих протезах собираешься летать?

— Скажу не это, а другое. Я уже летаю и вот на этих самых протезах сбил три самолета...

Над Москвой занималась заря. Наступал новый день...

Истекли девять мучительных госпитальных месяцев. Все это время Петр регулярно получал теплые письма от однополчан, которые рассказывали о своих фронтовых делах, новых победах в воздухе. Не скрывали и того, когда и кого оплакивал родной полк.

«Со всей присущей тебе настойчивостью, во что бы то ни стало просись на фронт, Петро, — писал с Украины Герой Советского Союза Иван Сергеевич Зудилов. — Я бы на твоем месте взялся учить нашу неоперившуюся молодежь. Если ты сумеешь передать ей свой богатейший опыт, считай, что это равноценно тому, как если бы ты успешно летал и сбивал вражьи стаи».

И Петр строил планы. Вот поправится, вернется в родной полк и сумеет найти применение своим знаниям, опыту. Пусть не в небе, но рядом с дорогими сослуживцами на передовой.

Только врачи решили по-иному — на фронт нельзя. И началось хождение по инстанциям.

— Вы уже отдали Родине свой долг полностью, — ответил один работник отдела кадров, глядя на пустой левый рукав офицерского кителя.

— Нет, товарищ генерал, я вечный должник у нее, — горячился Шемендюк, — и прошу вас дать мне возможность...

— Не имею права!..

Тогда капитан Шемендюк решился обратиться лично к командующему ВВС. Уж если и он откажет, тогда... Главный маршал авиации А. А. Новиков, выслушав летчика, спросил, где и как воевал.

— Ну что ж, ленинградец, было бы грешно отлучать тебя от авиации, которой ты отдал все, что мог. Сегодня же получишь назначение. — Маршал крепко пожал руку молодому капитану и пожелал ему новых боевых успехов.

Кадровики предложили Шемендюку пойти учиться в Военно-воздушную академию имени Жуковского. Летчик отказался. Теперь у него после поддержки маршала козырей, как говорится, прибавилось. На фронт, и все тут, настаивал летчик. Сошлись на том, что его вначале пошлют на двухмесячные высшие офицерские курсы, а потом уж на фронт.

И вот долгожданное назначение. Капитана Шемендюка командировали во вновь формирующуюся 130-ю истребительную авиационную дивизию на должность начальника воздушно-стрелковой службы. Ее командир Герой Советского Союза Федор Иванович Шинкаренко тепло принял своего помощника. Общий язык нашли сразу. Как-никак оба имели одну летную профессию — истребители, и оба прекрасно понимали, чему учить молодежь и как учить.

— Ваша задача, Петр Семенович, — говорил комдив, — в короткий срок так организовать учебу летчиков, чтобы они умели и метко стрелять по воздушным и наземным целям, и бомбить. От качества выполнения этой задачи будут зависеть успехи дивизии в предстоящих боях.

В состав 130-й дивизии вошли 168-й, 409-й и 909-й истребительные авиационные полки. Шефом последнего стал Государственный ордена Ленина академический Малый театр. Его артисты собрали средства на постройку боевых самолетов и 8 июня 1944 года передали 12 новейших машин Як-9л первой эскадрилье лейтенанта Мелихова. Передача состоялась на подмосковном аэродроме в торжественной обстановке и оформлена соответствующим актом. Для вручения техники к летчикам приехали известные артисты Малого театра Гоголева и Царев.

Летчики дивизии приступили к освоению многоцелевого истребителя-бомбардировщика Як-9л. Этот самолет поднимал значительный груз. Сбросив бомбы, он превращался в маневренный истребитель. Мощное бортовое вооружение, солидная бомбовая нагрузка позволяли Яку успешно производить штурмовки.

Подготовка к предстоящим боям проходила весьма напряженно. Майор Петр Семенович Шемендюк дневал и ночевал на аэродроме, настойчиво проводил в жизнь верное и непреложное правило: тренироваться, тренироваться, тренироваться. Тысячи взлетов и посадок, виражей, спиралей, многие тонны израсходованного горючего, километры шваковских лент, горы сброшенных «пятидесятикилограммовок» и «соток» и бессчетное количество разборов действий летчиков. За этим всем — повседневный, на первый взгляд неприметный труд начальника воздушно-стрелковой службы.

Не всем по вкусу пришлась железная метода майора Шемендюка, особенно понюхавшим пороха.

— Мы это в бою проходили, товарищ майор, а вы нас как школяров гоняете, — заявил однажды лейтенант Н., на счету которого было около 20 боевых вылетов и 3 сбитых самолета.

«Звездная болезнь», — отметил про себя Петр Семенович, выслушивая доводы молодого летчика.

— С этой болезнью, товарищи летчики, я хорошо знаком, — обратился Петр Семенович к молодым офицерам, которых собрал после дневных полетов. — У нас на фронте иногда попадались такие, кто путал героизм с лихостью, у кого кружилась голова от первых успехов, кто много воображал, пытаясь затмить Чкалова. Знал я одного такого «больного». Он недооценивал роль дис-

циплины, пренебрегал тренировками, за что поплатился в бою ценой собственной жизни.

Майор Шемендюк выждал паузу и, обращаясь к летчику Н., продолжал:

— А теперь давайте разберем сегодняшний учебный бой вашей пары. Вы летали ведомым. Зачем же вы во время стрельбы ведущего по конусу покинули свое место и тоже пошли в атаку? Чтобы наверняка «дырки» в конусе были? Этим грубо нарушили золотое правило в бою: ведущий — меч, ведомый — щит, то есть оставили командира без прикрытия. Это во-первых, во-вторых, оказали ведущему медвежью услугу. На чей счет прикажете отнести «дырки» в конусе? И как оценить готовность к бою вашего ведущего?..

Лейтенант Н., и не только он один, сделал правильные выводы из этой беседы и больше не проявлял пренебрежения к тренировкам.

13 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта (командующий генерал армии И. Д. Черняховский) начали Восточно-Прусскую операцию. Их действия поддерживала 1-я воздушная армия генерал-полковника Т. Т. Хрюкина, в состав которой входила 130-я дивизия. Накануне летчики, заправив в свои планшеты карты Восточной Пруссии, подолгу всматривались и зубрили наизусть чужие названия городов и сел. Вся эта немецкая земля, которая в течение столетий служила удобным плацдармом для нападения на Россию и Польшу, являла собой сплошную крепость фортов, дотов, дзотов, бронеколпаков, соединенных между собой траншеями, ходами сообщения. Все долговременные огневые точки врага располагались на выгодных оборонительных рубежах, прятались среди деревьев, строений и копен сена, соломы и могли встретить противника со всех сторон. Усадьбы бюргеров с толстыми стенами жилых и подсобных помещений, бетонированными подвалами и строениями с бойницами напоминали настоящие крепости.

— Нелегко будет нашей пехоте брать эти орешки, — сочувственно вздыхали летчики, — но ничего, поможем братьям по оружию громить врага в насиженных броне-точках, зададим фашистам перцу.

Подошло время решительного наступления. После мощной артиллерийской подготовки вперед устремились войска. Авиация оказалась не у дел. Виновниками тому были низкая облачность и густой туман. Нет худшего

положения для летчиков. Они проклинали на чем свет стоит небесную «канцелярию» и продолжали отсиживаться на аэродромах. Лишь на третий день операции в воздух поднялись все экипажи дивизии. По пять-шесть раз поднимались в небо в тот день многие летчики.

Своей напористостью, результативностью атак отличался командир эскадрильи Виктор Мелихов. 18 января он повел в очередной раз группу самолетов, на фюзеляже которых красовалась яркая надпись: «Малый театр — фронту». Едва группа успела отбомбиться, как ее внезапно атаковали «фоккеры». Не растерялся комэск. Искусным маневром он вышел из-под огневого удара гитлеровцев и сам атаковал ведущего. Имея отличные навыки в стрельбе, он открыл огонь с дальней дистанции и с первой же очереди зажег один «фоккер». Новая атака — второй фашистский самолет, объятый пламенем, рухнул на землю.

— Спасибо, Петр Семенович, — крепко пожимал руку Мелихов Шемендюку, — ваша наука пошла впрок. Трассы снарядов легли, как вы учили, со снайперской точностью.

Этот доклад молодого летчика был для майора Шемендюка самой дорогой наградой.

«Велик урон, который несут немецкие войска от соединения истребителей-бомбардировщиков под командованием Героя Советского Союза полковника Шинкаренко, — писала «Правда» 3 марта 1945 года, — за короткое время летчики этого соединения совершили свыше двух тысяч боевых вылетов, уничтожили 25 самолетов неприятеля, разбили более 600 вагонов и паровозов, много танков и орудий».

А вскоре, с весенним половодьем, на быстрых крыльях прилетела долгожданная радостная весть — ПОБЕДА!..

Тишину аэродрома разорвали выстрелы. Загремел салют из сотен стволов пулеметов и пушек, пистолетов и орудий, в небо взлетали десятки ракет. В воздух летели пилотки, шлемофоны, отовсюду неслись самые дорогие слова: «Мир!», «Победа!», «Конец войне!» Казалось, в эти минуты салютовали весь мир, вся вселенная...

Петр Семенович Шемендюк, как и все его друзья-товарищи, испытывал ни с чем не сравнимое чувство радости и гордости. И не было на земле счастливее человека. Победа!.. Она как солнце теперь станет светить всем, све-

тить вечно. Значит, о твоем исполненном долге солдатском — высоком и тяжком — будут вечно помнить.

В Восточной Пруссии закончил свой боевой путь Петр Семенович Шемендюк. Здесь началась его мирная жизнь. Распрощавшись с боевыми друзьями, авиацией, он остался в городе, который встанет из руин и получит имя: Калининград. Здесь наш герой живет и поныне.

Часто Петр Семенович встречается с молодежью, бывает в эскадрильях дважды Краснознаменного Балтийского флота, у воинов Краснознаменного Прибалтийского военного округа, на предприятиях и в учебных заведениях. Не считаясь ни со временем, ни с настроением, идет туда, где нужно его слово.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов, когда был учеником восьмого класса Калининградской школы, познакомился с героем войны на уроке мужества. После рассказа Шемендюка об авиации, о подвигах фронтовиков у юноши зародилась мечта стать военным летчиком. Цели своей добился. Авиация потом открыла ему дорогу в космос. Друг Алексея Леонова, летчик-космонавт СССР, бывший калининградец Виктор Романенко тоже «заболел» небом еще со школьной скамьи и тоже после встречи с Петром Семеновичем...

Быстро летит время. Но не забываются с годами события минувшей войны, фронтовые друзья и товарищи. Со многими из них Петр Семенович переписывается, встречается. Чаще всех с Алексеем Маресьевым. Их дружбе почти полвека.

Давно собирался ветеран побывать в тех местах, где провел свой последний воздушный бой, посмотреть на ту землю, которую полил кровью. Да все как-то поездка из года в год переносилась, откладывалась.

И вот письмо с Орловщины...

Короткие сборы, дорога — и герой-фронтовик в гостях у кромчан. Встретили бывшего летчика тепло и радушно. Едва скрывая волнение, Петр Семенович вместе с колхозниками подошел к месту, где упал его Як. Шемендюку преподнесли найденные в самолете и сохраненные для этой торжественной минуты вещи пилота: планшет с картой последних боев, фотографии фронтовых друзей, письма и другие документы, кстати, отлично сохранившиеся, а также детали от часов, радиоприемника, редуктор кислородного питания и боевой патрон.

Петр Семенович подошел к обелиску, о котором рас-

сказал учитель Моховской школы Генрих Дмитриевич Ададуров.

— Обелиск был поставлен неизвестному летчику еще во время войны, сразу после трагической гибели, как полагали, пилота. Спустя много лет, когда мы откопали самолет и по документам установили ваше имя, надпись «Неизвестному герою» заменили на новую: «Советскому летчику старшему лейтенанту Шемендюку П. С.». Полагали, конечно, что вы погибли. А потом решили попробовать отыскать вас...

Петр Семенович с волнением рассматривал дорогие реликвии, пролежавшие в земле многие годы. С пожелтевших фотографий смотрели на него молодые ровесники, какими их отметила фотографическая память в начале сороковых годов.

В это время высоко в небе, на сверхзвуке, оставляя инверсионный след, шел на учебно-боевое задание военный самолет. Ветеран войны посмотрел в небо и, вслушиваясь в громовые раскаты, будто улавливал отзвуки давно отгремевших боев.

●

ПОЭЗИЯ

Иван СЛЕПНЕВ

ПРИНИМАЮ ПРИСЯГУ

* * *

Я лишь поэт, который славит время,
Живое, уплотненное до взрыва,
Великое для жизни всей земли.

Вл. Луговской

Время неоглядно, молчаливо,
высохшее, ставшее как порох,
время, уплотненное до взрыва,
часовым расставлено в дозорах.

Время, безотчетное от века.
Войны — будь же проклят этот
опыт!
Только зрелость
мыслей человека
этот зной воинственный растопит!

* * *

Принимаю присягу
в безупречном матросском строю
и священному стягу
тепло своих губ отдаю.

Отдаю свою волю...
Свят во мне исторический свет.
Куликовское поле
шлет березовый теплый привет.

Материнской молитвой
согревалась надежда солдат.
Бородинская битва,
на себе твой почувствовал взгляд!

Принимаю присягу
в окруженье бывалых бойцов.
Я на стенах рейхстага
вижу росписи наших отцов.

Корабли и ракеты
за моею притихли спиной.
Алый парус планеты
наполняется мирной волной.

Но возможно любое
столкновенье идей впереди.
Словно колокол боя,
бьется громкое сердце в груди!

Я клянусь, что Россия
станет после присяги моей
и сильней, и красивей,
и на целое сердце слышней!

МОРЗЯНКА

Словно бабочки над светом,
над ключом мелькают пальцы,
сквозь разряды и помехи
точный звук уловит слух.
Кто познает вкус морзянки —
сил не хватит оторваться,
станет пленником эфира,
будет вкалывать за двух!
Головные боли ночи,
вновь антенна спозаранку
мечет «молнии» в пространство,
ворох мыслей и страстей.

Да, радисты «пашут» небо,
сеют зернышки морзянки,
и, как хлеба, жаждут люди
утешительных вестей.

* *

Сердце грозное, прости,
мне твоя понятна речь...
Где-то после тридцати
начинаем жизнь беречь.

Связка ландышей в горсти,
журавлей живая нить...
Где-то после тридцати
начинаем жизнь ценить.

А деревьям — вверх расти,
а реке — в глазах рябить...
Где-то после тридцати
начинаем жизнь любить.

Встанет счастье на пути,
станет робко обнимать...
Где-то после тридцати
начинаем... понимать.

ЗАБЫТЫЕ ПЕСНИ

Принеси мне, матушка, лукошко,
устели лебяжьим пухом дно,
мы с тобой присядем на дорожку,
поглядим в туманное окно.
И, былую скованность осилив, —
до свиданья, ласковая мать! —
зашагаю памятью России
замершие песни собирать.
Я пойду болотами и логом,
по степи, по лесу — наугад...
Много старых песен по дорогам
в ожиданье голоса лежат.
И, припав к созвучим тягучим, —

мне такая жажда по плечу —
из тревожной памяти, как тучи,
молниями песни возвращу!
Оживлю забытые мотивы,
ведь любовь сильней живой воды,
и, быть может, стихнут примитивы,
что звучат сейчас на все лады...

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК

Дней моих лучезарных поток —
как вас все-таки мало...
Мать любила
пуховый платок,
с плеч его не снимала.

В оренбургском — подарок отца —
в теплой радости зимовала,
я счастливое солнце лица
часто видел бывало...

Мать любила...
Ушел человек,
дни ее далеко улетели.
На погосте — пушистый снег,
всплески траурные метели.

Мир мне кажется вновь жесток,
с ним еще предстоит ужиться...
Как растерзанный болью
платок,
серый пух,
серый снег кружится...

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ

От высокой затеи немея,
мы, колдуя деревнею всей,
запустили бумажного змея
над зеленой планетой своей.

Состояла ребячья планета
из поляны, где видишь коров,
из садового рая ранета
и пространства знакомых дворов.

О, мальчишечья сила искусства —
восхищеньем полет провожать,
и за нитку — забытое чувство! —
непослушного змея держать!..

Спотыкаясь в разбитом кювете,
догоняя воздушную цель:
— Отпусти его, —
крикнули дети, —
он свободная птица теперь!

У него словно выросли крылья,
в голубых небесах не спеша
он витал и витал без усилья,
как прекрасная чья-то душа.

И впервые мы поняли это —
только ветер в свободной руке —
не кончается наша планета
за кустарником, там, вдалеке...

В. М ШАТИЛОВ,
генерал-полковник,
Герой
Советского Союза

В БОЯХ РОЖДЕННОЕ ЗНАМЯ

ПРОРЫВ

Победа нам досталась нелегко. 1418 дней и ночей тянулась кровавая война. И если 22 июня 1941 года был для нашего народа днем скорби, то день 9 мая 1945 года принес нам радость, торжество, великую победу над черными силами фашизма.

В начале войны, сдерживая натиск врага, рвавшегося к Ленинграду, Москве, Киеву и Северному Кавказу, Красная Армия отстаивала каждый метр родной земли. Под напором превосходящих сил мы отходили с тяжелыми боями. Гитлеровцы жгли деревни, города, угоняли

мирных жителей в Германию и превращали их в своих рабов. Гитлеровские бандиты в дневниках и письмах похвалялись своей жестокостью к населению. У убитого под Старой Руссой лейтенанта Густава Циголя было найдено обращение фашистского командования к солдатам, в котором говорилось: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского советского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик — убивай...» Чудовищные злодеяния лишь усиливали ненависть советских людей к фашистской нечисти, умножали их решимость бороться до конца — или умереть, или победить.

Я, пробиваясь из окружения Оржицкого «котла» Юго-Западного фронта, с остатками 196-й стрелковой дивизии 26-й армии шел на соединение с фронтом. Мы везде, где только было возможно, уничтожали гитлеровцев. В середине сентября не было дня, чтобы у нас не происходили ожесточенные стычки с врагом. В этих боях погибло много замечательных бойцов, командиров и политработников. Погибла бо́льшая часть дивизии, оставшиеся в живых спешили на помощь Москве.

Немцы сбрасывали листовки, в которых сообщалось, что Красная Армия разбита и перестала существовать, что пали Москва, Петроград, Киев, что иного выхода, чем сложить оружие, у русских солдат нет. К тому же 26-я большевистская армия окружена, и ее окончательный разгром — вопрос двух дней.

Как ни тяжело, ни трагично было наше положение, ни у кого из бойцов и командиров дивизии не возникло и мысли принять предложение фашистов.

Никогда не забуду бой в селе Зорге Оржицкого района. Мне пришлось лечь за станковый пулемет и отражать вместе с бойцами атаку врага. Мой напарник первый раз в жизни принял бой, а я впервые за войну лег за пулемет. В 1928—1930 годах был командиром пулеметного взвода. И вот теперь мои знания пригодились. Когда лежишь за «максимом», смотришь в прорезь прицела — бой видится тебе иначе, чем с КП и НП. Хотя здесь гораздо опаснее, но, удивительное дело, чувствуешь себя гораздо увереннее. Здесь ты — сила, боевая единица. Сквозь вспышки видно, как мечутся фрицы в мышиного цвета шинелях, падают, встают, снова падают и уже больше не поднимаются. Жалости к ним нет, ведь это они, которые идут на огонь пулемета, пришли на землю твоей Родины, чтобы повергнуть ее в прах. И разговаривать с ними надо на языке оружия.

Атака врага захлебнулась. Уцелевшие фашисты откатываются к лесу.

В Оржицах нас собрал командующий 26-й армией Федор Яковлевич Костенко. Он изложил план прорыва кольца, задачи соединений.

Во второй половине дня мост через реку Оржицу атаковала конница. Атака была исключительно яростной и стремительной. Немцы опомнились лишь тогда, когда советские кавалеристы и руководящее ядро штаба 26-й армии были далеко. Фашисты подогнали к мосту танки, артиллерийские и минометные батареи и закрыли образовавшуюся брешь. Они создали перед мостом такой плотный заградительный огонь, что нечего было и думать о его взятии.

Решили отыскать брод. Один из местных старожилов показал его нашим разведчикам.

Вот и река. Над ее темной гладью курится холодный туман. Мало приятного в одежде лезть в студеную воду, но все это делают безропотно, понимая, что на том берегу спасение. Как всегда, первыми идут разведчики, такова уж их участь. Моросил мелкий осенний дождь. Он не переставал всю ночь, и мы промокли до нитки. Хотелось, чтобы скорее кончились эта длинная сентябрьская ночь и этот проклятый дождь. На востоке полыхало зарево пожара, и оттого ночь казалась менее темной. Вид пожарища производил горькое впечатление: немцы уничтожали в огне народное добро, многолетний труд советских людей. Полковник Самсоненко посмотрел на меня и с грустью сказал:

— Придет время, отомстим врагу за все беды.

Привалы были короткими. Пока немцы потеряли нас из вида, следовало как можно дальше уйти от врага, быть поближе к линии фронта.

В лесу северо-восточнее села Большое Селецкое расположились остатки 196-й стрелковой дивизии на дневку. Уставшие люди отдыхали кто как. Тишина, а тишина — тревожный признак на войне. Тут после нескольких бессонных ночей и я заснул. Разбудил Самсоненко. Он тихо подошел ко мне, полушепотом сказал:

— Опять мы окружены с трех сторон. Автоматчики с танками...

Открыл глаза. Самолет противника сбрасывал листовки. Тяжело стало на сердце. Так все хорошо шло, и вот...

— Как же быть? — спросил полковник.

— Вот что, Иосиф Иосифович, организуй ударную группу, человек шестьдесят. Собери для них гранаты. Попробуем пробиться. И немедленно, пока фашисты не окопались.

— Ясно, — сказал Самсоненко и побежал выполнять распоряжение.

Самолеты, сбросив листовки, стали прочесывать из пулеметов рощу, где мы расположились. Затем улетели. Снова наступила тишина. Не стреляли ни автоматчики, ни танки. Выжидали.

Мы с Самсоненко спустились в заросший кустарником овражек, где собралась боевая группа, состоящая из добровольцев — самых отчаянных и обстрелянных бойцов. Разговор был коротким:

— У нас нет другого выхода, надо атаковать врага, забросать его гранатами, ошеломить, не дать опомниться и пробиться коротким рывком. На прорыв идете первыми. Остальные — следом.

Группа лейтенанта И. Иванова прошла сквозь боевые порядки врага, пробила небольшой коридор для главных сил. Фашисты пытались обойти бойцов с правого фланга, но их встретили шквальным огнем, и они были вынуждены залечь в кустах, прикрываясь за танки. С левого фланга заходить не стали: вдоль дороги тянулся густой лес с низким кустарником, фашисты боялись наткнуться на неожиданную засаду. Вслед за группой Иванова двинулась основная часть подразделений. Перестрелка разгоралась, но передовые бойцы не давали врагу подняться с земли, обеспечивая выход из рощи наших главных сил. Штабу и основной части бойцов дивизии удалось оторваться от немцев. Однако несколько подразделений замешкались. Опомнившись, фашисты закрыли коридор. Идти им на выручку было бессмысленно. Поэтому решили сосредоточиться на острове, что южнее деревни Малое Селецкое.

На войне, по собственному опыту знаю, есть элемент удачи, боевого счастья. Но в данном случае о везении говорить не приходится. Гитлеровцы были сильнее нас. У них танки, нет нужды в боеприпасах. И все же им не удалось отбить дерзкую атаку. Группа прорыва прошла сквозь их боевые порядки: такой стремительности, такого напора фашисты не ожидали. А неожиданность — спутница боевого успеха.

Ночь шла на убыль, а я еще не смыкал глаз. Однако спать не хотелось: нервы были натянуты до предела. Не давали покоя невеселые мысли: «Вот и на этот раз прорвались. Но что делать дальше, куда направиться с этого острова?» Кругом вода — река Сула с топкими болотами и непролазными зарослями камыша. Бой словно бы отдыхал после изнурительного дня. Немцы, видимо, знали о нашем местонахождении и были уверены, что нам не уйти с острова. Шумели только камыши, приглушенно и ритмично. Этот шум заглушал отдельные редкие одиночные выстрелы. Неслышно двигались часовые, замерли в кустах, прислушиваясь к каждому шороху, секреты.

Небо заволокло облаками. Звезд почти не было видно, горизонт начало отбеливать позднее обычного. Темнота раздвигалась медленно.

Под утро подразделениям, оставшимся в окружении, удалось незаметно выскользнуть из кольца и примкнуть к дивизии. Это событие подняло настроение бойцов.

Но новый день нес новые заботы. Сидеть на острове не было никакого смысла. Надо, пока не поздно, выбираться с острова. Но куда? Где лежит безопасная дорога? Как перед носом немцев проскочить через реку Сулу? На эти вопросы помог нам ответить пастух из Малого Селецкого, который пришел на остров присмотреть за пасшимся здесь колхозным стадом. Простой, словоохотливый старик вызывал доверие, он рассказал, в каких селах находятся немцы, сколько их.

Он же и вызвался помочь нам:

— На лодках вас переправим. Места, где нет германца, покажем.

— Где ты столько лодок найдешь?

— Как где? У колхозников. В мирное время каждый в селе рыбачил и плоскодонку имел. Наскребем! Теперь, понятно, все лодки в сараюшки сховали. Но, как только наступит вечер, выволокем. Лишь бы фашист не пронюхал.

Часам к десяти вечера старик возвратился из села и сообщил, что можно выступать.

Быстро и тихо дивизия снялась с места и двинулась к намеченной переправе. Примерно через час подошли к реке, которая здесь делала полупетлю. Разведчик доложил, что берега Сулы удобны для переправы: один порос кустарником, другой — камышом.

Переправа прошла благополучно. Устроили привал в селе Худолеевка, где немцев не было, выставили боевое охранение.

Перед рассветом пришел к нам командир организующегося партизанского отряда по кличке Батя. О нас ему рассказали крестьяне, помогавшие в переправе.

Он доложил общую обстановку на фронте. Сообщение не радовало: войска по всему Юго-Западному фронту отходят от одного рубежа к другому. Но Харьков не сдан, как сообщалось в немецких листовках.

Я нанес на карту комендантские пункты, которые стояли на нашем пути.

Батя предупредил:

— Большак переходите осторожно. По нему к фронту непрерывно двигаются машины с фашистскими солдатами, танки и орудия, а от фронта — подбитая военная техника и раненые.

А вот вам и проводник, — показал Батя на подошедшего средних лет колхозника. — После большака вас встретит партизан Молчан. Это его кличка, потому что молчаливый он.

Мы распростились с Батей, вышли из села Худолеевка в направлении к городу Хорол. Шли полевыми дорогами, оврагами и перелесками, в основном ночью: днем шли только в туман.

В ночь на 2 октября подошли к городу. Было темно, за три шага ничего нельзя различить. Небо затянуло сплошной тучей, ветер заглушал наши шаги.

Расположившись за невысоким берегом реки Хорол, опять стали решать нелегкую проблему: как перебраться на ту сторону реки?

— Мост есть, — подсказал проводник. — Охрана небольшая, да и та сидит, поди, в будке. Если бесшумно снять...

Эту операцию поручили провести капитану Кербергу.

Томительно тянулись минуты ожидания. Наконец вернулся от капитана связной и доложил:

— Мост свободен. Можно двигаться.

Бесшумно прошла колонна по мосту и скрылась в ночной темноте... А днем 2 октября через этот мост из района Оржицы двигались фашистские части. «Мы едем в Сталинград!» — горланили гитлеровцы. Форма солдат еще не помялась, самодовольных новобранцев только еще везли на фронт. Пройдет совсем немного времени, и они окажутся в «котле» Сталинграда. Злобу и ненависть вызывала у нас эта черная армада завоевателей. Хотелось остановить их, дать бой, но что могли сделать измученные и израненные бойцы этим вооруженным до зубов и сытым фашистам? Слишком неравными были силы...

Близился наш фронт, а с ним и выход из вражеского кольца.

Наконец мы добрались до реки Псел. Уже одиннадцать дней и ночей длится наш рейд по вражескому тылу. Сто шестьдесят километров прошагали бойцы, пробираясь к линии фронта. Всюду нас поджидала опасность, и всюду нам была протянута рука народа, отводившая опасность. В то утро над нашими головами в течение часа пролетали снаряды. Это была артиллерийская дуэль! Значит, мы подошли к линии фронта! Нашей радости не было границ.

Вскоре к нам явился какой-то старик с уздечкой.

— Наши близко? — спросил полковник Самсоненко на украинском языке.

— На той стороне реки.

Это была наша последняя переправа на пути к линии фронта. Тот день, 3 октября 1941 года, стал для нас самым счастливым днем.

Много, очень много довелось мне видеть в глубоком тылу на земле Украины. Я был свидетелем удивительного мужества частей, подразделений и даже отдельных небольших групп советских солдат, оказавшихся в окружении, в борьбе с превосходящими силами врага. Они дрались героически, расшатывали тылы врага, стали ударной силой партизанских отрядов, которые только что зарождались на украинской земле.

Отступавшие войска Юго-Западного фронта после упорных и тяжелых боев оставили города Украины Киев, Днепропетровск, Запорожье. Линия обороны фронта проходила у Конотопа, у стен Харькова, под угрозой были Донбасс и Крым. Враг рвался к Москве. Западный фронт упорно сопротивлялся и в то же время готовился принять на себя жесточайший удар группы армий «Центр». 6 октября гигантские бронированные клещи сомкнулись восточнее города Вязьмы. Главные силы Западного и Резервного фронтов оказались в окружении.

Все мы об этом знали, и каждый из нас был обеспокоен за судьбу Москвы.

ЗАРЯ ПОБЕДЫ

В 1941 году ноябрь был самый драматический, напряженный. Солдаты стояли насмерть за каждый метр земли, но не отходили. Остановить врага: Москва в опасности!

6 октября генерал Жуков, командующий Ленинградским фронтом, прибыл в Москву по вызову Сталина. Разговор был коротким. Сталин направил Жукова на Западный фронт, где обстановка сложилась особенно тяжелая. Ему предлагалось разобраться в истинном положении дел. Где и в какой группировке наступает противник, в каком состоянии находятся наши войска.

Жуков исколесил вдоль и поперек весь Западный фронт. Противнику удалось прорвать оборону наших войск. Ударная группировка фашистов стремительно продвигалась вперед, охватывая с юга и с севера всю вяземскую группировку войск Западного и Резервного фронтов.

Крайне тяжелая обстановка сложилась и к югу от Брянска, часть Брянского фронта оказалась под угрозой окружения. Не встречая серьезного сопротивления, войска Гудериана устремились к Орлу. 3 октября немцы захватили Орел. 6 октября часть войск Западного и Резервного фронтов была окружена западнее Вязьмы.

Главная опасность заключалась в слабом прикрытии на можайской линии. Танковые войска врага могут появиться под Москвой. О создавшейся обстановке Жуков доложил Сталину.

Ставка назначила Жукова командующим Западным фронтом. В его распоряжение поступили оставшиеся части Резервного фронта и части, находящиеся на Можайском шоссе.

Вермахт сосредоточил огромное количество войск, военной техники. Вся эта ударная сила была направлена на Москву. Гитлеровские генералы предвкушали победу. Докладывали фюреру: «Москву видно простым глазом. Москва наша».

Гитлер готовился проводить парад победы на Красной площади. Были разосланы пригласительные билеты на торжественный парад. А сам он приехал в Смоленск. Ожидал звонка о взятии Москвы.

5 и 6 декабря Западный фронт перешел в решительное наступление. Разгромив ударную группировку врага в составе 38 отборных немецких дивизий, советские войска нанесли захватчикам сокрушительное поражение и отбросили их от Москвы на 150—350 километров на запад. Это была первая победа Красной Армии, вселившая в солдат, офицеров и генералов твердую веру в победу над фашистской Германией. Это наступала заря победы в Великой Отечественной войне.

Даже гитлеровские генералы назвали впоследствии битву под Москвой катастрофой и началом своей трагедии на Востоке. Что и говорить — верное, хотя и запоздалое, признание!

Поняли и союзники Германии, для которых затяжная война была равносильна краху. Под влиянием неблагоприятно сложившейся для Германии обстановки на фронте под Москвой Япония и Турция не вступили в войну против Советского Союза.

Стратегическая инициатива начала переходить на сторону советского командования. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился закономерным результатом совместных усилий армии и народа.

Сталинградская битва, длившаяся шесть месяцев, завершилась новым крупным поражением врага. Красная Армия не только отстояла Сталинград, но и окружила и разгромила 330-тысячную группировку. Победа под Сталинградом положила начало общему краху фашистских захватчиков, изгнанию их с нашей земли. А сокрушительное поражение на Курской дуге поставило Германию перед неизбежной катастрофой. Силы Советской Армии, ее удары по врагу в ходе войны нарастали с каждым днем, тогда как силы гитлеровской армии, наоборот, слабели. Фашистские войска быстро растеряли свое преимущество и под ударами Советской Армии дали обратный ход.

Но до Дня Победы было еще далеко...

В ЛАТВИИ

После прорыва обороны врага на рубеже севернее Пустошки перед нашей 150-й стрелковой дивизией, которой к тому времени я командовал, первым населенным пунктом был город Идрица. За успешное проведение Идрицкой операции приказом Верховного Главнокомандующего № 207 от 23 июля 1944 года дивизии присвоено наименование Идрицкой.

17 июля в 18.00 мы подошли к Прибалтике. Перед нашими частями тянулись сплошные укрепления, траншеи и опорные пункты. Кругом леса, болота.

Мы обходили узлы сопротивления, не останавливаясь, не давая врагу закрепиться на выгодных рубежах. По дорогам, поднимая пыль, проходили грозно ревевшие танки, за ними двигались пехота и артиллерия. Противник, оставляя усиленные отряды прикрытия, уводил основные силы на запад. Несколько раз немецкая авиация пыталась бомбить наши части, но безуспешно: у гитлеровских летчиков прыть была уже не та, что в сорок первом — сорок втором годах.

Освободив Резекне, войска 2-го Прибалтийского фронта нацелились на столицу Латвии. Прямо перед нами лежала Лубанская низменность. Командующий фронтом А. И. Еременко поставил задачу пройти через болота в тыл к фашистам. Решить эту задачу поручили 150-й дивизии.

Большим испытанием для воинов нашей дивизии стали бои на Лубанской низменности. От озера Лубаны разветвляется много других озер и малых рек, непроходимых болот с глубокими топями, затянутыми жесткой плавучей травой, где не ступала нога человека. Немцы прикрывали лесные дороги и межозерье, рассчитывая, видно, что здесь никому и нигде не будет прохода. История войн не знала случая, чтобы такая лесисто-болотистая преграда, усиленная сложной заградительной техникой, на каждом шагу таящая смерть, была преодолена войсками.

Не довольствуясь естественными преградами и мощью созданных укреплений, гитлеровское командование принимало меры к подъему морального духа своих солдат и офицеров. Новый командующий группой армий «Север» генерал-полковник Ф. Шернер обратился к ним со специальным приказом, в котором призывы к национальным чувствам перемешались со слабо прикрытыми угрозами, обещания прислать подкрепления с ложью о Красной Армии. «Каждый метр земли, каждый пост нужно защищать теперь с горячим фанатизмом, — призывал приказ. — Мы должны зубами вгрызаться в землю. Ни одно поле битвы, ни одна позиция не должны быть оставлены без особого прика-

за. Наша родина взирает на вас со страдальческим участием. Она знает, что вы, солдаты северной группы, держите в своих руках судьбу войны». Однако ни непроходимые болота, ни фанатичное сопротивление гитлеровцев не смогли задержать воинов стопятидесятой.

В ночь на 30 июля разведчики вместе с саперами двинулись вперед, отыскивая для дивизии наиболее выгодный путь и прокладывая гати для главных сил полка.

Начальник разведывательного отделения дивизии майор Коротенко выслал вперед роту. Повел ее опытный командир капитан Тарасенко. Разведчики стали на лыжи, сплетенные из лозы, и, отталкиваясь палками с большими кругами, направились в глубь болота.

Вот что после завершения операции рассказывал командир взвода Вильчик:

«Взвод мой оторвался от роты. Шли спокойно, смело, без шума. В зарослях ивняка на болоте было свежо, и я разрешил раскатать скатки и надеть шинели. Густая темнота, кругом мертвая враждебная тишина. Мы поминутно прислушивались, соблюдая величайшую осторожность и маскировку.

Миновав самый трудный участок Лубанских болот, очутились в лесу. И тут ни звука. Мы крались через лес, зная, что опасность может возникнуть внезапно. Все молчали, никто даже не шептался. Курить было запрещено.

Я шел со взводом, всматриваясь в темноту. Вперед выслали отделение Колоницкого — самых смелых и решительных разведчиков.

Им была поставлена задача: незаметно проникнуть в расположение командного пункта фашистского полка, без шума и выстрела убрать часовых.

Мы постепенно приближались к предполагаемому штабу. Деревья стали реже, впереди все ярче светились огоньки из амбразур блиндажей. На востоке между тем посветлело. Но теперь уже где-то недалеко в этом районе располагался штаб полка гитлеровцев. Самое удобное время для операции, когда ночь на исходе. В это время часовых одолевает сон, бдительность их притупляется, да и пока темно еще, ничего не видно. Гитлеровцы молчали, значит, разведчики себя не раскрыли.

Сержант Колоницкий обнаружил двух часовых. Они ходили вяло, взад-вперед. Встретятся, постоят одну-две минуты и разойдутся, растворяясь в темноте. Отделение залегло, бойцы прижались плотно к земле и внимательно наблюдали за часовыми.

Я оставил взвод на месте, а сам направился к Колоницкому. Кругом тихо, слышны только шаги часовых. Мы с Колоницким обсудили дальнейшие действия, затем он с двумя разведчиками ушел вперед и вскоре исчез во мраке.

Вскоре вернулся Колоницкий.

— Пора, — шепотом доложил он мне.

Я тихо подал команду:

— По одному отделению на блиндаж. Вперед!

Все группы разведчиков, как и было рассчитано, одновременно ворвались в немецкие блиндажи.

— Руки вверх!

Гитлеровцам ничего не оставалось делать, как сдаваться.

Прикрывающая группа вступила в бой с подходящим противником. Молниеносность нападения обеспечила успех. А тот, кто пытался удрать и скрыться, нарвался на подходившую разведывательную роту».

Я находился в этот момент на командном пункте, расположенном на бугре возле хутора Мистрини. Днем отсюда можно было наблюдать за действиями нашей разведки и движением колонны. Но было темно. Единственной нитью, связывающей меня с полком, был телефонный кабель, который тянули за собой бойцы, а с разведывательной ротой связи не было. Я не смыкал глаз — в эти часы в самом сердце болота Лиепаис-Пуравек решалась судьба серьезнейшей операции фронта.

Под командованием Николая Владимировича Вильчика, прекрасного разведчика, которого солдаты любили за храбрость и находчивость, были захвачены шесть пленных, в том числе два штабных офицера с ценными документами и картами с обстановкой обороны Лубанских болот.

До командного пункта дивизии доносились россыпи пулеметных и автоматных очередей, уханье минометов. Внезапность была полная — неприятель растерялся. Разведывательная рота во главе с капитаном Тарасенко разгромила вражеский штаб. Командир гитлеровского полка потерял управление своими подразделениями.

За дивизионной разведкой потянулась цепочка воинов головного батальона, возглавляемая Федором Ионкиным, рядом с ним шагал проводник-латыш.

Это был мучительный, изнуряющий марш. Люди продвигались вперед медленно, где по колено, где по пояс в топях. Минометы и станковые пулеметы перетаскивали на руках.

К рассвету полк Алексеева преодолел болота. Развернулся в боевой порядок и перешел в наступление. Батальон Ионкина

вырвался вперед и вышел на опушку леса. Залегли в оставленных противником траншеях. Вслед за коротким артналетом над железной дорогой взвились зеленые ракеты — сигнал атаки. В ротах раздались пронзительные свистки.

Послышались команды:

— Встать! Вперед!

Одновременно выскочили из окопов солдаты трех рот — Ковригина, Горшкова, Зорина. Командиры рот шли в цепи рядом с солдатами.

Взрывы мин, длинные пулеметные очереди нахлестом обрушивались на противника. Но, опомнившись от неожиданности, враг начал готовить контратаку, прикрывая ее шквальным орудийным и минометным огнем по боевым порядкам батальона Ионкина. Атака захлебнулась, части отходили к опушке леса, фланг наш оголялся.

Выяснив обстановку, я дал приказ Алексееву и Ионкину держаться во что бы то ни стало, а командующему артиллерией дивизии Максимову приказал ударить по артиллерии противника, сосредоточившейся в районе Лошки. Группа гвардейских минометов открыла огонь по скоплению пехоты, готовившейся к очередной атаке. Распорядился также, чтобы начальник штаба дивизии Дьячков немедленно организовал команду для доставки алексеевцам боеприпасов.

Под прикрытием артиллерийского огня батальон пошел на штурм высоты. Первым вспрыгнул на бруствер Ионкин, побежал. За ним последовали остальные.

Фашисты не ожидали такого сильного и внезапного удара. Они заметались между деревьями, спасаясь от пуль и осколков. Важный стратегический объект — высота — был взят. На поле боя осталось много подбитой вражеской техники, около восьмидесяти солдат противника сдались в плен.

На некоторых участках фашисты сражались с отчаянием обреченных, бросались в одну контратаку за другой. Но обстановка все больше менялась в нашу пользу. Подходил 756-й полк. Вступили в бой части 207-й дивизии. Это давало возможность нам наступать в глубь обороны противника, окружая и уничтожая его подразделения. Шло полное очищение от неприятеля Лубанской низменности. Фашисты пробивались на запад, отходя на новые оборонительные рубежи к реке Айвиексте...

После этих боев наша дивизия в составе 3-й ударной армии, сковывая и тесня немецкие части с юга, помогла нашим соседям 8 августа овладеть крупным населенным пунктом и узлом дорог — городом Мадона. До конца августа дивизия вела трудные

наступательные бои. Противник, потеряв хорошо подготовленную оборону, усиливал контратаки, бросая в бой танки и самоходные орудия.

13 октября войска 2-го Прибалтийского фронта в кровопролитных сражениях взломали мощные оборонительные обводы на подступах к Риге, освободили город и повели дальнейшее наступление.

Свыше 30 вражеских дивизий были прижаты к морю на Курляндском полуострове. Фашисты соорудили несколько сильных оборонительных полос. Гитлер требовал от своих солдат ценой жизни удержать позиции. У них были взяты подписки — «не отступать».

150-я дивизия вела ожесточенные бои против мотодивизии «Нордлан» на рубеже Мешкали на реке Берзе. В боях на этом рубеже было уничтожено два батальона и взято в плен около 200 гитлеровцев. Не успели расправиться с нордланцами, как показалась немецкая цепь моряков. Сверху по склону покатилась непривычная для глаз черно-бело-синяя лавина. Они бежали налегке, в расстегнутых бушлатах, под которыми пестрели тельняшки, в руках автоматы и гранаты. Действовали они с поразительной лихостью и бесстрашием.

Я тут же дал Алексееву команду контратаковать противника в направлении деревни Чанкас, захватить высоту и не допустить фашистов на юго-восток. Командир полка поднял полк по тревоге, и цепь быстрым шагом направилась в сторону моряков. Бойцы шли в рост, с оружием на изготовку. Мы с Алексеевым и артиллеристами держались сзади, метрах в пятидесяти. Рядом двигались радисты с рациями и телефонисты с катушками проводов.

Я заметил, как замедлили шаг наши солдаты. Кое-кто начал останавливаться. Со стороны врага затрещали автоматные очереди. Моряки издали протяжный крик, похожий на вопль. Нужно было немедленно сломить этот психологический накал. Не успел я принять решение, как зазвенел чей-то высокий голос:

— Братцы, били пехоту, побьем и моряков!

— Побьем! — покатилось по цепи.

До первой позиции гитлеровцев оставалось метров триста. Командир полка гвардейских минометов дал залп по склону.

Удар «катюш» был сокрушительным. Моряки исчезли в пламени, облаках дыма. Теперь наши роты едва ли что могло остановить. Среди черных дымных полос, стлавшихся над полем боя, доносилось раскатистое «Ура-а-а!». Немецкие матросы повернули назад. Мало кому из них удалось уйти.

НОВЫЙ ФРОНТ

В конце декабря 1944 года дивизия была переброшена по железной дороге в Польшу и вошла в состав 1-го Белорусского фронта. Дивизию пополнили техникой и людьми. С этим пополнением и прибыл сержант Михаил Егоров, известный и прославленный партизан-разведчик.

Начались тактические учения, ночные марши, боевые стрельбы, молодых солдат готовили к тяжелым испытаниям. Солдаты и сержанты изучали листовки-памятки, выпущенные Военным советом фронта.

Прошлые бои обогатили нас опытом быстрого маневра, гибкости управления, четкости взаимодействия пехоты с артиллерией и танками, умением ориентироваться в обстановке.

14 января 1-й Белорусский фронт начал Висло-Одерскую операцию. Наша 3-я ударная армия находилась во втором эшелоне фронта. Орудия и минометы армии и нашей дивизии были на плацдарме южнее Варшавы. Они приняли с войсками первого эшелона активное участие в прорыве обороны врага на главном направлении.

В ночь на 17 января оборонявшиеся в Варшаве немецкие войска стали вопреки приказу Гитлера отходить. Воспользовавшись этим, в наступление перешла 1-я польская армия, которая вступила в столицу одновременно с 61-й армией.

К 12.00 этого же дня польские и советские воины завершили ликвидацию арьергардных частей противника.

Дивизия переправилась через Вислу и вошла в Варшаву. Мы видели много городов и сел, превращенных в руины. Но такие варварские разрушения и в таком огромном масштабе нам, пожалуй, привелось увидеть впервые. Улицу за улицей, квартал за кварталом проходили солдаты, и глаз не мог найти ни одного уцелевшего дома. Улицы, заваленные кирпичом, камнями и железом, образовали труднопроходимые баррикады.

Я ехал на «виллисе» и с большим трудом и осторожностью пробирался за передовыми частями через завалы. В городе нельзя было ориентироваться — ни номеров домов, ни названий улиц, не у кого спросить. Жители были или перебиты, или угнаны в Германию. Увидев человека на площади близ костела, который шел навстречу мне, я даже обрадовался. Это был ксендз. Он рассказал мне:

— Гитлеровцы разрушили весь город и заминировали остатки зданий, школ, костелов, музеев. Фашисты прибегали к различным ухищрениям, ставили мины замедленного действия. Среди развалин оставляли различные коварные ловушки: мины ока-

зались на койках, в печах, в уборных, под лестницами, в лифтах. Оставшиеся в живых чувствовали себя как на пороховой бочке. Вот этот костел случайно остался цел. Кто-то обстрелял немецких минеров, они убежали и больше не возвращались. От нашего красивого города остались руины. Нет ни зданий, ни жителей — мертвый город, — сделал заключение ксендз.

Мне показалось, что продвижение по развалинам города длится целую вечность. Наконец-то дивизия преодолела преграды и минные поля, вышла на оперативный простор, соединившись со своими артиллерийскими частями и минометными подразделениями, двинулась за отходящим противником на запад. Шли грунтовыми, проселочными, лесными дорогами, иногда тропками, а то и просто через поле, целиной.

Этот ускоренный марш от Варшавы через Флатово до Шенвальде вымотал людей до крайности. А уже готовилось наступление на севере, к Балтийскому морю. Погода была скверная, шел мелкий дождь, от которого шинели набухали и становились в пуд весом. Дороги совсем раскисли. Орудия приходилось перетаскивать на руках, лошади окончательно выбились из сил. А в низинах зловеще поблескивали болота. Их тут, по-моему, было больше, чем в Латвии.

Утро 1 марта началось как-то внезапно. За дальней высотой занялась заря. Дождя не предвиделось. В стереотрубу я видел, как по траншеям, пригнувшись, ходят немцы, к чему-то готовясь.

После 45 минут нашей массированной артиллерийской подготовки пехота стремительно ринулась в атаку. Боевое «ура!» заполнило долину по всему фронту. Через цепь бойцов вырывались танки — поддержка пехоты. Они одновременно ворвались в первую траншею противника. Завязалась штыковая схватка. Танки давили гусеницами огневые точки противника. Атака была яростной. Уцелевшие гитлеровцы метались по траншеям, стараясь уйти от удара прикладом или штыком.

Бой переместился в глубину обороны. Но, как только наши бойцы выскочили на открытую местность, заработали немецкие пулеметы и минометы. Враг оказывал организованное сопротивление и на второй позиции, но части дивизии прорвали и ее...

Вскоре Маршал Советского Союза Г. К. Жуков ввел в сражение 1-ю гвардейскую танковую армию в моей полосе наступления. Танки проходили через боевые порядки 150-й дивизии. Я приказал командирам полков освободить все дороги, пропустить их. Мы старались не отставать от боевых машин.

Все дни дивизия продолжала наступать во взаимодействии с

танкистами. Густая сеть хороших дорог позволяла нам маневрировать частями и подразделениями, совершать обходы опорных пунктов. И мы, используя ударную мощь идущих впереди танков, продвигались достаточно быстро, без серьезных задержек.

Восточно-Померанская операция завершилась в марте разгромом вражеской группировки. Правый фланг 1-го Белорусского фронта получил надежное обеспечение. Наша 3-я ударная действовала на главном направлении и свою задачу успешно выполнила. Дивизия за отличные боевые действия при прорыве обороны противника восточнее Штадгарта и выход на побережье Балтийского моря в районе Колберга приказом Верховного Главнокомандующего от 4 марта 1945 года получила благодарность.

В другом приказе, от 6 марта того же года, всему личному составу дивизии объявлялась благодарность за овладение городами Плате, Гюльцев, Каммин. А позднее Указом Президиума Верховного Совета СССР 150-я дивизия за ночной бой у озера Вотшвинзее была награждена орденом Кутузова II степени.

12 марта наша дивизия сдала свой участок обороны частям Войска Польского и, соблюдая строжайшую маскировку, совершила 160-километровый марш, сосредоточившись в районе Мантель — Шенберг с целью ведения боевых действий на главном — Берлинском — направлении.

Война близилась к концу. Теперь уже не только наши войска, но и войска союзников вели боевые действия на территории фашистской Германии. В то время Советские Вооруженные Силы находились в 60—70 километрах от Берлина и готовились нанести по нему последний сосредоточенный удар.

БЕРЛИН

Верховное Главнокомандование возложило на командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова задачу разгромить фашистские войска в Берлине и водрузить над ним Знамя Победы. Командующим 8-й гвардейской армией генерал-полковнику В. И. Чуйкову и 5-й ударной армией генерал-полковнику Н. Э. Берзарину поручалась самая почетная задача — штурм Берлина. Мы завидовали этим частям и их командирам.

Каждый советский воин сознавал, что путь к победе лежит через Берлин. Здесь находился административный и организующий центр фашизма, оплот «нового порядка» в Европе. Берлин

был крупнейшим экономическим центром, занимал первое место в стране по производству военной продукции.

Германская столица была превращена в мощный укрепленный район, обнесенный тремя оборонительными обводами: внешним, внутренним и городским. В самом городе было девять секторов обороны: восемь по окружности и один — в центре, подготовленный особенно тщательно в инженерном отношении. Многие кварталы представляли собой батальные узлы сопротивления. В городе было более 400 железобетонных долговременных сооружений, врытых глубоко в землю. Шестиэтажные бункера вмещали до тысячи человек каждый. На перекрестках улиц стояли врытые в землю танки, железобетонные колпаки с круговым обстрелом. Для обороны Берлина были мобилизованы 16—17-летние юноши и разные охранные и полицейские формирования. Гитлер приказал: «Ни шагу назад, обороняться до последнего солдата и до последнего патрона».

Фашистское командование в случае поражения рассчитывало сдать Берлин нашим союзникам, избежав, таким образом, безоговорочной капитуляции.

В Берлине был сосредоточен 200-тысячный гарнизон. В резерве 8 дивизий. Руководил обороной Геббельс.

Берлинская операция — одна из крупнейших операций в Великой Отечественной войне. В ней участвовало более 3,5 миллиона человек, свыше 9 тысяч самолетов.

150-я дивизия располагалась в лесу, в районе Одера, в 25 километрах от Кюстрина, усиленно готовясь к предстоящим боям.

Подготовка к наступлению велась скрытно. Части наши не показывались из лесу, не попадали в поле зрения противника. Всякие передвижения к Одеру и от него совершались только ночью при полной темноте. Днем принимались все меры для маскировки с воздуха.

В связи с этим было приказано всем генералам и старшим офицерам отправляться на рекогносцировку небольшими группами и в сержантском обмундировании.

Мы с командиром 207-й стрелковой дивизии Асафовым очутились в окопе, среди бойцов 267-го стрелкового полка. Отсюда хорошо наблюдалась вражеская оборона. Появление в окопе посторонних, незнакомых людей пусть небольшое, но событие. Мы привлекли к себе всеобщее внимание.

— Откуда, братки? По какой нужде? — посыпались вопросы. — Разведчики, говорите? У нас тут не наразведуешься.

Мы принялись расспрашивать солдат о жизни на плацдарме. И гвардейцы охотно начали вспоминать тяжелые февральские дни, когда плацдарм был взят в жестоком бою и им приходи-

лось отстаивать его, укрепляясь, вгрызаясь в землю, неся потери. Каждому хотелось воспользоваться редким случаем и рассказать обо всем примечательном, что случилось здесь, поделиться с нами воспоминаниями.

В разгар нашей беседы в окопе появился ротный — совсем молодой лейтенант. Он рассказал о подвигах солдат и офицеров этого полка.

В ходе рассказа лейтенант упомянул о замполите части, командире полка майоре Н. Т. Кириленко. Когда батальон под натиском противника стал откатываться, в трудную минуту появился в роте лейтенанта замполит Кириленко:

— Друзья мои, мы удерживаем плацдарм государственного значения, с которого пойдем на Берлин. Ни шагу назад! Народ ждет от нас окончательной победы над фашистской Германией.

Эти слова мигом облетели роты, и батальон остановился, окопался и открыл прицельный огонь из пулеметов и винтовок. Противник стал отходить по трупам своих солдат, батальон снова занял свои позиции.

— Кириленко молодец, страху не знал, это верно, — поддержал ротного молчавший до этого сержант. — Не отсиживался в надежном укрытии, а приходил в нужный момент в окопы переднего края. Придет, словом-другим ободрит, словно силы прибавит: «Наши вот-вот перейдут в общее наступление на Берлин. А падет фашистская столица — это и будет конец войны. Пока невредим Берлин, немцы держатся, падет Берлин — и немцы капитулируют».

В ночь на 13 апреля артиллерия нашей дивизии быстро и организованно переправилась за Одер на плацдарм и стала на позиции, производя пристрелку по предполагаемым целям противника.

14 апреля под покровом темноты части 150-й дивизии переправились на западный берег реки. Мы провели разведку боем на двух участках, в каждом случае — силами стрелкового батальона от 469-го и 674-го стрелковых полков. Цель разведки заключалась в том, чтобы уточнить огневую систему обороны врага. После этого части заняли исходное положение для атаки в отбитых у врага траншеях, проделав для пехоты и танков проходы через проволочные заграждения и минные поля.

Готовился штурм Берлина. Черная апрельская ночь скрыла поле боя, строения, берега реки, блиндажи, траншеи. Казалось, впереди не было никого, тишину нарушали только отдельные

пулеметные очереди, да желтые шнурочки ракет изредка рассекали темное небо.

Я глубоко вдыхаю пряный воздух весны. Все тело кажется бесчувственным от напряжения, каждая мышца натянута как струна.

— Сколько на ваших часах, товарищ генерал? — спросил начальник оперативного отделения Офштейн.

— Четыре часа пятьдесят минут по московскому времени.

Рядом со мной стоит командующий артиллерией полковник Сосновский.

— Еще десять минут, — отмечает он и торопится, — пойду к себе, проверю, как там.

— Готовься, Григорий Николаевич, — говорю я полковнику. А сам почему-то вспоминаю Москву. Здесь, под Берлином, скоро три, а там, в родной столице, уже светает. Москва! Ты ждешь нашей победы, весь мир ждет тишины. Скоро, скоро...

В блиндаже гудит рация, толпятся связисты, связные офицеры, телефонист прижимает трубку к уху.

И вдруг! Вдруг где-то позади раздается гром. Мощный гул катится к траншее. Вздрагивает земля. Над головой замельтешили огненные нити.

Море огня забушевало над горизонтом. Бешено запрыгали фонтаны земли, все загудело, застонало. Заныло в ушах. Прибежавший начальник оперативного отделения размахивал руками, он что-то кричал, но слов не было слышно. А Сосновский курил и улыбался, он гордился за свою артиллерию, за мощь ее налета.

Тридцать минут хлестали огнем сотни орудий и гвардейских минометов, бушевал ураган, рвал землю и блиндажи. В судорогах билась земля. Исторические минуты — время великого прорыва охватило каждого нашего воина: нестись вперед, крушить преграды.

Тридцать минут плавился в огне горизонт. И вдруг мощный прожектор разрезал небо, возвестив о прекращении огня и начале атаки.

Буквально обрушилась тишина. И тогда справа и слева от блиндажа брызнули светом сотни прожекторов, и сплошной океан огней ослепил врага.

Грохоча, ринулись вперед танки, с криками «ура!» устремилась за ними пехота. Сила не менее грозная, чем артиллерия, пошла крушить врага, добивать его в развороченных укреплениях.

Земля все еще горела в плотной завесе дыма и пыли, в ней тонули танки, терялись люди. Наши траншеи были пусты и безмолвны...

После прорыва обороны и разгрома гитлеровских войск на реке Одер фашистское командование еще не теряло надежды, что, бросив в бой резервы, ему удастся удержать фронт. Оно дополнительно ввело в сражение на Берлинском направлении 15 дивизий, 5 бригад, 7 отдельных полков и несколько батальонов.

Гитлер вещал: «Русские потерпят самое кровавое поражение, какое только вообще может быть». Он требовал от генералов и от офицеров не отступать. Эсэсовские отряды и чрезвычайные полевые суды расстреливали солдат и офицеров, в том числе и раненых, покидавших под огнем советских войск свое место. Стремясь поднять боевой дух гитлеровских войск, солдатам внушали, что скоро они получат новое секретное оружие, которое произведет решающий поворот в войне. Но никакие угрозы, смертные казни не могли остановить отступление фашистских войск к Берлину.

Неудержимой лавиной двигались по немецкой земле советские войска, разметая гитлеровские полки и дивизии. Менялись рубежи, города и села, вражеская земля гудела от грохота наших орудий и танков. Берлин был близок.

На пути войск 3-й ударной армии к Берлину лежали каменные города, укрепленные всеми видами оружия. За каждый из них, малый или большой, надо было вести жестокий бой. В пороховом дыму, в дикой пляске огня и пыли солдаты героически продвигались вперед во взаимодействии с танками и орудиями. Одну из наиболее серьезных преград представляла станция Нойтреббен. Наступление левого фланга дивизии перед ней приостановилось.

Первая атака 469-го полка не принесла успеха: сильнейший огонь прижал пехоту к земле. Танки, неся потери, вынуждены вести огонь из-за укрытий.

Командир полка Мочалов начал перегруппировывать свои силы, готовя повторный удар.

Атака уже началась. Из наблюдательного пункта видно в бинокль станционное здание, окутанное рваными клочьями дыма, по улице во весь дух несся майор Володя Тытарь с пистолетом в руке, обгоняя жавшихся к стенам бойцов...

Прошло много лет после этого боя. Я сидел за столом и читал газету. Слышу звонок. Открываю дверь, вижу перед собой лицо Володи Тытаря. Я вначале оторопел, смотрю в недоумении.

— Я сестра Володи Тытаря Вера, — сказала она.

Долго мы беседовали с ней в тот день. Я рассказал ей, как погиб ее брат. А погиб он на моих глазах близ вражеской сто-

лицы Германии перед станцией Нойтреббен. Это случилось в полдень 17 апреля 1945 года. Он пошел с третьим батальоном в атаку в цепи одной из рот. Крикнул:

— Вперед, товарищи, за мной! — и сам вырвался вперед цепи. Бежал он посредине улицы, не прижимаясь к домам, и вдруг, словно споткнувшись, взмахнул руками и упал на землю...

Когда санитары принесли носилки к НП и расстегнули гимнастерку, на груди его, чуть ниже правого соска, виднелась маленькая кровоточащая точка, не больше булавочной головки. Пульса не было.

Вера смахнула слезу.

— Как это страшно, что нет на свете Володи, — сказала она и долго сидела, уронив на колени руки с зажатым в них маленьким клочком бумаги, видимо, с моим адресом.

А потом тихо спросила:

— Зачем же вы его пускали?

...Володя не раз ходил в атаку в цепи, рядом с солдатами. Это был бесстрашный человек. Он и в этот раз, выпросив разрешение у командира полка, перебрался через ручей и с ходу влился в цепь бойцов атакующей роты.

Я хорошо помню, как на командном пункте Лубанских болот появился однажды высокий поджарый капитан с загорелым лицом. На шее у него висел автомат, гимнастерка в нескольких местах была разорвана.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться к подполковнику? — вскинул он руку к пилотке. Тут только я узнал Володю Тытаря. Он доложил, что положение на правом фланге восстановлено, что третий батальон контратаковал позиции немцев и занял прежний рубеж на насыпи железной дороги, где сейчас закрепляется.

— Хорошо, Тытарь, — кивнул подполковник Алексеев, — только в следующий раз не лезь в боевые порядки. У тебя своей работы в штабе хватит.

Погиб он до выхода Указа Президиума Верховного Совета о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

Сколько было совершено беспримерных подвигов в Великую Отечественную, миллионы героев своими жизнями защищали честь и независимость Родины.

...Нелегко достался нам и небольшой городишко Кунерсдорф. Здесь проходил второй — после Одерского — рубеж обороны. Несмотря на то что фашисты ожесточенно сопротивлялись, их сломили, и крепкий опорный пункт гитлеровцев пал. Сон и усталость валили и наших бойцов.

После взятия Кунерсдорфа дивизию вывели во второй эшелон 79-го стрелкового корпуса.

Кончилась очередная атака, и в занятом немецком городке наступила тишина. Солдат, только что выбивавший гитлеровцев из траншей, из подвалов, с чердаков, доставал кисет, неторопливо скручивал самокрутку и, затянувшись крепким махорочным дымом, вглядывался в синеватую весеннюю даль.

— Там Берлин?

— Там! — отвечал ему дружок.

— А ведь было Подмосковье.

— Да, было Подмосковье. Были Сталинград и Курская дуга. Были калининские леса и Лубанские болота...

— Они начинали отсюда?

— Отсюда.

— И кончают здесь?

— Здесь.

И снова движение. Снова бой, бой, бессонные ночи и нечеловеческое напряжение всех сил.

Впереди оставался последний бастион — германская столица.

«Перед нами Берлин, — говорилось в обращении Военного совета фронта к войскам, — столица германского разбойничьего фашистского государства. Вас не сдержали мощные укрепления, которые вы сейчас преодолели на подступах к Берлину. Перед вами, советские богатыри, Берлин. Вы должны взять Берлин, и взять его как можно быстрее, чтобы не дать врагу опомниться».

Я в раздумье сидел за столом, передо мной лежала карта с разведывательными данными о противнике, рядом сидел начальник разведки дивизии майор В. И. Гук.

Из этого раздумья нас вывел генерал С. Н. Переверткин, вошедший в большую комнату господского дома, где остановилась оперативная группа.

— Завтра, Василий Митрофанович, переходите в первый эшелон, — сказал он, — обстановка требует, чем скорее, тем лучше, товарищ генерал. Войну кончать надо. — Семен Никифорович достал из планшетки карту и показал карандашом направление: — Наступать будете на населенный пункт Претцель. Задача дня: овладеть Претцелем, а там и центром Берлина. Сегодня, 20 апреля, наша дальнобойная артиллерия открыла огонь по Берлину. Начался исторический штурм столицы немецко-фашистской Германии, — сообщил он с радостью.

Политработники, агитаторы быстро разнесли эту весть по ротам и батареям. И она словно бы всех подхлестнула: несмотря на сильную усталость бойцов, был совершен стремительный

марш дивизии в состав первого эшелона. За ночь подошли к стенам Берлина.

По приказу Геббельса немецкое население города должно оборонять свой дом, свою квартиру до последней капли крови. Вывешивание белых флагов угрожало расстрелом.

Немецкое командование подтягивало в Берлин войска, снимая их со всех направлений и особенно с Западного фронта, где действовали наши союзники. В срочном порядке формировались отряды фольксштурма.

Перед нашей 3-й ударной и другими армиями 1-го Белорусского фронта стояла одна задача — нанести врагу последний и решительный удар и водрузить Знамя Победы над рейхстагом. Это была самая почетная задача, и выполнить ее стремились все полки, дивизии, корпуса и армии.

21 апреля 469-й и 756-й полки 150-й дивизии перешли черту города Берлина, начались бои в его пригороде. Грянули первые залпы артиллерии по центру столицы гитлеровской Германии, где забились в бункерах фашистские главари — виновники кровопролитной войны.

Начался исторический штурм столицы немецко-фашистской Германии. Гитлеровцы с отчаянием обороняли ее, жестокость боев с приближением к западной окраине непрерывно нарастала. Город был охвачен пламенем огня. Артиллерия разрушала дома, заваливала улицы кирпичом, камнем, железом. Всюду валялись разбитые и искалеченные танки, орудия, перевернутые грузовики, трупы людей, лошадей. Улицы становились непроезжими и непроходимыми. С большим трудом советские воины пробивались вперед.

К вечеру 22 апреля из штаба армии возвратился начальник политотдела нашей дивизии подполковник М. В. Артюхов.

— Вот, товарищ генерал, — сказал Михаил Васильевич, — знамя для рейхстага. По решению Военного совета такие знамена вручены каждой стрелковой дивизии, которая будет брать Берлин. Наше знамя числится под номером пять.

Этому знамени впоследствии суждено было стать Знаменем Победы.

Я работаю с Михаилом Васильевичем Артюховым с июня 1944 года и знаю его хорошо. Несколько раз мысленно пытался найти подходящие слова, чтобы они наиболее соответствовали его образу и характеру. Но каждый раз мне не удавалось. Нелегко их найти и сейчас, когда пишутся эти строки. Благородные черты лица, смугл, брови слегка нахмурены, внимательные глаза широко расставлены. Облик его напоминал лихого дон-

ского казака-рубаку. Смеялся он заразительно, при этом все мускулы лица приходили в движение.

Я сдружился с ним. Мы виделись ежедневно, решали боевые задачи по-деловому.

Как-то ночью на НП он рассказал о себе:

— Рано остался сиротою: отца в 1918 году повесили белоказаки, вскоре умерла и мать.

Я видел, как белоказаки связали отцу руки и повели на виселицу. Вдруг он так рванулся, что два белоказака свалились с ног, и крикнул в толпу:

«Товарищи! Братья, отомстите за нас! Бейте белую контру, чтоб духа ее не было на нашей земле! Мы умираем с верой в победу! За трудовой народ, за Ленина!»

Я не помню, что еще успел сказать отец и успел ли. Меня схватили за руку и оттащили от места казни.

Никого, кажется, я не любил так, как отца, веселого, чистого душой человека. Все похолодело у меня внутри. Казалось, остановилась кровь и оцепенел мозг. Кажется, я потерял сознание. Подкосились ноги, бессильно опустился на землю, кто-то подошел и спросил:

«Что с тобой, мальчик?»

«Повесили отца», — сказал я и заплакал. Неизвестный взял меня за руку и отвел домой.

Я остался сиротой и не знал, как жить дальше. Ведь было мне всего восемь лет. Я ушел из дома. Долго бродил один, потом примкнул к группе беспризорных, а через год попал в детский дом в Моздоке. Добровольно вступил в Красную Армию. Перед войной в 1941 году окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.

Он был смел, не засиживался в политотделе, а был там, где трудно было солдату.

Помнится, ехали с ним под вечер лесной дорогой, не боясь противника: в этом районе после рейда батальона Хачатурова его не должно быть. Но ошиблись. Немцы подпустили нас на прямой выстрел. Снаряд попал в машину, нас выбросило по обе стороны колеи. Артюхов поднялся, стряхнул пыль с гимнастерки, сказал:

— Надо же дьяволу остаться в живых после прочистки леса целым батальоном!

Он ничуть не испугался.

— Чуть-чуть не угробил нас, — сказал шофер Лопарев.

— «Чуть-чуть» не считается, — парировал Артюхов.

Он радовался, когда подразделения дружно и смело шли в

атаку. Большое значение придавал разведчикам. Он сам разведчик, был комиссаром разведотдела 22-й армии.

Да, он работал, не жалея себя, часто ходил с бойцами в наступление.

Однажды под городом Вегеряй (Литва) я посоветовал ему остаться на наблюдательном пункте, посмотреть на действия молодых бойцов, прибывших на пополнение дивизии. Остался, но долго не усидел, ушел к ним. А когда вернулся, был оживлен, весел, шутил.

Солдаты относились к нему как к родному отцу. Его авторитет был необыкновенно высок.

— Хотите добиться успеха в бою, — говорил он политработникам, — будьте ближе к солдатам, старайтесь понять каждого...

И сам он служил примером чуткого отношения к людям.

...О Знамени Победы узнал каждый солдат, сержант, офицер 150-й дивизии, оно всколыхнуло наступательный порыв.

В этот же день знамя под номером шесть 207-й стрелковой дивизией было водружено на крыше многоэтажного дома в районе Розенталь. А бойцы 171-й стрелковой дивизии подняли знамя над самой высокой точкой многоэтажного дома в районе Панкова.

Наше наступление не прекращалось ни днем ни ночью. Каждая атака пехоты и танков сопровождалась сильным артиллерийским и минометным огнем.

С подходом к центральной части города сопротивление резко усилилось. Оборона противника была сплошной. Каждую улицу, каждый квартал, каждый дом противник превратил в мощные очаги сопротивления. Немцы использовали все преимущества, которые давали им перед наступающей стороной бои в городе. Многоэтажные дома, массивные стены и особенно бомбоубежища, казематы, связанные между собой подземными ходами, сыграли важную роль. По этим путям фашисты могли из одного квартала выходить в другой и даже появляться в тылу у нас.

Укрепившись на южном берегу Фербиндунгс-канала, гитлеровцы делали все для того, чтобы не дать форсировать его.

Фербиндунгс-канал опоясывает северную часть района Моабита, с высокими цементированными берегами. Каждый дом здесь защищал гарнизон силой не менее роты. Но, несмотря на это, 26 апреля после сокрушительной артиллерийской подготовки части нашей дивизии приступили к форсированию канала.

Решив эту задачу, войска нашего корпуса должны были повернуть на юго-восток с тем, чтобы очистить от гитлеровцев

моабитский район, который прикрывал подступы к центральной части Берлина. Обороне этого района противник придавал исключительно важное значение. На юго-восточном берегу канала он сосредоточил значительные силы и непрерывно подбрасывал все новые подкрепления. Короче говоря, когда наши подразделения вышли к Фербиндунгс-каналу, то его противоположный берег ежеминутно изрыгал на нас тонны раскаленного металла.

Основную тяжесть боев за переправу приняли на себя 469-й и 756-й стрелковые полки.

Первая наша атака Моабита успеха не имела. Огонь гитлеровцев сметал всех, кто пытался продвинуться вперед. Переправившимся подразделениям пришлось залечь на самом берегу канала. Поддерживая их огнем, отбрасывая контратакующих фашистов, мы начали готовить вторую атаку. Перед этим были засечены почти все огневые точки противника, усилена артиллерия, стрелявшая прямой наводкой, подтянуты танки и самоходки.

Что делать? Повторять атаку бессмысленно, только будут неоправданные потери, а форсировать канал надо немедленно, от этого зависит успех корпуса.

Вызвал начхима дивизии.

Долго ждать не пришлось. На НП явился невысокий майор, молодой, с умным, привлекательным лицом. Юрий Николаевич в дивизии с первого дня. Прибыл, не окончив оренбургского института. Помню, еще в Латвии просился сходить в разведку за «языком». Я категорически запретил. Он не кадровый офицер, но всегда подтянутый и опрятный. Его знали в дивизии как бесстрашного воина, в то же время он был застенчивым, молчаливым, хотя офицеры говорили про него, что он мастер рассказывать анекдоты.

— Вот, товарищ майор, и настал ваш час, когда можно отличиться непосредственно в бою с наибольшей пользой для Родины. Сможете обеспечить дымовую завесу шириной в пять-шесть километров?

— Можем. — И тут же доложил свой план: — Расположим дымовые шашки по северному берегу, от моста до изгиба канала. Вторую, ложную, завесу поставим вдоль другой части, по западному берегу. Это введет врага в заблуждение, он будет ожидать удара с двух сторон.

— Хорошо, — согласился я.

— Разрешите выполнять?

Вечером мы приступили к вторичному форсированию канала. От солдат, сержантов и офицеров дивизии требовались нечеловеческие усилия, чтобы преодолеть эту преграду. Мост через

канал был полуразрушен, берега облицованы камнем. Весь северный берег справа обстреливался из пулеметов и автоматов, а слева — орудиями.

Вскоре над водой заклубились густые облака дымовой завесы. Под ее прикрытием устремились вперед. Переправлялись мелкими группами, кто как мог: по полуразрушенному мосту — по рельсам и трубам, на небольших плотах, а то и просто вплавь. Выбравшись на противоположный берег, группа первого батальона во главе со старшим лейтенантом К. В. Гусевым сразу же бросилась в бой, который походил на огненный ураган. Воздух, казалось, раскалился от горячего металла.

Правее 756-го полка переправлялись через канал подразделения 469-го полка.

На этом участке первой переправилась рота Ковригина из батальона А. С. Блохина. Едва успела подняться на берег, как последовала контратака превосходящих сил противника. Дважды оттесняла врага рота и дважды отступала к самому берегу. А когда переправился весь батальон, отбросили врага от канала. Блохин установил связь и взаимодействие с батальоном Неустроева.

Бойцам было приказано наступать, чтобы не дать опомниться врагу, а полковнику М. Мочалову спешно переправить полк на противоположный берег, а артиллерию — по мосту: к этому времени солдаты очистили мост от мин и заграждений.

Михаил Алексеевич кадровый командир, среднего роста, плотный, отличавшийся крепким телосложением и большой подвижностью. Был наделен природным умом, остроумием, выделялся личной храбростью и отвагой. За короткое время отличился в боях, и особенно при взятии Кунерсдорфа.

Жестокий бой продолжался, из домов летели пули, фаустпатроны, каждый дом стал маленькой крепостью. Несмотря на усталость, солдаты гнали врага. К вечеру крепкий узел сопротивления трамвайного парка был занят. При этом захватили много пленных и военных трофеев.

Когда раздумываешь над событиями того далекого теперь уже дня, в памяти отчетливо возникают образы советских бойцов, их мужество и бесстрашие. Вспоминается такой эпизод. Когда части нашей дивизии форсировали Фербиндунгс-канал, к капитану Барышеву торопливо подошла девушка.

— А наш батальон переправился? — спросила она.

— Почти, — ответил капитан и кивнул в сторону полуразрушенного моста.

— Ясно! — И побежала к переправе. Это была стройная, среднего роста девушка, лицо смуглое от солнца и ветра. Боль-

шие глаза глядели твердо и смело. Это были глаза бесстрашного и волевого человека, не останавливающегося в нерешительности перед опасностью.

— Кто она? — спросил я Барышева.

— Медсестра Аня Фефелкина из первого батальона Неустроева.

— Храбрая девушка, бежит через мост, пули, осколки летят, а она не кланяется им.

Вскоре мы увидели в бинокли, как она перевязывает раненого бойца.

Много в этот день было совершено подвигов. Вот перебило руку сержанту Досычеву. Перехватив автомат здоровой рукой, он бросился к каналу, и все бойцы его взвода последовали за ним. А вот зашатался раненый солдат Филиппов. Но, зажав рану рукой, продолжал вести бой.

Большое мужество проявил боец Бобров. Перебравшись через канал, этот отважный человек в упор пристрелил пятерых наседавших гитлеровцев. Затем он увлек за собой товарищей. Он был сражен пулей в этом бою, но долг перед Родиной выполнил до конца, так же как десятки его однополчан.

Сапер Станкевич был ранен еще на мосту, но не вышел из боя, продолжал вести огонь. Путь бойцам преградили два броневика у самого моста. Станкевич бросился под укрытие дамбы и забросал бронетанковыми гранатами вражеские машины. В этот миг отважного воина настигла вторая пуля, она оказалась смертельной. Он выпускает оружие из рук, но его товарищи — Самохватов, Шанкарев и другие продолжают атаку.

Дивизия не давала противнику опомниться и прийти в себя. Овладела каналом, без малейшего промедления двинулась вперед. Выбитые из первых зданий гитлеровцы засели на станции Бойссельштрассе, метрах в двухстах от канала, не давая возможности переправлять через него артиллерию и танки. А нам дорога каждая минута. И тут в дело вступают саперы. Под ураганным огнем противника они начинают разминировать и ремонтировать мост. Вернее сказать, не ремонтировать, а наводить заново, так как он сильно разрушен.

В это время на плечах отходящего противника бойцы капитана Неустроева врываются на станцию Бойссельштрассе; часть уничтожили, а до роты фашистов захватили в плен вместе с командиром.

А по восстановленному мосту через канал уже двигались орудия и танки. Дивизия прорвала городской оборонительный обвод и открыла путь в глубь Моабита. Противник предпринял несколько яростных контратак, но безуспешно.

Вскоре неустроевские воины распахнули ворота концентрационного лагеря, в котором томились советские люди, угнанные гитлеровцами из Белоруссии, с Украины и других временно оккупированных республик и областей. Высокий забор, колючая проволока, сторожевые вышки с пулеметами и овчарками — здесь было все необходимое для истребления тысяч несчастных, попавших в лапы врага. Мы видели землистые лица, лихорадочно горящие глаза, истощенные тела, едва прикрытые полуистлевшей одеждой. И нам не нужно их ни о чем расспрашивать — без слов было понятно, что испытали эти люди. А они плакали от радости, обнимали солдат, благодарили за спасение. Около меня стояла молодая женщина. Она торопливо рассказывала о злодеяниях, которые творили здесь фашисты. Называла десятки имен погибших людей. У нее было такое выражение лица, такая мольба в глазах, что становилось не по себе. Словно она верила в невозможное: мы сможем вернуть близких ей людей, поправить свершившуюся трагедию.

Потом она долго молчала. Выражение лица и глаз изменилось. Другим стал и голос, когда она заговорила снова, он был решительным и твердым:

— Дайте мне винтовку! Я хочу отомстить за всех и за себя.

— Возьмите нас к себе, мы вместе с вами пойдем в бой! — раздавались со всех сторон крики.

Я стоял среди них, и было у меня такое чувство, словно в чем-то тоже виноват перед ними. Вся фронтовая дорога стала передо мною: Киев, новгородские земли, Прибалтика, Польша и, наконец, вражеская земля. И все горе пройденного, пережитого наслаивалось на сердце, поднималась тяжелая злоба на фашистов.

Я поднял руку. Постепенно шум стих.

— Дорогие товарищи! Красная Армия достаточно сильна, чтобы добить фашистов в Берлине. И это случится скоро. Очень скоро!

МОАБИТ

Моабит, центральная часть Берлина, опоясан с севера, запада и востока глубокими каналами, берега обшиты железобетонными плитами. А с юга протекает река Шпрее.

Бои внутри района Моабит, старинного и очень густо заселенного, становились все ожесточеннее. Разрушения от бомбардировки здесь были сравнительно небольшие. Узкие улицы напоминали огромные каменные траншеи. Дома с толстыми стенами и высокими кирпичными заборами, различные заводы и

фабрики гитлеровцы приспособили для активной обороны. Поэтому бои приходилось вести в очень тяжелых условиях, штурмовать такие громадные и прочные здания, как, скажем, Моабитская тюрьма. Но кто в те дни думал о трудностях! Мы сражались в центре фашистского логова. За каждым нашим шагом следил весь мир, каждый наш удар приближал победу, и непреодолимое становилось преодолимым, невозможное становилось возможным.

Танки и самоходно-артиллерийские установки упорно продвигались по улицам Моабита, прокладывая пути пехоте, подавляя и уничтожая огневые точки противника. Не оставались в долгу у своих друзей и стрелки. Они следовали за танками и самоходками, оберегая их от «фаустников», которые угрожали чуть ли не из каждого дома.

К одиннадцати часам дня 28 апреля части нашей дивизии овладели заводским кварталом южнее Малого Тиргартена. Перед нами была Моабитская тюрьма — огромное зловещее здание, встретившее нас ураганным огнем. Было известно, что обороной руководит сам Геббельс и находится где-то вблизи от тюрьмы Моабит. Конечно, каждый из нас думал о том, что нужно непременно захватить этого палача живым.

Вызываю по телефону командира полка полковника Зинченко и ставлю ему задачу:

— Товарищ Зинченко! Вы наступайте на Моабитскую тюрьму севернее Малого Тиргартена во взаимодействии с полковником Мочаловым. Он будет наступать южнее. Задача: окружить и пленить вражескую группировку. Постарайтесь захватить Геббельса живым...

— Слушаюсь! Сейчас произведу маленькую перегруппировку: один батальон будет наступать прямо на тюрьму, а два пойдут севернее.

— Правильно. Действуйте. Желаю успеха!

И вот после короткого, но мощного артналета полки пошли в атаку.

Я наблюдал в бинокль, как С. А. Неустроев и его ординарец А. Пятницкий, согнувшись, в цепи батальона перебежали улицу в ту сторону, где располагалась тюрьма. До нее осталось несколько десятков шагов, как с левой стороны трехэтажного дома противник длинными очередями из пулеметов открыл огонь. Но он не остановил наступающих, бойцы, прижимаясь к стенам зданий, продолжали атаку. Откуда-то появилась 76-миллиметровая пушка из батареи Кучерина, несколько метких выстрелов — пулеметы противника замолчали.

Капитан Неустроев флажками подал сигнал командирам рот: «Вперед!»

Пятницкий с колена из-за угла дома очередь за очередью стрелял из автомата по перебегающему врагу.

Стрельба на какое-то мгновение заглохла: используя затишье, роты не стали ждать, пока рассеются пыль и дым от гранатных разрывов, оттолкнулись от зданий, за которыми укрывались от пулеметного огня, побежали через улицу к тюрьме. Противник отступал, прикрывая отход пулеметным огнем.

Там, за тюрьмой, добивали, кажется, последних эсэсовцев.

Прошел час-полтора. Доложили, что поступили первые пленные. Выхожу. Их около 1200 человек. Проверяю, нет ли среди них Геббельса. Отвечают, что нет. Подходит вторая группа, человек восемьсот. В ней его тоже не оказалось. Становится ясным, что ему удалось скрыться.

Вот что впоследствии рассказал на НП об исчезновении Геббельса пленный офицер из его оперативной группы:

— Примерно за час до окружения Геббельс был вызван Гиглером в имперскую канцелярию.

Итак, мы не захватили его живым.

А бой за тюрьму уже завершился. Страшная Моабитская тюрьма в наших руках. Открыты двери камер, освобождены узники. Тогда, конечно, не было ни времени, ни возможности интересоваться каждым из них, но когда я писал эти строки, то обратился к стихам татарского поэта Мусы Джалиля, которому Советское правительство посмертно присвоило звание Героя Советского Союза, а «Моабитская тетрадь» удостоена Ленинской премии. Называя Моабитскую тюрьму каменным мешком, поэт-патриот писал:

Положили тебя в мешок,
Рот заткнули под злой смешок.
Ставят в очередь твое тело,
Чтоб смолоть его в порошок.

Мелет мельница жизнь людей —
Громоздятся мешки костей.
Жернова ее из железа,
С каждым днем они все лютей.

Мельник злится, от крови пьян:
Не мука — кровь течет из ран.
Жадно пьет ее клоп проклятый —
Бесноватый, слепой тиран.

Чтоб на этой мельнице зла
Кровь священная не текла,

Чтоб не бил в ее крылья ветер,
Чтоб молоть она не могла, —

Эту мельницу нужно сжечь!
И мешки — где ни стать, ни лечь!
Пусть пронзит поскорей тирана
Справедливости нашей меч!

Муса Джалиль был узником тюрьмы, которую взяли штурмом в апрельские дни бойцы нашей дивизии. До самой смерти мужественный патриот не прекращал борьбы с врагом, писал свои пламенные стихи, верил в свою Родину, в советский народ и Коммунистическую партию, в нашу победу.

Стихи Мусы Джалиля читает сейчас наш народ и гордится славным сыном Татарии. Это стало возможным благодаря советским войскам, штурмовавшим центральную часть Берлина — Моабит. Они помогли раскрыть правду о предсмертных днях Джалиля на чужбине.

Среди освобожденных находились не только советские люди. Тут можно было видеть и чехов, и поляков, и французов. Были тут и немцы — верные сподвижники и ученики Тельмана, которого злодейски убили в концентрационном лагере Бухенвальд 18 августа 1944 года. Ученики продолжили его идеи. Ничто не могло поколебать их мужества и воли даже в тюрьме, не иссякала их вера в то, что германский народ будет освобожден от гитлеризма. Никогда не забыть мне слов одного из спасенных нами немецких коммунистов.

Это был худой и немощный человек, которого жестоко, безжалостно пытали в застенках Моабитской тюрьмы. Он все выдержал, потому что черпал силы в ненависти к фашизму. А когда перед ним открылись двери камеры, сказал:

— Как счастлив я, что наконец-то дождался свободы. Теперь можно спокойно умереть.

И действительно, на следующий день его не стало... Слишком тяжелы были пытки и лишения, которые он перенес в страшных казематах Моабитской тюрьмы.

...Южная часть района Моабит упирается в мост на Шпрее, от которого до рейхстага метров пятьсот. Уверенный в неприступности Моабита, полагаясь на его сильно укрепленные позиции и водные преграды, противник не опасался отсюда удара. К тому же советские войска, обходившие Берлин с севера, шли строго на запад и уже миновали то место, где, казалось, они должны были изменить направление для удара по рейхстагу.

Но вот наша дивизия, развивая наступление на юго-восток, все упорнее начинает прорываться через Берлин по диагонали в

сторону рейхстага. Обнаружив это, враг стал спешно подбрасывать сюда резервы и еще сильнее укреплять на этом направлении свои позиции. Он поставил под ружье всех, кого мог: курсантов военных училищ, фольксштурмовские отряды, ударные батальоны СС, тыловые подразделения. Допрошенные тогда пленные показали, что Гитлер лично в имперской канцелярии производил смотр частей, оборонявших район рейхстага, и приказал биться до последнего человека.

И фашисты сопротивлялись с фанатизмом обреченных, цеплялись за каждый переулок, за каждый дом, вводили в бой все новые подразделения. Многие опорные пункты в больших зданиях продолжали вести огонь даже после того, как наши подразделения были уже впереди. Но штурмовые батальоны дивизии неудержимо пробивались вперед, не обращая внимания на оставшиеся сзади вражеские гарнизоны. Их ликвидировали подразделения второго эшелона.

Священная ненависть к фашистским захватчикам вела советских воинов на бессмертные подвиги. Под прикрытием танков они вплотную подбирались к домам, врывались в них, уничтожая «фаустников», вражеских снайперов гранатами и автоматным огнем. Там, где нельзя было взять противника пулей или гранатой, его выбивали бутылками с горючей смесью. Занимая дом за домом, квартал за кварталом, части дивизии уже 28 апреля овладели районом Моабит. Расчет гитлеровцев обескровить нас и отбросить назад полностью провалился. Больше того, дивизия наступала только двумя полками — полковников Зинченко и Мочалова, а третий полк — подполковника Плехаданова — находился во втором эшелоне и готовился к решающему удару по рейхстагу.

ЗА РЕКОЮ — РЕЙХСТАГ

Из докладов командиров частей первого эшелона дивизии проясняется общая картина боев за реку Шпрее. Немцы старались удержать мост имени Мольтке Младшего, чтобы не допустить через него наши подразделения на южный берег Шпрее. Но, смяв и артиллерийские и танковые заслоны немцев на северном берегу, подошли наши танки и батальоны 756-го стрелкового полка к берегу. Выбитые с улиц Моабита и прижатые к реке, немцы видели свое спасение только на южной стороне Шпрее. Наши подразделения неудержимо рвались на юго-восток, а немцы отходили на запад, поперек нашему движению. Третий батальон под командованием майора И. П. Крука вышел на берег Шпрее, при этом захватил мост, преградил путь отхода

фашистам. Гитлеровцы напролом, не считаясь с большими жертвами, пытались вырваться на южный берег, применяли массированный артиллерийский и минометный огонь. Но мужественные бойцы роты лейтенанта Вавилова отбивали атаку за атакой при поддержке пулеметной лейтенанта Симакова и минометной старшего лейтенанта Султанова рот. В этот ответственный и решающий момент комсомолец Вавилов лежал за ручным пулеметом и хлестал метким огнем по лезущему противнику. Командир взвода 45-миллиметровых пушек Борис Чурсин подбил два танка врага, пытавшихся проскочить через мост.

Наши батальоны очистили от фашистов Альт Моабитштрассе. Большой старинный район Моабит полностью в наших руках, но в тылу еще действуют отдельные группы. Они сковывают действия второго эшелона, изматывают его силы.

У четырехэтажного дома министерства финансов меня встретил капитан Чупрета. Он был взволнован.

— Товарищ генерал, майор Лазаренко погиб.

— Как?

— Был ранен в ногу. Казалось, ранение неопасное, но Лазаренко почувствовал себя вдруг плохо. Попить попросил. Попил воды и умер. До медсанбата не довезли.

Обидная гибель накануне победы. Столько перенести испытаний, лишений и вот так нелепо уйти из жизни!

Я молчал. Что говорить? И Чупрета молчал. Сколько таких молчаний за войну выпало на нашу солдатскую долю!

Наступали исторические события. Войска 1-го Белорусского фронта, заняв всю восточную, северную и северо-западную части города, упорно продвигались к его центру. Навстречу им шли бойцы 1-го Украинского фронта. В их руках находились южная и юго-западная части Берлина. Стальное кольцо сжималось все туже и туже. У гитлеровцев оставались лишь центральный район города, парк Тиргартен и участок Зоологического сада.

«ДОМ ГИММЛЕРА»

К рассвету 29 апреля Шпрее осталась позади полка, но бой не прекращался ни на минуту. Дивизия продолжала наступать. Очистила от противника все мелкие дома, расположенные на набережной Шпрее, вышла к громадному шестиэтажному зданию министерства внутренних дел — «дому Гиммлера».

Гитлер между тем вводил в бой новые подразделения. На что-то рассчитывал, на что-то надеялся. Так против нас оказались

курсанты — шестнадцатилетние мальчишки морской школы из города Ростока. Их перебросили на транспортных самолетах и приказали любой ценой задержать продвижение наших войск к правительственным зданиям фашистской Германии. В то время нам неизвестны были его надежды на переговоры с союзниками. Поэтому не жалел Гитлер своих преданных эсэсовцев, бросал в бой всех, даже малолетних юнцов. Ему казалось, что еще война не проиграна, что есть еще надежды. Но история учит обратному: не было на земле завоевателя, который торжествовал бы безнаказанно.

— Любой ценой вы должны задержать русских! — кричал Гитлер, провожая на верную смерть юнцов. — На вас смотрит Германия! Вы должны ее спасти!

Но спасти гитлеровцев уже никто не мог. Курсанты сопротивлялись недолго.

До рассвета 30 апреля «дом Гиммлера» был в наших руках. Бойцы валились с ног от усталости. Легкораненые не уходили в медсанбат, перебинтовывали друг другу раны. Еще бы! Ведь уже невооруженным глазом каждый солдат мог видеть рейхстаг.

Главный удар по рейхстагу дивизия готовила правым флангом — полком Плехаданова. Полк Зинченко наступал слева в направлении главного входа рейхстага. 469-й стрелковый полк М. А. Мочалова выдвинут на реку Шпрее с нелегкой задачей — прикрыть правый фланг дивизии и корпуса, перекрыв своими подразделениями мосты через Шпрее, и не пропустить противника из кольца окружения на север. Противник пытается вырваться из окружения и соединиться с войсками адмирала Деница.

Первый батальон А. С. Блохина располагался около моста Мольтке, в резерве, обстреливал рейхстаг из пушек и минометов.

Медленно наступал рассвет, туманные сумерки раннего утра смешались с пылью и дымом пожарищ.

Площадь перед рейхстагом была изрыта снарядами и минами. Изрешечен был и сам рейхстаг. Из его окон торчали стволы пушек, пулеметов, автоматов.

Батальоны В. И. Давыдова и А. С. Неустроева заняли исходное положение перед рвом на Королевской площади. Для того чтобы добраться до рейхстага, нашим бойцам нужно было преодолеть этот дымящийся огненный ад. Подразделения готовились к решающему броску.

ПОСЛЕДНИЕ МЕТРЫ ВОЙНЫ

Рейхстаг оборонялся многочисленным гарнизоном, в который входили солдаты и офицеры отборных гитлеровских частей: курсанты морской школы, трехтысячный эсэсовский полк, артиллеристы, летчики, отряды фольксштурма. Они располагали большим количеством орудий, минометов, пулеметов, фаустпатронов и гранат. Рейхстаг для гитлеровцев был не просто зданием, не просто крепостью. Он был символом их могущества и веры. Рухнут его стены — рухнет и вера в фашизм, построенная на страданиях миллионов людей.

Главный удар по логову гитлеризма было решено нанести правым флангом дивизии.

Бойцы ожидали условного сигнала. Этим сигналом был залп «катюши». В 13.00 заговорили гвардейские минометы. Началась артиллерийская подготовка. Все орудия, танки, самоходные артиллерийские установки вели огонь прямой наводкой. В течение тридцати минут непрерывно гремела канонада, словно гигантский молот. Но вот, пробиваясь сквозь орудийный гул, над Берлином всколыхнулось могучее:

— Ура!

— За Родину!

Еще 26 апреля я вручил командиру полка полковнику Зинченко знамя, которое должны были установить на куполе рейхстага, и сказал:

— Вручаю вам это знамя, ставлю задачу с честью пронести его в боях через Берлин и водрузить на рейхстаге как символ нашей победы над фашистской Германией.

Глаза Зинченко радостно заблестели.

— Слушаюсь, товарищ генерал! — ответил он. — Приказ будет выполнен!

Почему я вручил знамя именно 756-му стрелковому полку, а не другому? Во время всех предшествовавших боев в Берлине полк шел в первом эшелоне дивизии и дрался героически.

Полковник Зинченко вручил это знамя сержанту Егорову и младшему сержанту Кантария. Они побежали к рейхстагу.

Рота Сьянова быстро продвигалась к главному входу рейхстага под прикрытием артиллерийского и минометного огня. Перебегая от воронки к воронке, прячась за срубленные и поваленные деревья, они бежали по огненному морю. На каждом шагу рвались мины и снаряды.

В первой траншее залегли бойцы второй роты, чье наступление было дважды отбито фашистами. Они присоединились к роте Сьянова. Вот уже проходят канал, наполненный водой, с тру-

дом переползают солдаты по железным рельсам, переброшенным через канал.

Прошли вторую траншею перед рейхстагом. Осталось метров семьдесят до лестницы главного входа.

Егоров и Кантария со знаменем в чехле выскочили из окна «дома Гиммлера» и побежали за ротой Сьянова, бежали один за другим. Я с наблюдательного пункта их не видел. Они скрылись в боевых порядках батальона Неустроева. Пробежали метров сто, залегли в воронку, отдышались, побежали дальше, осталось сто двадцать метров. Сначала Егоров перебрался через канал по рельсам, а потом за ним Кантария. Вот и догнали роту Сьянова, их встретил заместитель командира батальона Алексей Берест и взял под свое командование. Ему было поручено организовать водружение Знамени Победы.

Не добежал до рейхстага солдат П. Пятницкий с красным флажком, вдруг всплеснул руками, остановился, попятился, зашатался и рухнул на грудь, широко разбросав руки. Сержант П. Щербина подбежал к своему тезке, дрожащими пальцами вынул из рук окровавленное древко. Слева и справа бежали Бык, Богданов, Руднев, Якимович. Якимович добежал до мраморной лестницы, но, сраженный разрывной пулей, упал на колени. По ступенькам густо и долго стекала кровь... Бойцы вели рукопашный бой за каждую комнату рейхстага.

В то же время с южной стороны через вход в рейхстаг ворвались бойцы роты Гресенкова П. А. и взвод полковой разведки лейтенанта Сорокина. Первым поднялся в атаку взвод Литвака. Выждав, когда огонь стих, Литвак вскочил, вскинул автомат и громко крикнул:

— За мной, ура-а-а!

Автоматчики бросились за ним.

— Атака была настолько стремительной, — вспоминал после боя командир взвода Леонид Литвак, — что я даже не запомнил, как вбежал по ступенькам и оказался в коридоре конференц-зала в окружении статуй средневековых рыцарей. Отдельные группы фашистов оказывали нам сопротивление, но мы их быстро выбили и заняли большой зал. Посредине под потолком я увидел большие часы, украшенные рогами лося. Они остановились, как бы подчеркивая тем самым, что время фашистской Германии кончилось...

У главного входа рейхстага с правой стороны распахнулось красное полотнище — Знамя Победы. Оно было отчетливо видно в бинокль с моего НП. Стоящие рядом полковник Г. Н. Сосновский, Герой Советского Союза полковник К. И. Серов, подполковник М. В. Артюхов, майор В. И. Гук и другие офицеры опе-

ративной группы одновременно увидели знамя. Нет слов, чтобы передать чувства, охватившие нас.

Вот как об этом написал Георгий Константинович Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления»:

«30 апреля 1945 года навсегда останется в памяти советского народа и в истории его борьбы с фашистской Германией.

В этот день войсками 3-й ударной армии, которой руководили командующий генерал В. И. Кузнецов и член Военного совета генерал А. И. Литвинов, была взята основная часть здания рейхстага.

За рейхстаг была кровопролитная битва. Подступы к нему прикрывались крепкими зданиями, входящими в систему девятого центрального сектора обороны Берлина. Район рейхстага обороняли отборные эсэсовские части общей численностью около шести тысяч человек, оснащенные танками, штурмовыми орудиями и многочисленной артиллерией...

Непосредственный штурм здания рейхстага осуществляла усиленная 150-я стрелковая Идрицкая дивизия (3-й ударной армии), во главе которой стоял опытный генерал Герой Советского Союза В. М. Шатилов. 150-ю дивизию поддерживали 23-я танковая бригада и другие части армии. За этим исторически важным боем лично наблюдал командарм В. И. Кузнецов, который держал со мной непрерывную связь...

...Он позвонил мне на командный пункт и радостно сообщил:

— На рейхстаге — Красное знамя! Ура, товарищ маршал!

— Дорогой Василий Иванович, — ответил я, — сердечно поздравляю тебя и всех твоих солдат с замечательной победой. Этот исторический подвиг войск никогда не будет забыт советским народом. А как с самим рейхстагом?

— В некоторых отсеках верхних этажей и в подвалах здания все еще идет бой, — доложил В. И. Кузнецов.

Боем при водружении Знамени Победы руководил командир первого батальона Степан Неустроев. Степан ниже среднего роста, совсем еще молодой, на груди пять орденов. Он был командиром взвода, роты, теперь командовал батальоном 756-го стрелкового полка. Прославленный офицер в дивизии и армии. Он не раз водил солдат в атаку, шел в цепи, в рост, с наганом в руке. Пять раз ранен. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Борьба за рейхстаг шла не на жизнь, а на смерть. Наши солдаты пришли сюда, чтобы завершить справедливую войну с тем, кто посягнул на свободу нашей Родины. За столом я рассматривал нанесенную на карту обстановку за время моего отсут-

ствия. Появилось много военнопленных. Майор Гук не успевал их допрашивать, отправлял в штаб армии. Мне особенно запомнились два гитлеровских генерала. Сухопарые, высокого роста. На тщательно выбритых щеках пробивался пот. Странные у них были глаза — в них стоял испуг. Словно подменили их с того момента, когда пошли войной на нашу землю. Словно оборвалась страшная связь с фашизмом этих преданных своему делу малых и больших фюреров. Они упали перед нами, солдатами России, на колени.

Один из них генерал-лейтенант Вильгельм Бранкенфельд, другой — генерал-майор Вальтер Шрайбер.

Я спросил, что они думают о Берлинском сражении.

— Берлин нами, очевидно, потерян, — сказал Бранкенфельд. Но сказал с такой неохотой, таким тоном, как будто гитлеровцы на что-то еще надеялись. А на что?

Красное знамя алело у главного входа в рейхстаг, ясно видимое с наблюдательного пункта. А внутри рейхстага кипел жестокий бой. Когда в рейхстаг добрались комбаты Неустроев, Давыдов и восстановили связь со сражающимися подразделениями, образовался своеобразный «комнатный фронт», где противники сталкивались друг с другом в упор, грудь с грудью.

Как только очистили от противника второй этаж, Егоров и Кантария под прикрытием небольшой группы Береста начали подниматься наверх. Теперь недалеко было уже и до крыши рейхстага. Бересту казалось, что они были у цели. Но в тот момент, когда оставалось пройти последний пролет, фашисты ударили по группе Береста. Отступать было некуда: разили свинцовые струи.

Но вот и крыша. Над ней рвались снаряды, жужжали осколки.

Королевская площадь все еще находилась под обстрелом: по ней вели огонь и наши и немецкие батареи. Стоял вечер. В густых сумерках вспышки рвущихся снарядов казались нестерпимо яркими. Егоров и Кантария двигались по крыше на четвереньках, ощупывая перед собою каждую пядь.

Прижимаясь к крыше, обливаясь потом, знаменосцы подбирались к куполу рейхстага, который освещался при разрывах снарядов мертвенной синевой. Передвигаться было трудно. Карабкались медленно друг за другом, мертвой хваткой цеплялись за железо, резали руки об осколки стекла. Поднялись метров на пятьдесят-шестьдесят, видно лишь зарево горящего города и молниевые вспышки рвущихся снарядов да поднимающиеся кверху пороховые тучи.

Прикрывая друга огнем, упираясь ногами в решетку, Канта-

рия подталкивал сержанта вверх. А тот, зажав в одной руке красное полотнище, сколько есть силы цеплялся за пазы решетки. Из порезов на руках струилась кровь. Кружилась голова. Мутная пелена поволокой застилала глаза. Егоров, поднявшись сначала на колени, удерживаясь рукой за решетку, встает. Кантария помог Егорову прикрутить ремнем древко знамени к металлической перекладине. И вот знамя над рейхстагом!

Когда Егоров и Кантария доложили Зинченко о выполнении задания, было 22 часа 50 минут. Пять минут спустя он доложил мне по телефону:

— Товарищ генерал, Знамя Победы Военного совета установлено на куполе рейхстага в двадцать один час пятьдесят минут по московскому времени.

— Молодцы! Поздравляю тебя, Федор Матвеевич, и весь полк!

Огромных усилий стоило нашим воинам водрузить над рейхстагом Знамя Победы, но еще больших трудов стоило удержать его. За рейхстаг продолжался жестокий бой. Два раза в ночь на 1 мая мы предлагали гитлеровцам, находящимся в подвальном помещении, сложить оружие, но оба раза наши парламентеры были обстреляны.

В 11.00 часов 1 мая над рейхстагом взвилось огромное облако черного дыма. Причина могла быть лишь одна — пожар. Вскоре это подтвердили полковник Зинченко и подполковник Плеханов.

Как известно, первый раз рейхстаг был подожжен фашистами в 1933 году для того, чтобы по его обугленным лестницам прийти к власти.

В этом же здании начал гореть факел войны, который охватил всю Европу. Этим огнем были зажжены печи Майданеков и Освенцимов.

В 1945 году 1 мая рейхстаг был подожжен фашистами для того, чтобы удержаться несколько часов. Но это им не удалось.

Бой принял очаговый характер, работали штыком, прикладом и гранатой. Сам Неустроев находился там же, наблюдал за боем и своевременно оказывал содействие подразделениям.

Битва гремела в рейхстаге весь остаток дня. 1 мая с наступлением вечерних сумерек сопротивление фашистов заметно ослабло. Стало ясно, что противник выдыхается. Наши подразделения усилили нажим.

— Ты, Вася, добивай врага здесь, а я свой батальон поверну на подземелье, — сказал Неустроев Давыдову.

Неустроев возобновил усиленный штурм подвалов, используя

сорокапятки. Ответный огонь из подземных помещений прекратился. Фашисты запросили переговоров.

Вскоре на лестнице, ведущей в подвал, увидели белый флаг. Старший лейтенант Гусев доложил об этом Неустроеву. Неустроев приказал прекратить стрельбу. Для переговоров послали рядового Прыгунова, знавшего немецкий язык. Через двадцать минут солдат вернулся с ответом: гитлеровское командование не против вести переговоры, но лишь со старшим офицером.

— «Кого бы подобрать для этой цели?» — подумал я. И тут перед глазами выросла мощная фигура лейтенанта Береста, — рассказывал позже мне Неустроев. — «Идея! — кричу я и спрашиваю его: — Ты никогда не мечтал быть дипломатом?» — «И в голову не приходило». — «Зря. Ты ведь рожден для дипломатии».

Берест удивленно посмотрел на меня. Объяснил, в чем суть дела.

«Умывайся, брейся, переодевайся — и к немцам на переговоры. Они желают разговаривать с человеком представительным».

Составили группу для ведения переговоров. Во главе — Берест. Я — его адъютант, рядом Прыгунов — переводчик. А неофициальным представителем на переговорах — лейтенант Герасимов с пулеметами у выхода.

Спустились в подземелье. Навстречу нам вышли два офицера и переводчик. За спинами тоже пулемет.

Начал Берест:

«Ваше сопротивление бессмысленно. Предлагаем сдаться в плен. Гарантируем всему гарнизону сохранить жизнь».

Гитлеровцы ответили, что они согласны сдаться с одним условием: дескать, через ваши боевые порядки мы не пойдем, отведите свои подразделения, тогда мы выйдем из подземелья и сдадимся.

Ход хитрый, но мы его сразу разгадали. Берест решительно отверг условие гитлеровцев и снова предложил капитулировать. Они обещали дать ответ через двадцать минут. Мы покинули подземелье.

В пятом часу утра снова начали атаку подземелья. Сначала забросали проходы гранатами, а затем мелкими группами проникли в подвал. Вскоре в коридорах показались фашисты с белыми флагами. Я приказал прекратить огонь. Появился уже знакомый нам офицер и вручил Бересту приказ коменданта рейхстага своим войскам о сдаче в плен. Ровно в пять часов утра колонна пленных потянулась из подземелья. Их было 1640 человек.

2 мая в 9 часов утра гарнизон в центре Берлина капитулировал во главе с начальником гарнизона города генералом Вейдлингом.

У рейхстага ликовали солдаты. Усталые лица озарялись улыбками.

Мой наблюдательный пункт больше не был нужен. Кругом тишина, ни единого выстрела. Я вышел из подвального помещения и направился к рейхстагу.

Так закончился берлинский поход 150-й стрелковой Идрицкой, Берлинской (через несколько дней стала Берлинской) ордена Кутузова II степени дивизии. Дивизия эта не принадлежит к числу старейших соединений Советской Армии. Она сформирована в годы Великой Отечественной войны, но, несмотря на молодость, прошла большой, тяжелый и славный путь. Начав свою боевую историю под Старой Руссой, дивизия с другими соединениями освободила от фашистских захватчиков Калининскую область, Латвию, Литву, получила первое боевое наименование Идрицкой, затем она была переброшена в Польшу, а весной тысяча девятьсот сорок пятого года ей выпала великая честь не только сражаться в Берлине, но штурмовать рейхстаг и водрузить на его куполе Знамя Победы.

●

ПОЭЗИЯ

Сергей ВИКУЛОВ

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

ПОДКОВА, ПРИБИТАЯ К ПОРОГУ

...А собственно, что тут такого?..
К порогу прибита подкова.
Забава?
Языческой веры отрыжка?
Иль прихоть заплывшего жиром
умишка?
А может быть, просто смешной
предрассудок?..

Подкова... Копыта железный
рисунок!

И слышится мерная поступь коня,
и представляется ясно дорога.
Откуда начало ее? От порога.
К порогу, где друг тебя ждет
и родня.

Иль ты ожидаешь любезного друга
общеньем украсить мгновенья
досуга.

И молишь: «Ах, пусть он скорее
примчится!

И пусть с ним в пути ничего не случится!»
Жизнь — тоже дорога. Но сколь далеко нам
по этой дороге еще колесить?..

«Ступи на подкову — на счастье подкова!» —
прощаясь, я друга спешу попросить.

НА ВОКЗАЛЕ

Вокзал. Платформа. Холодно и сыро...
Одета легкомысленно легко,
она, я понял, провожала сына
надолго и, как видно, далеко.

Стояла перед ним в платочке синем,
невысока — ему едва до плеч,
и все просила сына, все просила
писать ей — чаще! — и себя беречь.

— Там будут горы, будет бездорожье...
— Ох, мам!..
— Ну хорошо: ты не робей,
я поняла... Но будь поосторожней!
А главное, не пей, сынок, не пей!

И вновь:
— Бураны, слышно, там и вьюги,
и ты уж одевайся потеплей:
простудишься в два счета — не на юге...
А главное, не пей, сынок, не пей.

И снова:
— Много вас там будет, всяких...
Иной — чуть что — пристанет, как репей!
Не спорь с таким, не доводи до драки...
А главное, не пей, сынок, не пей!

Не забывай отца, когда в компании
поднять решишься с водкою стакан.
Не забывай... Он был хорошим парнем,
а стал каким — ты это знаешь сам.

Он сам себе, отец твой, пропасть вырыл —
могилой обернулася она.

...Вокзал. Платформа. Холодно и сыро.
И красный свет. И женщина. Одна.

ЖИТЕЙСКИЕ МУДРОСТИ

1. ЛОДЫРЬ

Конечно же, лодырь (простите, ленивый)
не глуп от природы,
не круглый дурак.
Он просто с рожденья безвольный, сонливый
и всякое дело вершит кое-как,
тяп-ляп (извините, на скорую руку,
на нитку живую) —
и так, мол, сойдет...
И, с детства постигнув такую науку,
он, лодырь,
без дела ни дня не живет!
Все трудится, смотришь,
не в силах зевоту
сдержать:
просыпается лишь за столом...
Любую,
пустяшную даже работу,
он делает д в а ж д ы.
Ну что ж, поделом!

2. «ХОЧЕШЬ ЖИТЬ — УМЕЙ...»

Прививалась — чуть не с детства —
поговорочка ему:
«Хочешь жить — умей вертеться!»
— Как вертеться? Почему?!

Не умел понять вначале
поговорочки пострел
и вертелся перед чаем —
потому что пить хотел.

А за час перед обедом
он вертелся как юла,
чтобы мать, за чаем следом,
щей в тарелку налила...

Годы, словно санки с горки,
нет, не с горки, а с горы
пролетели... Стал он зорким
и открыл, что в поговорке
нет ни грана от игры.

Обыдённые примеры
убедили — хоть не вдруг, —
что она у лицемеров
на уме
да у хапуг,
у льстецов да дармоедов,
у воров да у рвачей...
Им бы это лишь: соседа
обдурить, да половчей!

Куш сорвать, а после выпить,
обмануть завод, страну...
Одному на берег выплыть —
остальных пустить ко дну.

...Все, кто к месту и не к месту
поговорочку твердят,
не хотят работать честно,
ну а есть и пить хотят.

Да послаще!
Да погуще!!
Не делясь притом ни с кем.
Отдохнуть желают — лучше
возле моря, на песке!

И не в службе, нет, не в службе —
там возможности в обрез —
эти люди только в «дружбе»
видят главный интерес.

Чтоб навалом было блата,
чтоб не только — по губе...

Чтоб всю жизнь: «Ты мне когда-то,
а сегодня — я тебе!»

Все прекрасно в том уставе:
свой — своим, все — своему...
Что же противопоставить
мог он лживому, ему?

А совсем немного, то есть
то, что было в нем, что есть:
незапятнанную совесть,
незамаранную честь!

РЯБИНА

Росла рябина в гуще леса.
Ни для дроздов, ни для синиц,
ни для других голодных птиц
пока большого интереса
не представляя...
Но под осень,
свою застенчивость отбросив,
затараторила она:

«А я, рябина, всем нужна!
Березы, гляньте!
Гляньте, елки!
Я вся в рубиновых кистях!
Я словно только что в гостях
была — и все на мне с иголки!
Какие листья у меня,
какие чудные узоры!..»
Два дня, три дня, четыре дня
лес слушал эти разговоры.
И, не стерпев,
разжал уста,
и, возмущаясь, затрубил он...

Но не услышала рябина
тот шум, собою занята.
«Вы зелены, а я — красна! —
наутро снова выхвалялась
перед березками она: —
Моих кистей тяжелых алость

любому издали видна!
Что вы в сравнении со мной,
осины?
Вы, деревья бора?!»

И вдруг с осины дупляной,
скрипя, прокаркал вещий ворон:
«Осыплются гроздья,
что были дроздами любимы,
и листьев холодный пожар
догорит...
Послушай, р-рябина, рябина, рябина,
послушай, что лес о тебе
говорит!»

НЕ ЗАБЫЛОСЬ

Вся в поту, в пыли, простоволоса
(кожа облупилась на носу),
Анна в этот вечер с сенокоса
поздно приплелась — в восьмом часу.
Дочь, что отсидела день в конторе,
встретила Анюту у ворот:
— Горе мне с тобой, маманя, горе! —
подала напиться: — Ну, народ!..
Этак хрястать! Эдак убиваться!
Боже! Из-за кринки молока!
Вспомни. Ведь тебе давно не двадцать...
Пенсия — пускай невелика —
у тебя...

— Какую заслужила!
— Так скажи — поможем! Ты же — мать!

Руки на колени, как чужие,
бросила:
— Не надо помогать!

Я еще сама могу. Не надо...
Для тебя обуза — скот держать,
ну а для меня большая радость
сена Кукле с вечера задать...

Да, сенца хорошего, какое
я гребла сегодня на лугу...
Нет уж, дочка, жить, как вы, в покое,
извини меня, я не смогу.
Ты, коль речь заходит о корове,
нос воротишь в сторону: навоз!
Да и запах, вредный для здоровья,
да и дуроломный сенокос...

Ну а я, когда скажу: «Корова» —
пред глазами девочка одна
с полной кружкой теплого, парного...

Только год, как кончилась война.

Голод. Хлеба в доме ни кусочка.
Девочка весь день возле стола,
плачет: «Мама, хлеба!»
Слышишь, дочка:
девочкою этой ты была!

Если б не коровушка в ту пору
(я-то знаю это, я ведь — мать),
нашему с тобою разговору,
как сейчас, вовеки б не бывать!

Так что закрывай свое собранье,
душу не трави зазря мою...
Лучше полежи вон на диване,
я тем часом Куклу подою.

РАЗ В ГОДУ

Прохор жил с землей в ладу.
Правя борозду, бывало,
сам себя увещевал он:
— Хлеб родится раз в году!
Раз в году!..
И значит, брат,
в поле надо
так трудиться,
чтоб, когда не уродится,

с а м ты
не был виноват.
Потому как
т в о й
просчет
с ячменем там или рожью
мать-земля
поправить может
только ровно через год.
Ну а год —
протянешь нос...
Год —
не сутки, не неделя.
Значит, все на совесть делай,
если хочешь хлеба воз.

Прохор затемно в страду
выезжал пахать на Чалом.
— Что так рано? —
Отвечал он: —
Хлеб родится раз в году!

Егор ИВАНОВ

НЕГРОМКИЙ ВЫСТРЕЛ

Роман-хроника

КНИГА ВТОРАЯ

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

ПОТСДАМ, НАЧАЛО ИЮЛЯ 1914 ГОДА

Европа, не слишком потрясенная убийством эрцгерцога («на этих темпераментных Балканах всегда кого-нибудь убивают!» — думали не очень дальновидные буржуа), нежилась под лучами летнего солнца на морских курортах и на загородных виллах, танцевала в парках и ночных кабаках, выезжала на пикники и увлекалась синематографом. Напряглись сначала только нервы генеральных штабов и министерств иностранных дел великих держав Европейского континента. Забегали чиновники на Вильгельмштрассе, Кэ д'Орсе, Даунинг-стрит, Певческом мосту.

Потсдам, куда, не заезжая в Берлинский шлосс, прибыл прямо с вокзала кайзер, гудел в радостном возбуждении, словно улей в пору цветения всех трав. Как пчелы к улью, слетались с утра до вечера к Новому дворцу жужжащие моторы. Затянутые в талии военные с моноклями, сверкающими из-под козырьков фуражек, гордо ступали между дворцами и виллами городка, роились вокруг резиденции кайзера.

Сам Вильгельм жил в эти дни как обычно. В 8 часов — гимнастика, в 9.30 — прогулка в Тиргартене, в 11 с половиной — доклады министров, затем завтрак. В два пополудни — поездка на автомобиле в Грюневальд и прогулка там до 3-х. В 3 с половиной император удаляется к себе и час отдыхает. В 7 часов — посещение драматического театра или оперы.

Однако где бы Вильгельм ни находился — во дворце или на прогулке, за накрытым столом или в театре — нигде его не отпускала мысль о том, что нельзя упустить случай для развязывания большой войны, который ниспослало провидение.

Принц Генрих, глава германской ложи, докладывал императору еще накануне свидания Вильгельма и эрцгерцога в Конопиште о каких-то намеках германским брать-

---

Продолжение. Начало в № 4.

ям, сделанных французскими и английскими каменщиками, о существовании в Сербии заговора на жизнь Франца-Фердинанда. Тогда у кайзера мелькнула мысль, не причастны ли англичане к разжиганию вражды на Балканах, но прямых улик отдел Вальтера Николаи не добыл. К тому же случай был настолько в германских интересах, что Вильгельм и думать перестал об этом.

Теперь его мало интересовало, кто же в действительности стоит за покушением на наследника австро-венгерского престола, ибо необходимый повод для войны наконец найден. И это главное!

Решать о том, как начать войну, должен был Коронный Совет, назначенный императором на 5 июля.

Ровно в полдень в Мраморную галерею Нового дворца, где вокруг специально установленного огромного дубового стола восседали в ожидании начала принц Генрих Прусский, кронпринц Вильгельм, канцлер фон Бетман-Гольвег, статс-секретарь по иностранным делам фон Ягов, начальник Большого генерального штаба фон Мольтке, статс-секретарь по военно-морским делам адмирал фон Тирпиц, другие высочества и высокопревосходительства, звеня шпорами, в полевой кавалерийской форме с боевым палашом, вошел его императорское величество, кайзер Вильгельм Второй Гогенцоллерн.

Огромные окна зала были распахнуты в парк, откуда струились ароматы зелени и цветов, доносился щебет птиц. В прохладе Мраморной галереи царило молчание и мрачная торжественность. Все члены Коронного Совета хорошо знали, зачем они собрались сегодня здесь.

— Статс-секретарь фон Ягов! — обратился кайзер к министру иностранных дел, встав у своего кресла. — Прошу высказать ваше мнение о теме сегодняшнего Коронного Совета!

— Ваше величество! Ваши высочества! Ваши высокопревосходительства! — обратился фон Ягов к присутствующим. — Сейчас в Европе нет противной нам силы, готовой к войне. Россия будет боеспособна, по всем компетентным предположениям, минимум через два года. Тогда будут построены ее стратегические железные дороги в западных губерниях, могущие быстро перебрасывать войска; будет выполнена большая морская программа, которая сделает Балтийский и Черноморский флоты достаточно сильными, чтобы они могли тягаться с германским;

количеством своих солдат она сможет задавить наши восточные границы и создать эффект «дампфвальце» *.

Внимание слушателей было наградой фон Ягову, и он с воодушевлением, то и дело взглядывая на императора, чтобы угадать его настроение, продолжал:

— Франция и Англия тоже не захотят сейчас войны. Наша же группа, я имею в виду Австро-Венгрию, все более слабеет...—Статс-секретарь с сожалением склонил голову в печали, а затем снова высоко поднял ее. — Наши посланники доносят отовсюду, что ни в Петербурге, ни в Париже, ни в Лондоне сейчас не ждут войны. Стало быть, самый удобный момент для ее начала наступил!

— Ваше мнение принимается к сведению. Есть возражения? — обвел присутствующих глазами император. Его поза не изменилась. Он сидел так же спокойно, опираясь левой рукой на эфес палаша.

Канцлер фон Бетман дернулся было, намереваясь что-то сказать. Кайзер знал, что Бетман — один из немногих сановников империи, который не одобряет втягивания в войну, поскольку она может привести к крупному столкновению с Англией. Поэтому он только скользнул глазами по его жалкой, выражавшей тревогу фигуре и уперся взглядом в болезненного, но всем своим видом выражавшего готовность поддержать фон Ягова, начальника генштаба фон Мольтке.

«Печальный Юлиус» был краток.

— Германская армия полностью готова выполнить свой долг. Мобилизационный план был утвержден вашим величеством 31 марта сего года!

— Что скажет германский военно-морской флот? — повернулся кайзер к другому своему близкому сотруднику и другу — фон Тирпицу.

— Эскадры Северного и Балтийского морей выполнят любые задачи, поставленные вашим величеством. Подводные лодки к выходу в море готовы. Противник будет отрезан от своих заморских территорий. Он не сможет получать сырье и продовольствие! — твердо, словно команды с мостика линкора, высказал свое мнение фон Тирпиц.

Император не пожелал больше никого слушать.

— Итак, решено! — Вильгельм встал и хлопнул ладонью по столу. — Начинаем дипломатическую и всю остальную подготовку к войне!..

* Паровой каток (нем.).

— Ваше величество! — испуганно, но упрямо потянулся сказать канцлер фон Бетман. — Нужны меры дипломатической маскировки, чтобы наши противники, а не мы выглядели виновниками войны...

— Что вы предлагаете? — буркнул кайзер, сразу ухватив суть идеи фон Бетмана.

— Прежде всего, ваше величество, вы не должны отказываться от уже объявленной поездки на отдых в норвежские фиорды. Затем, начальник генерального штаба должен поехать, как обычно, на воды в Карлсбад, а фон Тирпиц — взять запланированный отпуск и где-нибудь укрыться от вездесущей прессы...

— Принимается! — утвердил кайзер. — Приступим к обсуждению практических мероприятий. Пригласите графа Сегени и графа Гойоса!

Адъютант императора впустил в Мраморную галерею австрийского посла Сегени и секретаря министра иностранных дел Берхтольда — графа Гойоса, прибывшего накануне в Берлин с письмом императора Франца.

Оба графа вошли и заняли оставленные для них места. Они хорошо представляли себе, о чем шла речь за закрытыми золочеными дверями этого зала. Император поднялся со своего кресла, подошел к посланцам союзной державы и, приняв свою любимую воинственную позу, отрывисто обратился к дипломатам, внимавшим ему с неподдельным трепетом:

— Не мешкать с выступлением против этой недостойной Сербии! — изрек Вильгельм. — Позиция России будет во всяком случае враждебной. Но я уже давно подготовлен к тому и прошу передать его императорскому величеству Францу-Иосифу, что если даже дело дойдет до войны между Австро-Венгрией и Россией, то он может быть уверен в том, что Германия, с обычной своей союзнической верностью, будет стоять на стороне австрийских братьев!

ЧЕКЕРС, ИЮЛЬ 1914 ГОДА

Милях в двадцати на северо-запад от Лондона, среди пологих холмов Бекингемхэмпшайра, покрытых лоскутьями полей, отгороженных друг от друга каменными изгородями, чуть в стороне от больших дорог уютно расположилось поместье лорда Ли Фэйрхэмского. Небольшой

дворец готической архитектуры времен Тюдоров окружен флигелями различных хозяйственных назначений.

Последний хозяин дворца, лорд Ли, подарил свое поместье государству, дабы оно стало загородной резиденцией премьер-министра кабинета его величества. Богатый лорд хотел хоть таким манером войти в историю своей страны, но и в первые десятилетия после своего щедрого акта не много преуспел в этом, ибо местопребывание премьера вне Лондона было известно только узкому кругу посвященных лиц...

Первый июльский уик-энд принес Британии великолепную погоду. Три джентльмена в костюмах для гольфа и в сопровождении мальчиков, несущих сумки с клюшками, приблизились к лужайке для игры. Впереди всех шел прямой и поджарый лорд Асквит, правее него своей характерной загребающей походкой плыл министр иностранных дел сэр Эдуард Грей, а слева и чуть сзади энергично ступал сутулый молодой первый лорд Адмиралтейства сэр Уинстон Черчилль.

Джентльмены недавно окончили первый завтрак, и их щеки румянились от чудесной погоды и старого портвейна. Достигли старта и, пока кеди * устанавливали мячи, спортсмены с видом знатоков принялись выбирать клюшки, каждый из своей сумки.

Сэр Герберт, как и полагается премьеру, сделал первый удар. Его мячик не долетел всего лишь несколько ярдов до лунки, что свидетельствовало о хорошей спортивной форме Асквита.

Сэр Эдуард выбрал не ту клюшку, и его мяч плюхнулся где-то посредине между стартом и лункой.

Энергичный и молодой сэр Уинстон, недавно влюбившийся в гольф, от избытка сил запулил свой мячик прямо в купу деревьев, в пятидесяти ярдах в стороне от лунки.

Партия началась. Теперь можно было и поговорить.

— Мистер премьер-министр! — нетерпеливо начал Черчилль. — Вчера шеф Интеллидженс сервис ** закончил доклад для членов кабинета об обстоятельствах покушения в Сараеве...

— Я знаком с этим документом... — поспешил заявить сэр Эдуард. Однако по присущей ему привычке говорить и ничего не сказать при этом продолжать не стал. Не-

* Мальчик, помогающий игроку в гольф.
** Английская разведка.

сколько замедлив шаги, он как бы предоставил слово Черчиллю.

Напористый сэр Уинстон не стал огрызаться на министра иностранных дел, хотя ему очень хотелось задать тому трепку, а продолжал свое сообщение премьеру.

— Боюсь, что директор Ай Си приготовил в своем докладе сюрприз для слишком широкого круга людей, — изрек первый лорд Адмиралтейства.

— Что вы имеете в виду? — насторожился Асквит.

— Из его доклада можно сделать вывод, сэр, что агенты британского правительства принимали участие в организации покушения на наследника престола Австро-Венгрии! — четко сформулировал свой ответ Черчилль и добавил: — Заседание кабинета министров — не та аудитория, где можно открывать самые сокровенные тайны имперской политики!

— Не находите ли вы, сэр Эдуард, что это опрометчиво? — повернулся Асквит к Грею.

В это время джентльмены приблизились к мячу министра иностранных дел. В такой момент, разумеется, никоим образом нельзя отвлекать партнера от удара. Теперь Грей оказался более удачлив. Его мяч запрыгал поблизости от лунки. Игроки все вместе направились к деревьям, под которыми покоился мяч сэра Уинстона.

Беседа продолжалась.

— Я бы сказал, сэр, — ответствовал Грей, — что достопочтенный директор Ай Си несколько перестарался...

— В каком смысле? — бросил вопрос Асквит, хорошо зная способности министра иностранных дел говорить так, что ничего понять нельзя.

— В смысле откровенности, сэр! — уточнил Грей. — К тому же, как нам хорошо известно, решающую роль сыграли в этой драме господа, находящиеся на германской службе...

— Кто еще знает об этом? — решил уточнить премьер-министр, обращаясь к Черчиллю.

— О существовании заговора против эрцгерцога знали некоторые члены кабинета Сербии, — обнаружил свою осведомленность сэр Уинстон. — Премьер Пашич еще в середине мая, то есть за полтора месяца до выстрелов, приказал усилить пограничный контроль между Сербией и Австрией и по неофициальным каналам информировал Вену об опасных антиавстрийских замыслах в Сараеве.

— Но какие меры приняли в ответ на это в Шенбрунне? — с удивлением спросил британский премьер.

— Как ни странно, но никаких! — ответил морской министр.

— Чем вы это объясняете, сэр Уинстон? — снова вопросил премьер.

— Очевидно, кто-то доставил престарелому императору Францу-Иосифу успокоительную информацию. Похоже на то, что в окружении монарха имелись люди, заинтересованные в трагической неожиданности. А ведь было известно, что в Сербии эти маневры расценивают как прелюдию к нападению. Более того, сама дата прибытия Франца-Фердинанда в Сараево была выбрана явно не случайно. В этот день сербы отмечали годовщину трагического события в своей истории — битву на Косовом поле. Их разбил тогда турецкий султан Мурад, и Сербия на много веков попала под турецкое иго... — демонстрировал сэр Уинстон недюжинные познания в истории. — Кстати, сэр! Султан Мурад был убит сербским воином Милошем Обиличем, который стал национальным героем своего народа. Экзальтированных юношей, участвовавших в покушении на австро-венгерского наследника, ничто не могло остановить, поскольку они хотели стать современными Обиличами...

Черчилль лицемерно вздохнул, и в разговор вмешался Грей.

— Нашим дипломатическим агентам на Балканах также показалось весьма странным, что после того, как в автомобиль эрцгерцога была брошена бомба, от которой пострадала только охрана, все осталось без изменений. Программа продолжалась, как было объявлено ранее, а австрийская контрразведка отнюдь не усилила меры прикрытия... Судьбе явно кто-то помогал из Вены.

— И вы не знаете кто? — язвительно спросил Асквит, посмотрев на Черчилля остро и почти недружелюбно.

В этот момент, повинуясь логике игры, Черчилль полез в канаву под деревьями, куда закатился его мяч и где стоял уже кеди, держа наготове подходящую короткую, с искривленной лопаткой клюшку. Резким ударом Черчилль выбил мяч к ногам премьера.

Лорд Асквит стоял, казалось, потрясенный коварством заговорщиков, злоумысливших на жизнь наследника. Когда по траве запрыгал мяч сэра Уинстона, сэр Герберт молча повернулся и направился к своему мячу. Спо-

койно и неторопливо он прицелился и легким толчком послал белый мячик в лунку. Затем с видом триумфатора премьер оперся на свою клюшку и стал поджидать партнеров, мячи которых также были подогнаны почти к цели.

Когда Грей и Черчилль приблизились, Асквит продолжил деловой разговор.

— Джентльмены! Примите меры, чтобы с докладом Ай Си были ознакомлены, кроме вас, только мистер Ллойд Джордж и, разумеется, его величество. Лично я не желаю ничего более слышать об этом коварном преступлении, да вознесет господь души эрцгерцога и его супруги...

— Мы позаботимся об этом, сэр! — пообещал министр иностранных дел. — Полагаю, милорд, что в связи с трагическим инцидентом следовало бы наметить основные линии британской политики. Ближайшие недели обещают быть весьма бурными...

— Полагаю, что на Балканах начнется схватка, которая будет нам весьма кстати! — прямолинейно брякнул Черчилль. Ему удалось загнать мячик в лунку, и он победоносно смотрел теперь на Грея, который все примеривался нанести свой удар клюшкой. Наконец министр подогнал свой мяч к самому краю лунки и изогнулся для решающего удара.

— Сэр Уинстон прав — это выгодный момент для начала войны! — убежденно высказался сэр Герберт.

Сэр Эдуард выпрямился, так и не сделав удара.

— Мы не можем позволить себе отсрочку этой войны, джентльмены! — решительно произнес он. — В противном случае Россия слишком утвердится в Персии, укрепится в Средней Азии, приблизившись к Индии... Британская империя окажется на грани больших неприятностей. Как можно скорее мы должны столкнуть Россию и Францию с Германией и Австрией.

— Вы глубоко правы, достопочтенный сэр! — с чувством изрек морской министр. — Пока Россия и Франция будут обескровливать себя на полях сражений с Германией, мы должны стоять в стороне и помогать союзникам только нашим флотом, ведя морские операции по истощению Центральных держав. Когда же все стороны, кроме нас, настолько ослабнут, что не смогут протестовать, мы продиктуем им всем свои условия!..

— Боюсь, однако, что кайзер не захочет начинать боль-

шой войны, если он узнает о непременном нашем участии в ней! — вернулся к теме министр иностранных дел.

— Морская разведка также располагает подобными сведениями, — лаконично добавил Черчилль.

— Джентльмены! Я мог бы предложить следующую тактику, которая была бы весьма действенна для втягивания Германии в большую войну, — сообщил лорд Асквит, равномерно вышагивая по газону. — Правительству и дипломатическим представителям следует до последнего момента — пока Германия и Франция, Австрия и Россия не войдут в необратимый конфликт — производить впечатление, что Британия останется в любом случае нейтральной, что мы стоим выше всей этой ссоры... Когда же война разгорится вовсю, мы начнем воевать на море, направив во Францию лишь такой экспедиционный корпус, какой не позволит французам лишить нас плодов победы.

— Вы забыли русский «паровой каток», который способен достичь Берлина за две-три недели! — вмешался в разговор Эдуард Грей. — И вообще примите во внимание неисчислимые людские резервы этого колосса на Востоке. Иногда мне становится дурно, когда я думаю о всех этих массах пушечного мяса, которое может в один прекрасный момент прозреть и повернуть свои штыки против нас...

От досады сэр Эдуард так далеко выбил свой мяч в сторону от площадки, что кеди побежал разыскивать белый шарик в некошеной траве за каменной изгородью. Упрямый спортсмен-министр отправился туда же своей характерной походкой.

— Из русского «парового катка» нужно выпустить пар вместе с кровью! — с неожиданной ненавистью крикнул вслед Грею морской министр. Сэр Герберт, прицеливаясь к своему мячу, с одобрением подумал о молодом первом лорде Адмиралтейства. Премьер предрекал, что с таким темпераментом и имперской страстью он далеко пойдет в политике, где напористость иногда заменяет ум и талант.

— Не нужно так волноваться, мой друг! — изрек покровительственно Асквит и добавил размеренно: — Вы правы в том отношении, что если Россия выйдет победительницей из этой войны, то перспективы Британии в Европе и Азии будут весьма мрачными. Я имею в виду возрастание русского влияния на Балканах и превращение этого угла континента практически в вассальную про-

винцию Российской империи, прямое расширение этой славянской махины за счет Богемии, Моравии, Словакии и других славянских областей, находящихся ныне под короной Габсбургов, захват Петербургом Босфора, Дарданелл и выход русского военного флота в колыбель европейской цивилизации — Средиземное море — со всеми вытекающими из этого последствиями...

— Еще опаснее, если Россия осуществит эти цели без войны! — перебил довольно невежливо своего премьера морской министр. — А потом — России вовсе не обязательно овладевать Персией. Сделает она ее своим прочным союзником, и вся великая и могучая Британская империя — со всеми нашими жемчужинами — превратится в разрезанный надвое организм! Нет! Любой ценой мы должны именно сейчас столкнуть Россию с Центральными державами, ослабить их до такой степени, чтобы они и подумать впредь не могли о каком-то ущемлении британских интересов!..

Над головами игроков просвистел, словно пуля, мяч.

— Итак, джентльмены! Мы все — за немедленную и спасительную для британских интересов европейскую войну! — резюмировал появившийся вслед за своим мячом сэр Эдуард Грей. — Ну что ж! Наша дипломатия готова приложить к этому все усилия...

— Что касается британского флота, то я отменяю ежегодные маневры и приказываю провести пробную мобилизацию, в ходе которой Гран-Флит придет в боевую готовность!..

— А я, джентльмены, буду молить бога простить мне мои прегрешения, если они есть! — с постной миной завершил политическую часть беседы премьер.

Партнеры перешли на более легкомысленные темы, энергичнее заработали ногами и клюшками. Белые мячи полетели к лункам. Чисто английский уик-энд принял обычные традиционные формы. С войной было уже решено.

СЕВЕРНОЕ МОРЕ, ИЮЛЬ 1914 ГОДА

Повелитель Германской империи, кайзер Вильгельм при всей немецкой личной экономности и бережливости тратил большие государственные деньги на придание особого блеска своему двору. Двор должен был потрясать правителей и министров чужих стран могуществом и ве-

личием императора, олицетворенными в пышной символике Белого зала берлинского Шлосса, многочисленностью челяди и роскошью. Тем более следовало подавлять врагов роскошью, что все это делалось на налоги с тех самых подданных, которые имели наглость голосовать на выборах в рейхстаг за социал-демократических депутатов...

Каждый день двора был похож на праздник, наполненный яркими красками и пышными эффектами. Но бедному кайзеру все быстро приедалось. Он пытался утолять свою жажду внешних эффектов и популярности во время путешествий или торжественных выездов, когда толпы народа глазели на него, как на циркового слона, водимого по улице, приветствовали криками и всеобщим энтузиазмом. Он старался много путешествовать, искал внимания своих родственников-монархов, но надо было когда-то и отдыхать.

Лучше всего он чувствовал себя на борту любимой яхты «Гогенцоллерн». Ритмичный стук судового двигателя словно баюкал императора германцев, плеск воды о борта на якорных стоянках успокаивал расшатанную политикой нервную систему, а морской ветер, напоенный солью и свежестью, всегда немного кружил ему голову. Курсы плаваний «Гогенцоллерна» под штандартом отдыхающего императора были довольно однообразны — норвежские фиорды Северного моря или солнечная весенняя Адриатика, где Вильгельм приобрел остров Корфу и выстроил на вершине горы дворец с просторными солнечными залами.

Июльский маршрут 1914 года не должен был отличаться от обычного и вызывать чьи-либо подозрения. Нельзя было также далеко уходить от главных сил германского флота в преддверии войны. «Гогенцоллерну» предстояло крейсировать в Северное море.

Днем 6 июля императорский поезд прибыл в Вильгельмсгафен.

Рапорт и приветствие не заняли много времени. По красной ковровой дорожке Вильгельм приблизился к трапу «Гогенцоллерна», пригласив адмиралов следовать за ним.

Хозяин и гости прошли на императорскую палубу. Пока ее величество в сопровождении двух любимых фрейлин переходила из вагона на корабль, император провел небольшой военный совет.

— Господа, в силу важной дипломатической необходимости я отправляюсь в путешествие по фиордам Норвегии. Однако прошу иметь в виду, что вскоре в империи будет объявлено Кригсгефарцуштанд *. Мы должны быть готовы начать борьбу с легкомысленными французами и коварной нацией обманщиков — Англией. Привести в боевую готовность флот открытого моря и вспомогательные эскадры... — Кайзер повернулся к начальнику Адмиралштаба Полю и взволнованно продолжал отдавать команды: — Предупредите адмиралов Сушона в Средиземном море и Шпее в Китае, что обстановка внушает тревогу. Однако в их распоряжении до начала войны остается примерно три недели, и они смогут принять меры предосторожности... Вам всем, господа, надлежит проверить готовность секретных баз в уединенных пунктах нейтральных стран по приему наших крейсеров и снабжению их топливом и боезапасом.

Вильгельм был словно в экстазе, волнение не оставляло его уже несколько дней, и слушатели это чувствовали. Нервность императора понемногу передалась морякам, они начинали осознавать важность предстоящих дней, ради которых император и фон Тирпиц работали долгие годы, вынося критику левых в рейхстаге, добиваясь новых ассигнований на военно-морской флот, форсируя строительство его боевых сил и военно-морских баз...

Император между тем продолжал набрасывать основы стратегии германского флота, построенные на том бесспорном факте, что для разгрома Франции потребуется всего три-четыре недели. Вслед за падением Парижа сухопутная армия должна будет передислоцироваться против России и разгромить этого союзника Франции. Военно-морская мощь Германии будет значительно усилена за счет первоклассных судов русского флота, взятых в контрибуцию, и обрушится со всей тевтонской силой на этих британских мерзавцев! Теперь или никогда!..

Адмиралы, потрясенные приближением исторического момента, покинули борт яхты и, стоя на пирсе, ждали, когда «Гогенцоллерн» отвалит. Вильгельм подошел к леерам.

Кайзер опирался правой рукой на поручень, его усы грозно топорщились, и он мысленно представил себя на боевом мостике флагманского линкора, добивавшего ог-

* Состояние военной опасности.

нем орудий главного калибра жалкие остатки британского флота. Необыкновенное воодушевление, угнездившееся в его душе после получения известия об убийстве эрцгерцога, несло его, словно по воздуху.

«Гогенцоллерн» проходил мимо стоящих на бочках дредноутов и крейсеров, с выстроенными на палубах четкими линейками матросов. Над рейдом неслись звуки оркестров, грозные крупповские орудия подняли свои жерла. Скоро они пошлют тонны металла и взрывчатки не против дощатых мишеней, а в живую плоть и кровь британского флота, прикрытую серой броней.

Еще долго после того, как «Гогенцоллерн» с эскортирующими его миноносцами проследовал плавучий маяк «Везер» и остались далеко за кормой неприступные береговые батареи острова Гельголанд, кайзер мысленным взором обращался к стройной линии боевых кораблей, его любимого детища и честолюбивой надежды.

Волнение не оставляло императора все три недели, которые он провел на борту яхты в норвежских фиордах. Оно выливалось в резолюциях, которыми Гогенцоллерн испещрял поля телеграфных докладов, поступавших к нему с Вильгельмштрассе.

...Мирно синеет вода в фиорде. В ее глади отражаются скалы и сосны на них. Редкие белые облака проплывают над горами и морем. На берегу — домики, крашенные охрой, с белыми оконными переплетами и дверями, пузатые парусники рыбаков у причалов, белая строгая церковь. Это мирная Норвегия...

На письменный стол перед кайзером флаг-офицер кладет доклад германского посланника в Вене. Старый дипломат начал его словами: «Я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы спокойно, но настойчиво и серьезно предостерегать от необдуманных шагов...»

В бешенстве дернулся в кресле Вильгельм. Его рука, вспарывая стальным пером бумагу, чертит: «Кто его на это уполномочил? Это глупо! Это вовсе не его дело!.. Если дела потом пойдут неладно, будут говорить, что Германия не захотела! Пусть Чиршки изволит бросить эти глупости. С сербами нужно покончить, и чем скорее, тем лучше».

...Пейзаж, дышащий миром, звон колокола сельской церковки, призывающий прихожан на молитву, не смягчают горевшее огнем войны сердце кайзера...

Флаг-офицер подает императору сообщение из Вены о

предполагавшемся предъявлении Сербии чрезвычайно тяжелых, почти невыполнимых требований. Но шифровка заканчивалась словами: «Если сербы согласятся выполнить все предъявляемые требования, то такой исход будет крайне не по душе графу Берхтгольду, и он раздумывает над тем, какие еще поставить условия, которые оказались бы для Сербии совершенно неприемлемыми».

Вильгельм возмущен малодушным предположением. Он пишет на полях: «Очистить Санджак! Тогда сразу произойдет свалка! Австрия немедленно должна вернуть его себе, чтобы предотвратить возможность объединения Сербии с Черногорией и отрезать сербов от моря!»

...Император получает сообщение, что премьер одной из двух частей Австро-Венгрии — граф Тисса — призывает к сдержанности и осторожности. Кайзер мгновенно взрывается резолюцией: «Это по отношению к убийцам-то? После того, что случилось? Бессмыслица!» Чуть ниже приписывает: «Я против военных советов и совещаний. В них всегда одерживает верх трусливое большинство». Телеграф уносит его резолюции послам и министрам для сведения и руководства к действию...

20 июля начальник морского кабинета адмирал Мюллер получает указание кайзера доверительно сообщить директорам крупных германских судоходных компаний о возможности военных осложнений через пару дней и о необходимости вывода в связи с этим всех германских торговых судов из будущих вражеских портов, дабы противник не захватил их в качестве призов. Еще только 20 июля!

В эти же дни он отдает приказ о скрытном проведении мобилизационных мероприятий, в том числе и о возвращении флота открытого моря с учений. Канцлер Бетман делает попытку по телеграфу предостеречь императора, но получает ответ: «Неслыханное предложение! Прямо невероятное!.. Штатский канцлер до сих пор не оценил положение!»

На следующий день Бетман вновь хлопочет против слишком поспешной мобилизации, настаивает на сохранении спокойствия. «Спокойствие — это долг мирных граждан! — отвечает ему Вильгельм. — Спокойная мобилизация — вот так новое изобретение!»

Большими шагами меряет император тиковую палубу «Гогенцоллерна». Он даже не может спать, по своему обыкновению, после обеда. Офицеры яхты и миноносцев

по очереди делают ему поздно вечером доклады о выдающихся морских сражениях. При этом особенно важным считается так препарировать историю, чтобы британский флот во всех случаях демонстрировал свои недостатки. Только это немного успокаивает императора, и он спокойно отходит ко сну...

Наконец, терпение его иссякло, он приказывает взять курс на Вильгельмсгафен. Повелитель возвращается в свою столицу, чтобы из берлинского Шлосса руководить последними приготовлениями народа и армии к долгожданной войне.

ПОТСДАМ, ИЮЛЬ 1914 ГОДА

Вильгельм совершал утренний моцион верхом по парку Сансуси. Крупной рысью шел спокойный любимый конь императора Солдат. Чуть сзади держался принц Генрих Прусский, только что вернувшийся из Англии, где он встречался с королем Георгом Пятым.

«Сколько он еще будет так мчаться, — думал Генрих. — Ведь не станешь самые конфиденциальные вещи выкрикивать на скаку...»

Адъютанты обоих братьев держались чуть поодаль. Утро было жарким, принц Генрих быстро утомился, но кайзер все стремился вперед.

Наконец они подъехали к картинной галерее и, спасаясь от солнца, вошли внутрь. Кайзер Германской империи обожал живопись. Когда он хотел отдохнуть или умерить свое волнение, поднятое политическими врагами — внешними или внутренними, — всегда обращался к коллекции, собранной его предками — королями и курфюрстами.

Все эти дни он был на пределе нормального состояния. Необыкновенное возбуждение не покидало его с той поры, когда был убит Франц-Фердинанд. Даже путешествие на «Гогенцоллерне» в норвежские фиорды, обычно умиротворявшее его, не принесло на этот раз никакого успокоения.

Сегодня, когда он ждал доклада принца Генриха о его пребывании в Англии, Вильгельм настолько разволновался с утра, что не мог принимать брата в кабинете, а решил поговорить с ним здесь, в картинной галерее, среди полотен великих мастеров.

— Мой дорогой Генрих, насколько успешной была твоя

миссия? — задал первый вопрос Вильгельм. Он остановился у полотна Рубенса «Святой Иероним» и сделал вид, что его очень интересует картина. На самом деле он ничего не видел, а был весь обращен в слух.

— Вилли, я много раз беседовал с нашим послом в Лондоне Лихновским... — начал принц. — Он каждый день встречался с Греем, и тот всячески подчеркивал, что пока дело идет о локализованном столкновении между Австрией и Сербией, Англии это не касается...

— И это все?! — нетерпеливо рявкнул император. — Что ты никак не можешь подойти к сути — вступит Англия в войну или не вступит, если мы нападем на Францию и Россию? — рассердился император. — Это главный вопрос, от которого зависит — быть или не быть войне сейчас. Я не могу рисковать против объединенной коалиции Франции, России и Англии, хотя бы в первые два месяца. Самое главное — полезут англичане в драку сразу или, как обычно, будут выжидать — чья возьмет?

— Я могу тебе только сказать, что Грей дословно заявил Лихновскому следующее...

Принц Генрих достал из внутреннего кармана маленькую записную книжку и зачитал:

— «Всех последствий подобной войны четырех держав — Грей совершенно недвусмысленно подчеркнул именно число «четыре»: Францию, Россию, Австро-Венгрию и Германию, — прокомментировал свои записки принц и продолжил чтение, — совершенно нельзя предвидеть».

— Что еще говорил Грей? — нетерпеливо перебил император снова.

— Лихновский докладывал, что Грей потом пустился в дурацкие рассуждения о том, что война вызовет обнищание и истощение, а возможно, и революционный взрыв. Он болтал об ущербе, который военные действия принесут мировой торговле, то есть самим англичанам, и прочий вздор... Лихновский твердо заявляет, что о возможности вмешательства в войну пятой державы — Англии — Греем не было сказано ни единого слова.

— А что мой братец Георг? — вопросил Вильгельм. — Ну, говори... — нетерпеливо подгонял кайзер.

— «Мы приложим все усилия, чтобы не быть вовлеченными в войну и остаться нейтральными». Я полностью убежден в том, что эти слова Георг сказал совершенно всерьез, как и в том, что Британия сначала действительно останется нейтральной... Но сможет ли она

долго оставаться вне схватки?.. — заключил принц. — Об этом я не могу судить.

— Фон Мольтке и не требует, чтобы Англия долго оставалась нейтральной, — буркнул Вильгельм. — Как только мы расколотим Францию и повергнем Россию, Жоржи может укладывать чемоданы и бежать в Индию, но и там мы его достанем... Вместе с Индией.

Сомнения покинули кайзера. Он круто повернулся на каблуках к адъютанту.

— Теперь за работу. Вызвать ко мне фон Мольтке, фон Тирпица, фон Ягова... Надо спешить с началом войны!

...Прошло чуть больше суток. Наступила среда, 29 июля.

Император был в отличнейшем расположении духа. Он ужинал с семьей при свечах на открытом воздухе. Цветущие розы доносили свой аромат до стола, и он мешался с запахами французской кухни и изысканных вин. Внезапно захлопали двери — кто-то быстро шел к террасе, где расположился Вильгельм, его жена, принцесса Цецилия и сыновья императора. Гофмаршал подошел к Вильгельму и склонился над его ухом.

— Ваше величество, просили передать срочную телеграмму из Лондона...

Резко отодвинув недопитый бокал с мозельским вином, кайзер встал и подошел к дверям, за которыми маячила фигура курьера. Он получил пакет, надломил сургуч и достал донесение Лихновского, только что расшифрованное в министерстве иностранных дел.

Посол сообщал, что Грей вызывал его сегодня дважды. В первый раз он не сказал германскому послу ничего существенного, а лишь продолжал говорить о посредничестве четырех держав. Через короткое время министр иностранных дел Англии пригласил Лихновского еще раз. Грей, наконец, определил момент для изложения германскому послу для передачи в Берлин своей истинной позиции: «Британское правительство желает и впредь поддерживать прежнюю дружбу с Германией и может остаться в стороне до тех пор, пока конфликт ограничивается Австрией и Россией. Но, если бы в него втянулись мы и Франция, — подчеркнул министр, — положение тотчас же изменилось бы, и британское правительство, при известных условиях, было бы вынуждено принять срочные решения. В этом случае нельзя было бы долго оставаться в стороне и выжидать...»

Прочитав текст сообщения, император покачнулся и в

гневе отбросил салфетку, с которой вышел к курьеру. Потрясая листком бумаги и сверкая глазами, он подошел к столу.

— Англия открывает свои карты в момент, когда она сочла, что мы загнаны в тупик и находимся в безвыходном положении! — гневно зарычал кайзер. — Низкая торгашеская сволочь старалась обманывать нас обедами и речами. Грубым обманом являлись адресованные мне слова короля в разговоре с Генрихом: «Мы останемся нейтральными и постараемся держаться в стороне как можно дольше». Только вчера утром мы говорили с Генрихом об Англии и все было в порядке!

Император в изнеможении опустился на свой стул.

Не стесняясь присутствия жены и дочери, а также невестки — жены кронпринца, взбешенный Вильгельм начал площадно бранить Грея и Англию.

— Мерзкий сукин сын! — неистовствовал кайзер. Внезапно он замолчал, посидел молча пяток минут, затем приказал адъютанту немедленно передать канцлеру, начальнику Большого генерального штаба фон Мольтке и морскому министру фон Тирпицу о том, что независимо от позиции Англии война будет начата, как только армия отмобилизуется.

ПЕТЕРБУРГ, ИЮЛЬ — АВГУСТ 1914 ГОДА

Небывалая жара не отпускала Петербург. Было душно, и воздух был пропитан запахом гари. Так бывает на пожаре — еще не видны грозные языки огня, пожирающие дом, но откуда-то уже потянуло терпким запахом дыма. Опасность на пороге, но люди, занятые своими делами, только подсознанием улавливают ее, и вот — заволновались и тревожно подняли головы...

В таком состоянии находилась Европа последние дни июля. В российской столице все были наэлектризованы сообщением, сделанным в прессе: «Императорское правительство внимательно следит за развитием австро-сербского конфликта, который не может оставить Россию безучастной».

На всех углах, в трактирах и ресторанах, в салонах и лавках восхваляли Францию, верили, что она не оставит Россию в беде. Одновременно поругивали англичан, не проявивших еще своего истинного отношения к кризису, потрясшему Европу. Никто не был уверен, что Аль-

бион встанет на сторону России и Франции, случись война с германцами.

В эту удушающую жару, когда даже легкие бризы с Финского залива не освежали сколько-нубудь заметно пропитанной гарью атмосферы, мало кто из чиновного и служилого мира сидел в Петербурге. Особенное движение наблюдалось лишь вокруг Дворцовой площади, где беспрестанно отворялись двери министерства иностранных дел, Генерального штаба, военного министерства. Они пропускали сновавших туда и сюда курьеров, чиновников, офицеров... Работа здесь шла даже в воскресенье.

После первого порыва, вызванного месяц назад убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда, когда разведка перешла на усиленный режим и уже смогла доставить кое-какие сведения о секретной мобилизации, проводимой Срединными империями, основные колеса механизма Генерального штаба вернулись к старому ритму вращения. Армейские офицеры находились пока в значительном числе в летнем отпуску и не ведали о серьезности положения. Только несколько генералов и полковников, умудренных опытом прошлых войн, примчались в свои части из иностранных курортов. По дороге через Германию они наблюдали приступы антирусской и антифранцузской истерии, сотрясавшие немецкую нацию.

В Главном штабе занятия снова пошли как обычно. Допоздна горели только окна отдела генерал-квартирмейстера, ведавшего иностранные армии, да канцелярии мобилизационного комитета.

Дело закипело здесь только в день объявления Австрией войны Сербии. Было получено высочайшее повеление начинать частичную мобилизацию. Государь предписал также собраться на совещание об этом акте Сазонову, Сухомлинову и Янушкевичу, а мнение глав ведомств иностранных дел, военного и Генерального штаба доложить ему по телефону в Петергоф.

Когда Сазонов пересекал от своего подъезда площадь, чтобы войти в кабинет Янушкевича, где имело быть совещание, толпа манифестантов с пением церковного гимна «Спаси, господи, люди твоя!» и с антигерманскими выкриками вваливалась через арку от Морской улицы с Невского.

Через угловой — Царский — подъезд министр прошел в кабинет генерал-лейтенанта Янушкевича. Военный министр Сухомлинов был уже там и восседал во главе длин-

ного стола, на этот раз не закрытого картами. Он был красен от возбуждения и еле дождался, когда Сазонов усядется, чтобы начать речь.

— Разве мы можем, хотя и временно, ограничиваться частичной мобилизацией?! — поднял он руку с зажатым в ней царским приказом. — Надо доложить его величеству, что при нынешних обстоятельствах мы не имеем выбора между частичной и общей мобилизацией.

— Сергей Дмитриевич! — обратился Сухомлинов к министру. — Извольте взять на себя доклад государю о том, что частичная мобилизация не будет технически исполнимой иначе, как при непременном условии расшатывания всего механизма общей мобилизации... Мы уже были сегодня в Петергофе у его величества с начальником Генерального штаба, — кивнул он на Янушкевича, — но ничего не добились...

Военный министр тяжело вздохнул и продолжал аргументировать свое предложение о мобилизации всеобщей.

— Если бы мы сегодня ограничились мобилизацией тринадцати корпусов, назначенных действовать против Австро-Венгрии, то оказались бы бессильными перед угрозой со стороны Германии, реши она оказать поддержку Австрии в Польше и Восточной Пруссии. Германская армия пришла в движение, и если мы не примем самые неотложные меры, учитывая к тому же более длительные сроки нашей собственной мобилизации, то можем сразу же потерять Польшу...

— Мне ясно положение, — выразил свою точку зрения Сазонов. — Распорядитесь, Владимир Александрович, связать меня с Александрийским дворцом в Петергофе.

...Государь подошел к телефону в отличном настроении. Он только что искупался в заливе и ощущал приятную прохладу и свежесть. Сазонов по голосу чувствовал это настроение и был к тому же весьма убедителен. Он доложил о единодушии всех участников совещания в полной нецелесообразности частичной мобилизации. В заключение доклада он испрашивал согласия на общую.

— Соизволяю! — ответил царь. Когда Сазонов передал это Сухомлинову и Янушквичу, те едва не разразились криком «ура!». Через несколько часов мобилизационные документы, нужные для рассылки по телеграфу во все уголки империи, были главным штабом изготовлены.

Еще было светло, когда открытый мотор, в котором восседали Генерального штаба полковник Добророльский, главный делопроизводитель мобилизационного комитета и его младшие чины, промчался мимо Александровского сада, напрямую пересек Исаакиевскую площадь и вторгся в Почтамтскую улицу.

Городовой, стоявший возле Главной телеграфной станции, взял под козырек. Полковник Добророльский, важно прижимая к себе черный сафьяновый портфель, в сопровождении двух офицеров проследовал через весь огромный зал в кабинет управляющего. Тот, вызванный заблаговременно с дачи, догадывался о важности задачи, которую предстояло выполнить сегодня его телеграфистам.

Полковник Добророльский открыл портфель и вынул из него предписание управляющему, подписанное согласно законам империи министрами военным, морским и внутренних дел.

Стоя управляющий принял твердой рукой столь важный лист бумаги и стал разбирать подписи министров. Вдруг резко зазвонил телефон.

— У аппарата начальник Генерального штаба Янушкевич! — раздался в наушнике громкий озабоченный голос. — Немедленно передайте господину полковнику Добророльскому, что государь повелел приостановить общую мобилизацию!

Сазонов впал в тихое бешенство, когда узнал от Янушкевича, что Николай Александрович отменил общую мобилизацию российской армии. Министр всю ночь ходил большими шагами по своей огромной казенной квартире и никак не мог составить убедительную речь, с которой надлежит завтра же поутру обратиться к монарху. Ведь не скажешь ему всю истинную правду о том, что Палеолог и слышать не хочет о возможности замирения, что он, министр, слишком заангажирован французами и не может сопротивляться их нажиму, даже если бы это и угрожало самому существованию империи.

С рассветом министр бросился в постель, но даже приятная прохлада накрахмаленных, тончайшего голландского полотна, простынь не умерила его волненья.

Много тяжелых дум передумал за эту ночь Сергей Дмитриевич. Он так и не сомкнул глаз. Только утро принесло ему уверенность, что все задуманное осуществится: чиновник принес сообщения телеграфных агентств о том, что австрийцы начали бомбардировку Белграда.

Спокойствие сразу же возвратилось к министру. После ванны, бритья и легкого завтрака он почувствовал себя значительно лучше. Раздался звонок. Это был Янушкевич. Он просил министра прийти к нему. Оба генерала уже пытались с утра пораньше связаться с государем и уговорить его начать всеобщую мобилизацию. Но рассерженный Николай не желал ничего слышать.

Своей обычной походкой вприпрыжку, только еще более торопливо, Сазонов, как и накануне, пересек Дворцовую площадь от крыла своего министерства до противоположного, занимаемого Главным штабом. На площади, перед Зимним дворцом, собирались в небольшие группки манифестанты, выкрикивая лозунги «Да здравствует Сербия!», «Да здравствует Франция!». Некоторые господа распаляли себя пением «Боже, царя храни!». Они почему-то думали, что царь сейчас в Зимнем готовится к войне, и надеялись на его появление в окнах или на балконе.

Сазонов не вошел, а вбежал в кабинет Янушкевича. Там уже находился, словно и не выходил от соперника, военный министр. Лысина Сухомлинова пылала от возбуждения.

Янушкевич во второй раз за день стал рассказывать вновь вошедшему, как он получил приказ царя об отмене мобилизации:

— Черт бы побрал эти новомодные телефоны, — сердито принялся он бубнить. — Не будь этой дурацкой шкатулки, я бы получил бумагу от его величества с курьером на час позже, и тогда Добророльский уже успел бы передать указ о мобилизации по телеграфу во все концы России. А теперь, как крайний срок, наша мобилизация может быть отложена только на сутки, иначе немцы нас расколотят прежде, чем мы успеем вынуть шашки из ножен...

— Государю доподлинно известно, что в Германии объявлено состояние военной опасности, а он не разрешает нам объявить указ об общей мобилизации. Якобы император Вильгельм утверждает, что «он старается всеми силами способствовать непосредственному соглашению между Австрией и Россией», — расстроенно добавил к словам начальника Генштаба Сухомлинов. — Хоть бы вы, дорогой Сергей Дмитриевич, поговорили с его величеством по телефону. Может быть, он вас послушает!

Сазонов в душе ликует, видя, что два столь разных генерала, из которых один — Сухомлинов — любимец ца-

ря, а второй, его антагонист, любимец великого князя Николая Николаевича — теперь единодушны в столь важном мнении о решении, ведущем к необходимой ему сейчас войне.

— Что же я должен сделать, ваше высокопревосходительство? — задает он вопрос Янушкевичу, ответ на который он давно знает.

— Переговорите с его величеством и убедите в немедленной необходимости общей мобилизации... Сообщите ему, что в Германии уже призван ландштурм и созданы баншутц-команды *... — скороговоркой от возбуждения выпаливает начальник Российского генерального штаба. — Скажите государю, что, по донесениям нашей разведки, немцы уже давно скрытно ведут мобилизацию, и они буквально через неделю после объявления войны могут вторгнуться в пределы Российской империи... Мы же будем беззащитны, поскольку наша собственная мобилизация рассчитана на то, что лишь через 26 дней мы соберем силы, притом — без корпусов с юго-восточных и восточных окраин империи, а полностью отмобилизуемся и подтянем войска к любой точке фронта лишь на 41-й день...

Сазонов чуть прикрыл глаза, чтобы умерить их нервный блеск. Он подумал о том, что сидят сейчас перед ним два совершенно разных человека, не относящихся к числу его друзей. В обычное время он ни за что бы не поддался их просьбам в чем-то убеждать царя. Ведь это сопряжено с серьезной опасностью утратить самому доверие его величества. Но теперь, когда назревают великие события, которые он и его старый друг Извольский так долго готовили, никак нельзя оставлять дело на волю случая. Если Вильгельм сможет убедить царя в своем миролюбии, то вдруг Николай Александрович еще откажется ввязываться в эту войну. Ведь сумел же он не попасть в расставленные ловушки во время недавних Балканских войн. А уж как французы старались втравить Россию в драку на Балканах. Ан нет! Проявил-таки свой характер Николай Романов, не поддался...

Сазонов решил немного подразнить военных. Подняв бровь, он изрек:

— А если мне удастся уговорить государя на час, а затем он передумает и снова отменит общую мобилизацию?

---

* Охрана железных дорог и других путей сообщения в военное время.

Ведь я могу пустить в ход только дипломатические аргументы, а дипломатия — вещь переменчивая: сегодня так, а завтра совсем иначе...

— Вы уговорите его величество хоть на десять минут и передайте мне его повеление о мобилизации по телефону, — быстро нашелся Янушкевич. — А затем я сломаю телефонный аппарат, уеду на Острова дышать воздухом, пока указ не передадут по телеграфу...

— Ну, господа, с богом! — поднялся министр иностранных дел и подошел к телефону. Офицер, сидевший вместо барышни на коммутаторе Генерального штаба, быстро соединил аппарат с телефоном петергофской Александрии. Царь долго не подходил к аппарату, затем Сазонов услышал далекий, знакомый, с хрипотцой и несколько растерянный голос монарха, не привыкшего говорить по телефону.

Министр доложил, что он говорит из кабинета начальника Генерального штаба. Царь прервал его вопросом:

— Что же вам угодно, Сергей Дмитриевич?

— Убедительнейше прошу вас, ваше величество, принять меня с чрезвычайным докладом еще до обеда! — поклонился телефону министр.

Николай Романов долго не отвечал. Сазонову стало казаться, что царь вообще бросил трубку, но отбоя почему-то не было. Наконец самодержец неуверенно сказал:

— Я приму вас в три часа.

ПЕТЕРГОФ, ИЮЛЬ 1914 ГОДА

Скороход императорского двора провел Сазонова к царскому кабинету маленького загородного дворца Александрия и удалился, оставив на попечение дежурного офицера охраны. Царь принял министра сейчас же, как только ему доложили.

Широкие окна кабинета, расположенного на первом этаже, были растворены по случаю жаркого дня. Из них открывался насколько хватал глаз вид на Финский залив. Несколько гравюр с военными сюжетами на стенах, два письменных стола, один из которых завален бумагами, а другой — всякого рода безделушками, кожаный глубокий диван и шесть таких же кресел составляли обстановку рабочей комнаты царя. Сазонов и раньше бывал в этом кабинете с докладами, но только сегодня он обратил внимание на простоту этой комнаты. Хозяин ее то-

же выглядел отнюдь не самодержцем всея Руси, а простым мужиком, одетым в малиновую шелковую рубаху и серые суконные брюки, заправленные в сапоги.

Большие мешки под глазами выдавали усталость и нездоровье царя, лицо его было озабоченно.

— Здравствуйте, Сергей Дмитриевич! — вежливо поздоровался Николай, отвечая на приветствие министра, и добавил: — Не будете ли вы возражать, если на нашей беседе поприсутствует генерал Татищев? Вы знаете, он состоит в свите Вильгельма как мой представитель, и ему полезно послушать, о чем мы с вами поговорим... Он завтра утром едет в Берлин...

— Ничего не имею против, ваше величество, — наклонил голову Сазонов. — Буду даже очень рад, поскольку давно имею честь знать его превосходительство! Осмелюсь только высказать сомнение, что его превосходительству удастся успеть ко двору Вильгельма до начала войны...

— Вы думаете, что уже поздно? — спросил Николай. Он был бледен.

Министр ответил утвердительно.

— Все же... — Царь позвонил, и вошел Татищев. Блестящий гвардеец был раздушен и беззаботен, как будто вся наэлектризованная атмосфера последних дней его нисколько не заботила. Он только переводил глаза с государя на министра и обратно, силясь уразуметь, почему оба проявляют столько волнения и озабоченности. Постепенно его лицо прояснилось — генерал понял, что речь идет о непосредственной военной опасности. Видимо, в Берлине, при дворе кайзера, где он исправно нес службу на балах, раутах и в попойках с прусскими офицерами, его старательно оберегали от всех серьезных разговоров и тем более военных планов.

Сазонов, волнуясь и даже слегка заикаясь, изложил государю все, что он слышал в кабинете начальника Генерального штаба, прибавив к этому новые сведения, полученные министерством иностранных дел за те два дня, что он не был у царя с докладом.

Постепенно голос Сазонова обрел силу, и он с жаром продолжал излагать царю соображения о том, что положение настолько изменилось к худшему, что более не остается никакой надежды на сохранение мира. Министр иностранных дел вкратце, но со знанием дела разделил

мнение Сухомлинова и Янушкевича об опасности отсрочки общей мобилизации.

Царь согласно кивал, слушая рассуждения Сазонова. Вместе с ним кивал и Татищев. Вдруг Николай словно спохватился.

— А как вы смотрите на это? — задал он вопрос министру, передавая ему телеграмму, полученную утром от Вильгельма и еще неизвестную Сазонову. На листе стояло:

«Если Россия мобилизуется против Австро-Венгрии, миссия посредника, которую я принял по твоей настоятельной просьбе, будет чрезвычайно затруднена, если не совсем невозможна. Вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны будут нести ответственность за войну или за мир. Вилли».

Подняв глаза от телеграммы, Сазонов удивился. Лицо царя, всегда такое спокойное и даже безразличное, сейчас выражало гнев. Видимо, Николай был крайне задет тоном своего родственника и содержанием его послания.

— Ваше величество, — обратился Сазонов к государю, комментируя телеграмму. — Военные рассказали мне, что германский Генеральный штаб и его начальник фон Мольтке настояли перед императором Вильгельмом немедленно запустить машину мобилизации на полный ход, иначе они слагают с себя полномочия... Эти совершенно точные сведения передал нам один наш офицер, находящийся сейчас в Берлине...

Николай тягостно молчал, а потом обиженно, словно ребенок, заговорил:

— Вилли требует от меня невозможного. Он забыл или не хочет признать, что австрийская мобилизация была начата раньше русской, и теперь желает прекращения нашей, не упоминая ни словом австрийскую. Вы знаете, что я уже раз задержал указ о мобилизации и затем согласился лишь на частичную. Если бы я теперь выразил согласие на требования Германии, мы стояли бы безоружными против мобилизованной Австро-Венгрии. Это безумие!

Вслед за царем словно прозрел и генерал Татищев.

— Ваше величество, а ведь Вильгельм хочет оттянуть наши мобилизационные мероприятия, а сам вовсю, наверное, мобилизует армию...

Сазонов в душе торжествовал. Он понял, что царь уже продумал и прочувствовал все то, что министр пытался ему доказать, и вполне созрел для решения, нужного во-

енным и ему, Сазонову. Сазонов ощущал также, что всему существу Николая Второго была противна идея войны с Германской империей, с Вильгельмом, да еще в союзе с республиканской Францией. Но сила обстоятельств была выше царя. Как ему ни претило столкновение с Германией, как ни жаль было ему рвать тесные узы дружбы, связывавшие его с Вильгельмом, приходилось принимать решение. Он всячески оттягивал этот момент, как дети, которые знают, что никак нельзя увильнуть от принятия горького лекарства во время болезни, но стараются отложить этот момент на потом.

Царь молчал. Он только чертил что-то на бюваре вечным золотым пером. Крупные капли пота покрывали его лоб.

Сазонов вновь заговорил о том, что телеграмма Вильгельма лжива, что германский посол граф Пурталес только вчера был у министра, и он сделал вывод, что война неизбежна, что в Берлине требуют капитуляции России перед Центральными державами, которую никогда империя не простила бы государю... Царь молчал, и мучительный процесс размышления отражался на его лице.

Наконец, отложив перо, голосом, глухим от волнения, сказал:

— Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей. Как не остановиться перед таким решением!..

Сазонов снова бросился в атаку. Он усилил нажим. Зная религиозность и даже мистицизм самодержца, он решил начать именно с этой стороны.

— Ваше величество, — начал он с жаром, — с нами бог! Вам не придется отвечать ни перед ним, ни перед историей за все кровопролитие, которое принесет с собой страшная война. Ведь она навязана России и всей Европе злой волею врагов, сил сатанинских, решивших поработить нас и союзников наших. Они хотят обречь нас на жалкое существование, зависимое от Срединных империй... Мы зажаты в тупик, из которого можем выйти только с поднятым мечом...

Николай вперил свои глаза в одну точку где-то на поверхности вод. Потом словно вздрогнул. Вздохнул и, оборотясь к Сазонову, сказал, с трудом выговаривая слова:

— Вы правы... Нам ничего другого не остается делать, как ожидать нападения неприятеля. Передайте начальнику Генерального штаба мое повеление о мобилизации.

Сазонов тут же встал и без всяких церемоний пошел в

соседнюю комнату, где у адъютанта он заметил телефонный аппарат. Петербург включился сразу.

— Николай Николаевич! — сказал Сазонов Янушкевичу. — Его величество милостиво повелеть соизволил об общей мобилизации! Как вы меня слышите?

— Спасибо, Сергей Дмитриевич! — отозвался генерал. — Мой телефон испортился!..

БЕРЛИН — ЛЕЙПЦИГ — КАРЛСБАД, ИЮЛЬ 1914 ГОДА

Соколов много раз ездил в негласные командировки за границу, и всегда все проходило гладко. Но эта поездка начиналась с полупровала. В Эйдкунене, на германской пограничной станции, где происходила пересадка из вагонов широкой русской колеи «Норд-экспресса» в более миниатюрные вагоны того же экспресса, но стоящие на европейской колее, начались первые неприятности.

Германский чиновник пограничной стражи, возвращая Алексею его паспорт, был особенно предупредителен и козырял совсем по-военному. Сразу после этого таможенник так тщательно перетряхивал небольшой багаж Соколова, словно искал в нем что-то особенное.

В довершение столь пристального внимания, когда Соколов открыл свой паспорт, едва поезд тронулся из Эйдкунена, он увидел под описанием собственных примет еле заметную надпись тоненьким карандашом: «Полковник русского Генерального штаба».

«Что это? Либо тот общеизвестный факт, что он, Соколов, «стоит» на картотеке германских пограничных властей? Или о нем поступило специальное сообщение в Эйдкунен от германской агентуры из Петербурга? И случайно ли осталась надпись в паспорте нестертой? Может быть, ему хотели дать понять таким образом, что бесполезно что-либо предпринимать в Германии?» Обо всем этом следовало поразмыслить.

Ведь намеченная встреча в Лейпциге грозила смертельной опасностью человеку, который до сих пор не был на подозрении у контрразведчиков Германии. Но если не будет встречи, то с какими документами отправится Соколов дальше, в Карлсбад и Прагу, а может быть, и Вену, если потребуется встретиться с Гавличеком, не создавая ему неудобств отъезда из столицы Австрии? Ведь по срочности командировки не было возможности подготовить

запасной вариант. Стоя у окна своего купе и погасив в нем свет, чтобы даже в сумерках и ночью видеть военные приготовления на хорошо освещенных германских станциях, Алексей решил дать коллегам в Петербург шифрованную телеграмму через военного агента в Берлине, при пересадке на Лейпциг, о том, чтобы ему выслали новые документы в Штутгарт, в русскую миссию при дворе вюртембергского короля Вильгельма.

Германская империя состояла из союзных государств и княжеств, во многих из которых оставались еще традиционные посольства и миссии, как до объединения Бисмарком германского государства под владычеством Пруссии. Такие дипломатические представительства России существовали, помимо Штутгарта, в Мюнхене, Дармштадте, Дрездене, Карлсруэ, Веймаре и Гамбурге. Соколов остановился на столице Вюртемберга потому, что был хорошо знаком с тамошним российским посланником Сергеем Александровичем Лермонтовым, переведенным туда из Мадрида, где он был первым секретарем посольства.

Выходя в Берлине из поезда под высокие своды Силезского вокзала, Алексей без труда обнаружил за собой слежку, но дразнить контрразведку не стал, поскольку ничем предосудительным в столице империи не собирался заниматься. Он взял такси и отправился на Унтер-ден-Линден, где в великолепном здании российского императорского посольства военный агент полковник Базаров располагал конторским помещением.

С Базаровым полковник засиделся до глубокой ночи. Сначала они подготовили и отправили телеграмму с наблюдениями Соколова по дороге. Запрашивать новые документы Соколову не потребовалось, так как в сейфе русского разведчика в Берлине хранился фальшивый паспорт, приготовленный для одного из его агентов, внешне похожего на Алексея. Спокойный и даже внешне флегматичный Павел Александрович рассудил, что он истребует из Петербурга новый документ, а паспорт швейцарца — торговца хронометрами Ланга вручил Соколову.

На полутемных улицах ночного Берлина, пока шли от пивной «Флюгге», где поужинали, до Унтер-ден-Линден, вдали от любознательных ушей официантов договорились о том, что Соколов по приезде на книжную ярмарку в Лейпциг, что являлось официальной целью его визита, отдаст свой российский паспорт в полицейский президиум города для регистрации, как и полагается.

Паспортом, конечно, придется пожертвовать, но зато Соколов выиграет пару дней, когда его будут искать не очень активно. Он сможет уйти далеко.

Полковник решил еще раз сымпровизировать план достижения Австро-Венгрии, не тратить время на Швейцарию и явиться в Карлсбад, на встречу со Стечишиным, со своим фальшивым швейцарским паспортом. Он рассчитал, что в пик курортного сезона здесь будет столько иностранцев из враждебных Австрии стран, что полиция не обратит внимания на швейцарца с «больным желудком».

Переезд австро-германской границы сошел благополучно. С чемоданом вновь приобретенного платья и с «образцами» часовой продукции разведчик очутился в милом австрийском городке Зальцбурге. Отсюда, из столицы одной из провинций Дунайской монархии, его путь лежал на север, в Карлсбад, где должна была состояться встреча с директором большой нелегальной разведывательной организации русского Генерального штаба Филимоном Стечишиным. Он прибыл в Карлсбад на третий день вечером, когда до назначенного времени свидания оставалась еще целая неделя.

Алексей остановился в недорогом пансионате «Алиса», соответствовавшем его положению, уплатил хозяину за 26 дней вперед, словно собирался именно столько времени наполнять свои внутренности исключительно полезной, но отвратительной на вкус водой. На этом космополитическом курорте никого не заинтересовал пока коммерсант-швейцарец, ведущий себя в точности так, как должен это делать добропорядочный буржуа.

Однажды он со скуки рискнул раскошелиться. Вопреки легенде, по которой слыл небогатым торговцем, «Ланг» взял извозчика, с которым объехал окрестности. Больше всего ему понравился микроскопический городишко Эльбоген (Локет), расположенный в дюжине верст от Карлсбада. Он пообедал в гостинице «Белый конь», где ему торжественно сообщили, что здесь останавливался сам господин министр Иоганн Вольфганг Гёте и обедал вон за тем столиком в углу.

От колодца на единственной рыночной площади городка начиналась улица куда-то вверх, на гору, к замку. У прохожего Соколов спросил, кому принадлежит это живописное гнездо, но получил ответ, исключающий шутливость. Оказалось, что в неприступном замке на верхушке

скалы помещается тюрьма для особенно опасных государственных преступников империи. Полковник содрогнулся. С тяжелым чувством погрузился он в коляску своего извозчика, приказав везти его назад, в Карлсбад.

...Время встречи с Филимоном приближалось. Она была назначена в трактире близлежащей деревни Пиркенхаммер, куда кургасты частенько ходили, для разнообразия, обедать.

Рано утром Соколов кружным путем отправился к месту встречи. Он тщательно проверился на этот раз и, выходя к трактиру на деревенской площади, положил в левый карман карлсбадскую газету «Бадеблатт» в знак того, что все в порядке. Он нашел свободный столик на открытой террасе трактира, откуда во все стороны было хорошо видно, заказал пльзенское пиво и стал дожидаться Стечишина.

Ровно в четыре, как было условлено, через площадь от омнибуса перешел полный краснолицый господин с седыми волосами, веселыми глазами и довольно острым носом. Новый гость для видимости попросил официанта узнать у молодого приятного господина, не позволит ли он занять свободное место за его столиком, а затем с независимым видом уселся и поздоровался с Алексеем.

Соколов незаметно сунул клочок бумаги Стечишину, где нарисовал путь к густым зарослям на склоне горы в версте от деревушки. Там он собирался продолжить встречу. Филимон все понял. Тогда Алексей расплатился и вышел.

Стечишин не заставил себя долго ждать. Он явился, прихватив с собой корзинку, наполненную в трактире напитками и закусками. На полянке среди густого кустарника, невидимые ни для кого, но зато отлично просматривающие все вокруг, встретились два друга и соратника. Они обнялись и поцеловались по славянскому обычаю.

Затем устроились поудобнее, так, чтобы у каждого был свой сектор обзора, и принялись обсуждать складывающееся положение. А оно день ото дня накалялось. В австрийской и германской прессе звучали все более воинственные ноты. Стечишин сообщил, что идет скрытная мобилизация австро-венгерской императорской и королевской армий. Самой интересной новостью для Соколова явилось, пожалуй, то, что 7 июля в Вене состоялось заседание Совета министров дуалистической монархии, на котором королевский венгерский председатель Совета мини-

стров граф Тисса категорически возражал против войны с Сербией и Россией.

Стечишин рассказал, что до сих пор, до середины июля венцам не удалось убедить строптивого руководителя. Причина сопротивления Тиссы, как предполагал Филимон, заключалась в том, что граф в случае победы опасался аннексии славянских областей, которые, по мысли эрцгерцога, должны были все вместе сделать монархию триалистической. В таком случае Венгрия потеряла бы все свои особые права и возможности влиять на политику Вены. При поражении в войне, о котором Тисса, по сведениям Стечишина, также задумывался, старую Габсбургскую монархию ожидала гибель...

Разведчики подробно обсудили способы связи с Россией на случай войны. Соколов продиктовал соратнику адреса в Швейцарии и Голландии, которые, видимо, останутся нейтральными в войне, дал массу практических советов по конспирации. Он вручил Стечишину несколько ампул с симпатическими чернилами, проинструктировал, как ими пользоваться. Словом, профессиональная конференция прошла по полной программе.

В категорических выражениях Филимон отговорил Алексея встречаться с профессором Массариком и доктором Бенешем, которые неплохо помогали его группе, добывая исключительную по ценности информацию из верхов империи. Веским аргументом Стечишина было то, что в шовинистическом угаре, охватившем венские круги и их администрацию в Праге, за обоими деятелями было установлено усиленное наблюдение. Даже краткая встреча с ними немедленно повлекла бы за собой арест смельчака и не принесла бы никакой пользы.

— Не беспокойся, Алекс! — завершил свои уговоры Филимон. — Наши люди найдут способ связаться с ними и передадут твои вопросы и пожелания...

Соколов согласился. Гораздо важнее была для него встреча с начальником оперативного отдела императорского и королевского Генерального штаба полковником Гавличеком. Правая рука Конрада фон Гетцендорфа, он, как выяснилось, никуда не мог отлучиться из Вены по случаю объявленного среди офицеров «состояния военной опасности». В Вене бушевали шовинистические страсти, крикливые демонстрации под окнами дворца нарушали покой немощного и усталого императора. Со дня на день ожидали начала бомбардировки Белграда австрийской ар-

тиллерией. Стечишин посоветовал Соколову спешить прямо в Вену, пока военные строгости не сделали границы непроходимыми. Он обещал помочь, если нужно, документами, которыми его группа располагала в необходимых количествах.

Условились о связи на то время, какое Соколов будет находиться на территории Дунайской империи. Время, отведенное для встречи, истекало.

— Свидимся ли мы с тобой когда-нибудь еще, брат ты мой? — дрогнул голос Филимона, и слеза блеснула в уголке его глаза. Он весь как-то сгорбился и не казался уж таким представительным и самоуверенным, каким увидел его Соколов пару часов назад у трактира. — Доживу ли я до конца этой большой войны, которая вот-вот разразится?.. И что она нам принесет?..

— Свободу! — решительно утвердил Соколов. — Такую победу славянства, какой еще не знал мир! Береги себя, Филимон!

ПЕТЕРБУРГ, 31 ИЮЛЯ 1914 ГОДА

...Российский министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов отужинал и решил еще поработать. Следовало привести в порядок последние бумаги, дабы будущие историки могли возложить всю тяжесть вины за развязывание страшной войны на германцев. То, что война будет страшной, не вызывало никакого сомнения у господина министра.

Министр бегло просматривал документы и раскладывал их в определенной последовательности. На некоторых из них он писал резолюции, кому следовало передать бумаги для дальнейшей работы.

Старинные напольные часы красного дерева с бронзой в углу министерского кабинета мелодично отзвонили одиннадцать. Сазонов решил складывать все депеши в свой сейф и поднялся было с кресла, но вошел секретарь и доложил, что германский посол граф Пурталес просит встречи.

«Вот оно, предъявление ультиматума, — удовлетворенно подумал министр. — Ура, Вильгельм решил стать виновником войны».

— Приглашайте посла! — приказывает Сазонов.

Граф Пурталес является тотчас, словно стоит за дверью. Он почти бегом приближается к столу министра.

Обычно подтянутый и благообразный, граф, с белесыми, кроткими глазами, милой улыбкой, полускрытой в седой бородке клинышком и аккуратно подстриженных усах, с нимбом седых волос на полулысой продолговатой голове теперь хочет изобразить гнев и возмущение, полагающиеся ему по сценарию, присланному из Берлина вместе с текстом ультиматума. Но ему плохо удается это, поскольку он всегда искренне и сердечно дружил с Сазоновым, с петербургским светом, где его любили и уважали.

Его «грозный» вид скорее похож на растерянность, в глазах посла стоят слезы, но он пытается говорить твердым голосом.

— Господин министр! — заявляет он. — Я уполномочен моим правительством потребовать от России прекращения всех ее мобилизационных мер как на германской, так и на австро-венгерской границах!.. Если российская мобилизация не будет прервана, то вся германская армия мобилизуется!..

Посол подчеркнуто смотрит на часы. На них половина двенадцатого.

— Срок истекает ровно через двенадцать часов!

Как будто свалив тяжелую ношу, посол преображается. Из напыщенного, играющего в твердость посланника Германской империи он превращается в растерянного и жалкого старика.

— Согласитесь на демобилизацию! Согласитесь на демобилизацию! Согласитесь на демобилизацию!.. — бормочет он дребезжащим от волнения голосом и умоляюще смотрит на Сазонова.

Сазонов, которого перед приходом посла почти одолела нервная дрожь, теперь совершенно успокоился. Он твердо отвечает графу Пурталесу:

— Господин министр! Я могу лишь подтвердить то, что сказал вам сегодня его величество император Николай Второй. Пока останется хоть один шанс на предотвращение войны, пока могут быть продолжены переговоры с Австрией, Россия не будет нападать. Однако нам технически невозможно демобилизовать армию, не расстраивая всю военную организацию. Законность этого соображения не может оспаривать даже ваш генштаб!..

Пурталес делает жест отчаяния.

— Согласитесь на демобилизацию! — как заклятие произносит он.

Сазонов холодно смотрит на посла. Пурталес поворачивается и шаркающей походкой слабого человека уходит.

ВЕНА, ИЮЛЬ 1914 ГОДА

...Вена еще веселилась. Только на Бург-ринге, в районе императорского дворца Хофбург, собирались патриотические демонстрации, по преимуществу из студентов и господ в котелках, которые явно смахивали на полицейских агентов.

Полны были рестораны и кафе, кондитерские и пивоварни, винные подвальчики и открытые кофейни в парках. Единственно, что отличало Вену тех предвоенных дней от обычной, мирной столицы — это особое почтение к офицерам.

Соколов встал на постой в отеле «Вандль» на Петерсплац, в самом центре Внутреннего города. На всякий случай он не стал искать связи с Гавличеком в первый же день своего пребывания в Вене, а отложил это до тех пор, пока не закончатся проверки гласные и негласные. А что будут и негласные — полковник не сомневался. Он хорошо знал коварство и рвение Максимилиана Ронге, возглавившего Эвиденцбюро после Урбанского. «Макс не упустит случая присмотреть за новым иностранцем в разгар международного кризиса», — думал Алексей.

На венских улицах «часовщик Ланг» чрезвычайно осторожно проверял, нет ли за ним слежки, дважды ее обнаруживал и тогда утраивал осторожность. Наконец он рискнул бросить открытку с условным текстом полковнику Гавличеку на его домашний адрес. Алексей вызывал его на встречу в знакомое место у вершины холма Константина в парке Пратер.

Гавличек пришел на встречу очень взволнованный.

— Завтра мы начнем бомбардировку Белграда из тяжелых орудий... — сказал он Соколову вместо приветствия, хотя они давно не виделись.

— Значит, начинается большая война! — ответил ему Алексей. — Вот, Петер, и стали мы врагами!

— Я не Петер, а Петр! — обиделся Гавличек. — Неужели ты серьезно можешь так подумать?!

— Что ты, брат мой! — обнял его Алексей.

Офицеры стояли на небольшой полянке, среди пышных кустов боярышника. Здесь они встречались три года тому назад, когда Соколов приезжал проведать Гавличека.

Под сенью боярышника стояла чугунная скамья, на которую сели Петр и Алексей.

— Мне надо с тобой о многом поговорить! — сказал Алексей. — Каким временем ты располагаешь?

— Сегодня — четвертью часа... — озабоченно ответил Гавличек. — Ведь завтра начинается война, притом с нападением нашей армии на слабых сербов. Это будет прелюдия к общеевропейскому столкновению... Конрад фон Гетцендорф уговорил престарелого императора начинать... И тот наконец дал согласие... Гораздо хуже складывается положение в Венгрии: граф Тисса, хотя формально и согласился с необходимостью выступать в поход, но не отдал об этом приказа. Из-за этого я сегодня должен выехать в Будапешт и вести переговоры с командованием Гонведа о совместных действиях... В ближайшие дни мне придется быть в Будапеште.

Видя огорченное лицо Соколова и понимая, что подробный разговор крайне необходим и ему, Гавличек поразмыслил и с надеждой сказал:

— Послушай, Алекс! Может быть, ты сочтешь возможным выехать в Будапешт, и мы там с тобой без помех переговорим?.. Я имею в виду, что контрразведка мадьяр работает гораздо слабее австрийской и без тесного контакта с германской. Дело еще и в том, что в Венгрии есть мощные силы, которые не хотят вступать в войну с Россией и притормаживают патриотические демонстрации. Впрочем, как ты можешь видеть в Вене — здесь тоже не очень радуются большой схватке. Государственной полиции приходится изображать энтузиазм своим наличным составом, переодетым в штатское!

— Хорошо, Петр! — сказал Соколов. — Завтра я тоже выезжаю в Будапешт. В какой гостинице ты остановишься?

— Скорее всего в «Отель д'Юроп», напротив висячего моста через Дунай...

— Тогда я поищу себе номер на другой стороне — в Офене... — предложил Соколов, назвав старинный мадьярский город Буду его немецким именем, употребляемым на австрийских военных картах.

ПЕТЕРБУРГ, 1 АВГУСТА 1914 ГОДА

Субботний присутственный день чиновного Петербурга уже заканчивался, но германской ноты, подводящей

черту под ультиматумом, предъявленным вчера, еще не было.

Только к вечеру Сазонову доложили, что граф Пурталес вновь требует встречи. Министр понял, что решающий час наступил. Сергей Дмитриевич перекрестился на маленький образок, прежде чем выйти из комнат своей казенной квартиры в здании министерства и перейти в официальный кабинет.

Граф Пурталес был бледен как мел, его глаза распухли от слез, которые он тщательно скрывал даже от жены. Сазонову показалось, что Пурталеса слегка пошатывало, и он пожалел бедного старика.

Несколько мучительных мгновений истекли, прежде чем посол смог справиться со своим волнением и, выпрямившись, довольно твердым голосом спросить министра:

— Намерено ли российское императорское правительство дать благоприятный ответ на ноту германского императорского правительства от 31 августа сего года, настаивавшую на прекращении мобилизации русской армии?

Сазонов молчал. Он вдруг воочию увидел гигантскую пропасть, вырытую не без его собственного участия, в которую готовы провалиться целые страны и народы, если он сейчас отрицательно ответит на вопрос посла Германской империи. У министра захватило дух, и он почувствовал спазм в горле.

Пурталес истолковал молчание Сазонова по-своему. Уже с некоторой надеждой в голосе он повторил вопрос, стараясь придать словам более мягкое выражение.

Сазонов собрал всю силу воли, чтобы преодолеть слабость. Горло отпустило, и министр твердо ответил:

— Нет!

В третий раз посол задает свой вопрос и, получив столь же твердое: «Нет! Вы проводите преступную политику», медленно снимает белую лайковую перчатку с правой руки, извлекает из внутреннего кармана расшитого золотом мундира конверт из плотной белой бумаги с печатями, украшенными германским гербом, и торжественно, словно делая салют шпагой, передает его Сазонову.

Оба понимают, что момент передачи конверта с объявлением войны сам по себе не отворит реки крови. Она начнет литься лишь тогда, когда две военные машины столкнутся, когда войска войдут в соприкосновение. Два старых человека понимают, что очень многое их связывало лично и будет продолжать связывать, несмотря ни

на что. Но символика акта такова, что оба вздрогнули, как от удара электрическим током, когда белый конверт перешел из руки посла в руку министра.

Сазонов не может не отреагировать «для истории». Он повторяет:

— Вы совершаете преступное дело!

— Мы защищаем нашу честь! — с дрожью в голосе говорит посол. Он крайне расстроен.

Сазонов открывает конверт и начинает читать текст ноты с объявлением войны. Нота коротка, и ему бросается в глаза последняя самая существенная фраза: «Его величество германский император, мой августейший монарх, от имени империи принимает вызов и считает себя в состоянии войны с Россией!»

Перейдя к вводной части, министр видит вдруг там, в скобках, два варианта формулировок. Изумлению Сазонова нет предела. Ведь небрежность переписчиков этого документа с бланка телеграммы из Берлина делает ноту не столько документом, творящим историю, сколько посмешищем посольство, выпустившее ее в таком виде.

Сазонов зачитывает вслух эти два варианта:

— Россия, отказавшись воздать должное... Далее в скобках: не считая нужным ответить... Россия, обнаружив этим отказом... а в скобках — этим положением...

Затем министр в упор смотрит на посла и удивленно поднимает одну бровь.

Пурталес сам поражен и не может сказать ни слова. Он то краснеет, то бледнеет, и в глазах его начинают блестеть слезы.

Сазонов заканчивает чтение и торжественно изрекает:

— Вы могли одним словом предотвратить войну, но вы не хотите этого! Помните, что существует божественное провидение, и оно вас накажет!

— Это правда, существует божественное правосудие!.. И оно накажет вас!.. Божественное правосудие! — бормочет растерянный и подавленный посол.

Почти не контролируя себя, бедный Пурталес направляется к раскрытому окну и останавливается, уткнувшись в штору. Старый слабый человек тихо плачет, скрыв лицо от министра.

— Мог ли я знать, что так закончится мое пребывание в России?! — слышно сквозь его рыданье.

Сазонов подходит к нему, чуть обнимает его за плечи и

пытается успокоить старого друга, ставшего теперь врагом.

— Дорогой граф, я никогда вас не забуду... Давайте теперь простимся, как добрые знакомые...

— Прощайте, прощайте!.. — обнимает его Пурталес.

ПЕТЕРБУРГ, 2 АВГУСТА 1914 ГОДА

В субботу вечером весь Петербург узнал о том, что Германия объявила войну России. На воскресенье, к трем часам дня все офицеры гвардии, Петербургского военного округа и высшие сановники империи были созваны в Зимний дворец на торжественный молебен и объявление войны Германии. Приказано явиться в походной форме, государственным деятелям — в парадных мундирах, придворных и ведомственных.

На рабочих окраинах полицейских в форме и агентов в штатском было больше всего. В Департаменте полиции пристально следили за митингами и собраниями рабочих на заводах, где вместо здравиц за царя-батюшку и ура-патриотических речей раздавались голоса против войны. Голоса еще стихийны и неорганизованны, но генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, начальник Петербургского охранного отделения Михаил Фридрихович фон Котен доносил в Департамент, что 1 августа прекращали работу 27 тысяч человек на двадцати одном заводе. Генерал вдумчиво писал в своем рапорте:

«Выступавшие на означенных сходбищах ораторы подчеркивали общность интересов «всего мирового пролетариата», настаивали на обязательности для сторонников социалистических тенденций всеми мерами и средствами бороться против самой возможности войны, независимо от поводов и причины начала таковой... рекомендовали призываемым в ряды армии запасным обратить всю силу оружия не против неприятельских армий, состоящих из таких же рабочих пролетариев, как и они сами, а против «врага внутреннего в лице правительственной власти и существующего в империи государственного устройства».

Николай находился в самом подавленном настроении. Он никак не хотел осознать, что его империя наконец вступила в войну, которую желали многие его приближенные. Посвятив сегодня с утра, неожиданно для себя, целый час занятиям, царь никак не мог сосредоточиться

на бумагах. Ему все время лезла в глаза телеграмма от Распутина: «Крови-то! Крови! Останови! Григорий». Прочитав ее еще раз, Николай перекрестился и отложил бланк подальше. Принялся изучать проект сегодняшней своей речи в Зимнем дворце после молебна, принесенный Фридериксом. Слова не лезли в голову. «Дочитаю на борту яхты!» — подумал царь, и стало обидно, что в такой роскошный день, когда перед окнами Александрии призывно голубели воды Финского залива, надо ехать в Петербург, отбывать службу в Зимнем и общаться с народом... Царь не любил и всячески избегал этого общения. Но сегодня...

Царица нисколько не переживала, что Россия втянута в войну с Германией, где была ее родина. Ведь она только по форме была немкой — истинной немецкой женой и матерью, которая в образцовом порядке и весьма экономно держала дом и империю. По существу характера она всегда оставалась более англичанкой, со всеми «прелестями» английского филистерства и снобизма, эгоистичного космополитизма, при котором родина только там, где хорошо. А ей было очень хорошо в России, во всех императорских дворцах и угодьях, во всей широте и блеске двора российского императора, во всем богатстве — личном, выражавшемся в миллионных вкладах в банки, в том числе и английские, и придворном, когда на ведение ее домашнего хозяйства отпускались новые и новые миллионы министерству двора из государственного бюджета. Война с двоюродным братом Вильгельмом, внуком королевы Виктории (царица приходилась ей внучкой), ее не пугала, ибо эта война должна была принести ей новые миллионы и не таила на первый взгляд почти никакого риска: Антанта явно располагала бо́льшими силами, чем Срединные империи. Однако в сердце от предстоящей встречи с тысячными толпами людей, а отнюдь не из-за столкновения с Вильгельмом, все же возникал легкий холодок.

Через толпу, вставшую на набережной на колени, царская семья проследовала от катера в Николаевский зал. Он был полон. Три тысячи человек, в большинстве — офицеры в походной форме своих полков. Царь пришел в форме пехотного полковника.

Александра Федоровна — в белом простом платье, великие княжны также в белом. Наследник нездоров, он остался в Петергофе...

Царская семья занимает место у алтаря в центре зала, туда же, на стол, крытый алым бархатом, бережно устанавливают корону, скипетр и державу. Огромная красная шпинель, обрамленная бриллиантами в форме креста на вершине короны, брызнула кровавым огнем в лучах солнца, падающих из окон зала.

Церковный хор грянул «Тебе бога хвалим!». Начался молебен. Неподвижна, точно мраморная статуя, стоит среди зала императрица. Ее голова высоко поднята, она не крестится, а время от времени закрывает глаза, словно от крайнего страдания. Ее лицо покрыто багровыми пятнами, губы плотно сжаты, зрачки остекленели. Кое-кому из придворных критических наблюдателей кажется, что приступ истерии вот-вот сразит ее...

Служба продолжается. Хор поет многолетие царствующему дому и государю императору. Молитва окончена. Тот же басовитый дьякон начинает читать царский манифест народу: «Милостию божией мы, Николай Вторый, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая... Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами... вынуждена... принять необходимые меры предосторожности... перевести армию и флот на военное положение...»

Иерихонская труба дьякона набирает все больше силы. Она гремит о том, что самодержец «...прилагал все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров...», что Германия «внезапно объявила России войну» и теперь он вынужден воевать, чтобы оградить честь, достоинство и целостность империи.

Чтение манифеста окончено, и государь приближается к алтарю, чтобы поднять руку над Евангелием, которое ему подносит первосвященник.

Затем царь держит речь к армии и гвардии, цвет которых собран сегодня здесь, в Зимнем дворце. Неожиданно для себя он не пользуется шпаргалкой, припасенной внутри фуражки, а говорит уверенно и с необыкновенным подъемом. Он заканчивает речь словами, которые за сто два года до него произнес в присутствии той же иконы Казанской божьей матери его пращур Александр Первый, объявляя войну вторгшемуся в Россию Наполеону: «...Я здесь торжественно клянусь, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли русской...»

Громовыми раскатами «ура!» покрывают его слова офицеры. «Ура!» начинает перекатываться по набережной Невы. Перед царем, глаза которого необычно сверкают, опускается на колено великий князь Николай Николаевич. Его примеру следует весь зал. Минут десять в зале стоит неистовый шум, который переходит в звуки гимна «Боже, царя храни!». Многие дамы и даже офицеры плачут, не скрывая своих слез.

Наконец Николай Александрович и Александра Федоровна покидают зал и через внутренние апартаменты проходят к балкону Зимнего на Дворцовой площади. Под балконом — море голов стотысячной толпы, хоругви, знамена, иконы, портреты царя. Толпа грозно гудит.

На балконе появляется самодержец, владыка душ и тел этих людей. Толпа, как один человек, падает на колени и запевает гимн. Она готова бить австрийцев и германцев.

...Спустя сутки такая же толпа разгромила и подожгла германское посольство.

ПАРИЖ, АВГУСТ 1914 ГОДА

На Париж стремительно набегали минуты, когда Германия объявит войну Франции. Уже начата мобилизация, и колонны резервистов нестройно маршировали по улицам в сторону Гар де ль-Эст-Восточного, или Страсбургского вокзала. Будущих солдат сопровождали их подружки. Мужчины шли, усыпанные цветами, несли букеты цветов. Толпа на запруженных народом центральных улицах столицы возбужденно кричала: «Да здравствует Франция!», «Да здравствует Россия!» В районе Елисейских полей и улицы Сен-Оноре, где расположено английское посольство, можно было слышать выкрики: «Да здравствует Англия!»

Но Британия юридически не находилась еще в состоянии войны с Германией. Поэтому ее послу, розовощекому и упитанному лорду Берти, было неизвестно, вступит ли его страна в бой на стороне своих союзников. Посол отнюдь не был в этом уверен. Поэтому он приказал спустить все шторы на окнах, затворить ворота, чтобы толпа ненароком не ворвалась на посольский двор и не устроила в нем демонстрацию протеста против молчания Лондона.

Во всех ресторанах Парижа, несмотря на дневное вре-

мя, оркестры без устали играли военные марши, французский, русский и английский гимны.

Под бравурные звуки, несущиеся из всех заведений, а окна были выставлены по случаю необыкновенной жары, толпы молодежи маршировали по улицам с победным кличем: «На Берлин!» Третьего августа в природе как будто стало прохладнее, но энтузиазм патриотов, распевавших на улице «Марсельезу», не остывал.

Сорокапятилетний военный министр Франции, цветущий и энергичный Адольф Мессими, упивался этими днями, которые в его представлении должны были стать началом великого триумфа Франции. Получив хорошее военное образование и дослужившись в тридцать лет до капитанского чина, он вышел в отставку в знак протеста против отказа пересмотреть дело Дрейфуса и посвятил себя своему огромному имению, где разводил мясную породу серых быков. От быков он перешел к политике. Здесь он также преуспел, ибо сумел прочно связать Россию и великого князя Николая Николаевича с интересами Франции, обеспечив грядущую военную мясорубку русским пушечным мясом.

В эти горячие денечки, когда вот-вот ожидалась нота Германии, он засиделся в своем министерском кабинете наполеоновского особняка на улице Святого Доминика. В восемь часов вечера раздался звонок прямого телефона из Елисейского дворца.

— Слушаю, господин президент! — слегка привстал со своего кресла за столом, принадлежавшим некогда самому Наполеону, военный министр.

— Адольф! — запросто обратился к нему Пуанкаре. — Германия объявила нам войну! Приезжайте и захватите по дороге морского министра...

Подали открытый «рено», и военный министр важно воссел на заднее сиденье. Обогнули дворец военного министерства и по бульвару Сен-Жермен поехали к мосту Согласия. Площадь Конкорд на другом берегу Сены у моста была полна людей. Нещадно терзая резиновую грушу гудка, шофер пробился через толпу к главному подъезду морского министерства, откуда, раскланиваясь на все стороны, под аплодисменты возбужденных людей вышел бывший врач, а ныне морской министр Гутье.

Усиленный караул стоял у кованых ворот, ведущих во двор Елисейского дворца. Но министров знали здесь в лицо и пропустили без задержки.

Как вихрь, почти волоча за собой робкого и растерянного морского министра, Мессими ворвался в кабинет главы республики. Только здесь он несколько остыл.

Маленький, короткошеий Пуанкаре пригласил министров сесть.

— Господа, вы уже знаете, что история предоставляет нам шанс вернуть Эльзас и Лотарингию, строго наказать современных гуннов! — несколько высокопарно начал бывший адвокат. — Но сделать это следует так, чтобы как можно более сократить потери цветущих мужчин, добрых французов, вступивших в армию... Это они создают материальную основу нашей великой цивилизации, и мы должны щадить этих людей, которые бросили свои орудия труда, чтобы взять в руки ружья!..

Господин военный министр! — обратился президент к старому другу и соратнику сугубо официально. — Вам надлежит усилить нажим на Петербург с тем, чтобы русские как можно скорее начали свое наступление и как можно больше войск ввели в дело!

— Господин президент, это уже делается, — важно повернул свою круглую голову на толстой шее Мессими. — Мое министерство и главная квартира армии постоянно указывают на это обстоятельство русскому военному агенту, графу Игнатьеву. Как мы знаем из перехвата его корреспонденции в Петербург, граф ежедневно подгоняет шифрованными телеграммами своего главнокомандующего, великого князя. Впрочем, Николай Николаевич и сам с исключительным пониманием относится к нашим просьбам...

— Мой дорогой Мессими, мой дорогой Гутье! — продолжал Пуанкаре, заговорщицки понизив голос. — Я пригласил вас, чтобы обсудить еще одну деликатнейшую проблему...

Министры обратились в слух.

— Сейчас в Средиземном море крейсируют два новейших германских карабля. Это линейный крейсер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау». «Гебен» сильнее любого нашего или английского корабля на этом морском театре. По данным союзного британского адмиралтейства, оба эти крейсера могут быть направлены Тирпицем в Черное море для укрепления турецкого флота в случае войны Турции с Россией. Так ли это? — обратился президент к морскому министру.

— Совершенно верно, ваше высокопревосходительство, — отозвался тот, и лицо его выразило недоумение. — Начальник морского генерального штаба вице-адмирал Пивэ настаивает на том, чтобы отправить в Тулон приказ нашим доблестным морякам атаковать каждое германское военное судно, которое окажется в пределах видимости.

— Вы уже отправили такой приказ? — забеспокоился Пуанкаре.

— Нет, я только подготовил телеграмму... — ответил морской министр.

Президент облегченно вздохнул.

— Мой дорогой Гутье, — вкрадчиво продолжил он. — Учтите, что Россия проявляет наибольшую заинтересованность в разделе Турции, которого мы ни в коем случае не можем допустить, поскольку эта страна приносит Франции много золота. Поэтому мы и наши английские друзья серьезно озабочены тем, чтобы Россия в самом начале войны не смогла захватить своими силами Константинополь и проливы... Вы представляете, что будет, если русский десант возьмет с моря Константинополь и закрепится на Дарданеллах и Босфоре? Это будет конец нашего влияния в Малой Азии и на Балканах!

Недалекий морской министр сделал вид, что все прекрасно понял. Но, будучи опытным политиканом, Гутье предпочел не задавать вопросов, рассчитывая, что дальше все станет яснее.

— Итак, мой дорогой Гутье, вам следует послать в Тулон телеграмму с указанием командующему флотом не вступать в бой с германскими крейсерами «Гебен» и «Бреслау», а теснить их в восточный сектор Средиземного моря с тем, чтобы они пришли в Турцию и укрепили собой слабый турецкий флот. Имея две столь мощные боевые единицы, турки отобьют любую попытку русских захватить Константинополь...

— Это гениальная идея! — оживился доселе молчавший военный министр. Он завертел круглой головой от восторга и высказал новое соображение:

— Лучше, чтобы немцы присоединились к турецкому флоту, чем к австро-венгерскому. Ведь если «Гебен» и «Бреслау» останутся в Средиземном море, то баланс сил сложится не в пользу флотов нашего и британского... Тогда труднее будет рассчитывать на вступление в войну Италии на нашей стороне!

— Может быть, — робко попытался вставить слово мор-

ской министр,—все-таки лучше потопить «Гебен» и «Бреслау» в Средиземном море, не выпуская их в Турцию?

Пуанкаре спокойно повторил еще раз:

— Германские крейсера следует отогнать в восточную часть Средиземного моря! Вы поняли, господин министр?! Если у вас имеются другие предложения, то оставьте их до завтрашнего заседания совета министров. Коллеги разъяснят вам полную необходимость этого!

— Что вы! Что вы, господин президент! — робко стал отбиваться Гутье. — Я исполню приказ, не извольте сомневаться...

ПЕТЕРГОФ, АВГУСТ 1914 ГОДА

Война Германии была объявлена, но была еще в России понятием отвлеченным. Империя говорила о ней, но видела только огромные толпы мобилизованных, безоружные колонны будущих солдат, нестройно шагающих в казармы и на железнодорожные станции, бесконечные молебствия духовенства во всех храмах державы о победе.

Царская семья собиралась в Москву, чтобы, как писали газеты, «по обычаю державных предков искать укрепления духа в молитве у православных святынь московских». Наследник Алексей чувствовал себя плохо, поэтому и отъезд несколько задерживался.

Несмотря на войну, дни царской четы текли в Петергофе как обычно. Государь играл в лаун-теннис, постреливал в парке ворон из винтовки «монтекристо», купался, ходил по грибы...

Государыня вся кипела от возмущения по поводу назначения великого князя Николая Николаевича Верховным главнокомандующим, но никак не могла найти повод сделать выговор об этом своему недальновидному супругу. Наконец случай представился.

Надушенный седеющий красавец граф Гендриков, личный секретарь ее величества, испросил через камер-лакея разрешения войти к своей повелительнице и сообщил ей, что сегодня в ночь его высочество великий князь Николай Николаевич отбывает поездом в свою Ставку в местечко Барановичи, и министр двора почтительнейше интересуется, будут ли ее и его величества провожать Верховного главнокомандующего российским воинством?

— Почему же великий князь избрал время своего отъезда ближе к полуночи? — желчно спросила царица.

Гендриков стал лепетать что-то про военную тайну, про германские аэропланы, которые могут забросать поезд главнокомандующего бомбами...

— Я буду справляться о решении его величества, граф, — отпустила царица секретаря нервным жестом.

«Наконец можно высказать все Ники», — решила Александра Федоровна и, как только граф, пятясь до двери и кланяясь, удалился, решительными большими шагами направилась к кабинету Николая.

Император пребывал в нормальном, ровном расположении духа. С утра он поиграл в теннис, затем выкупался в заливе, где вода оставалась необыкновенно теплой, и сидел теперь, раскладывая пасьянс. Он чуть поморщился, увидев лицо Аликс, покрытое красными пятнами, заплаканные глаза и узкие побелевшие губы.

«Опять предстоит серьезный разговор...» — лениво подумал Николай.

— Ники, Фредерикс намекает, что нам следует поехать проводить великого князя, отъезжающего в Ставку, — без предисловий начала царица. — Ты уже дал свое согласие?

— Дорогая, барон придет ко мне с бумагами несколько позже, — уклончиво, не отрываясь от пасьянса, спокойно ответил Николай.

Александра Федоровна решительно села у карточного столика и испытующе уставилась на мужа.

— Ники, почему ты назначил этого необузданного, высокомерного и заносчивого человека Верховным главнокомандующим? Почему ты не взял эту великую миссию — спасти Россию — на себя? — с еле сдерживаемыми слезами высказалась императрица.

Николай с сожалением посмотрел на почти сошедшийся пасьянс, чуть слышно вздохнул, понимая, что надо, наконец объясниться с бедной Аликс, так тяжко переживавшей все последние дни. Ласково глядя на нее, принялся излагать свои соображения.

— Дорогая! — начал он. — Когда я высказал свое намерение стать во главе армии на заседании совета министров, все принялись умолять меня не делать этого! Потом, ты знаешь, наши союзники тоже желали видеть Николашу главнокомандующим... Ты помнишь, когда он в двенадцатом году ездил в Париж на маневры, его там и принимали как главнокомандующего...

—Но ведь он глупый и вздорный безобразник! — от

волнения Александра Федоровна заговорила с еще большим, чем обычно, немецким акцентом.

— К сожалению, это так! — согласился царь.

Николай оставался непоколебимо спокоен.

— Не надо так переживать, Аликс! — пытался он утешить жену. — Пойми, я не мог сделать иное назначение... За Николашей — двор и армия. Пока он не оступится в сражениях, а это случится очень скоро, его будут считать военным гением...

— Это не так! Это не так! — словно прокаркала Аликс в ответ.

—Дорогая, я все прекрасно понимаю! — бесстрастно продолжал Николай Александрович. — И не собираюсь отдавать ему всю полноту власти. По законам Российской империи Николаша будет ее иметь только в полосе фронтов, а что касается всего государства, то военные дела останутся у нашего милого военного министра, а гражданские — у министра внутренних дел и совета министров, кои и шага не сделают без моего слова...

Красивые глаза государя злорадно заблестели.

— Не волнуйся, дорогая! — неторопливо продолжал Николай. — Если он станет выходить из повиновения, то я его немедленно смещу...

— Ах, Ники! — капризно воскликнула Аликс, не думая сдаваться. — Но Мосолов мне доверительно рассказывал, а Аня подтвердила, что в Новой Знаменке у великого князя при «малом дворе» уже назначения делают... Притом в ведомства, к которым Николай отношения не имеет... Эти противные черногорки — Анастасия и Милица — даже прошения о помиловании принимают, словно Николаша — царь, а не ты!..

— Да, да! — подтвердил император.

— Вот видишь, Ники!.. — хищно выпалила царица. — Хмель власти уже ударил ему в голову! То ли еще будет, когда в его руках окажется армия. Вспомни императора Петра Третьего, супруга Екатерины Великой!..

Царица затрепетала, она напоминала супругу о своем любимом периоде российской истории. Николай недовольно поморщился.

— Его убили офицеры гвардии! Они нарушили присягу! Они подняли руку на помазанника божьего! — истерично начала выкрикивать Александра Федоровна.

Николай не прерывал императрицу. По опыту он знал, что в такое время лучше всего дать выговориться, напла-

каться, полежать с компрессами от мигрени, чем приводить логические аргументы.

Повод препроводить государыню в ее покои тоже возник — адъютант вошел и доложил, что на аудиенцию прибыл господин посол союзной Франции Морис Палеолог.

— Проси посла подождать! — резко сказал Николай и заботливо повел к двери Аликс, нежно обнимая ее за плечи.

ПЕТЕРГОФ, АВГУСТ 1914 ГОДА

Наголо бритый маленький надутый человечек, представлявший республиканскую Францию при дворе российского самодержца, не знал покоя со дня объявления Германией войны России. Война в его стране не была еще юридически свершившейся, но Палеолог уже развил бурную деятельность в петербургских салонах и со своими осведомителями.

С утра он завтракал в Царском Селе у великого князя Павла Александровича и его морганатической супруги графини Гогенфельзен в присутствии члена Государственного совета Стаховича, насквозь пропитанных идеями трогательной дружбы с Францией. Господа французские симпатизеры без малейшей утайки отвечали на вопросы любознательного посла, характеризуя ему взгляды и правых, и левых в Государственной думе, и в Государственном совете, и среди своих знакомых, и среди знакомых знакомых...

Продолжение на стр. 193

— Дружба заводских комсомольцев со школой стала крепкой, — говорит Рита Гутковская, секретарь цеховой комсомольской организации.

Рассказ о становлении этой дружбы читайте на стр. 162.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ПОВАРИШ

ЗДЕСЬ НАШЕ ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СЕКРЕТАРЬ комитета комсомола минского производственного объединения «Горизонт» Валерий Короткевич, рассказывая о своих комсомольцах, назвал имя Риты Гутковской.

— Сходите в девятый цех, — посоветовал мне Валерий. —Там интересные дела. В частности, дружба наших комсомольцев со школьниками. Гутковская расскажет.

Комсомольцы девятого цеха избирают Риту Гутковскую своим вожаком пятый раз. Молодой коммунист Гутковская благодарит товарищей за доверие и, конечно, старается оправдать его работой, целиком, сполна отдавая комсомольским заботам свои силы.

Руководить цеховой организацией, в которой 375 комсомольцев (да к тому же не оставлять без внимания несоюзную молодежь), направлять их усилия на решение множества задач — дело нелегкое, требующее от секретаря, безусловно, и волевых качеств, и энергии, и способности четко, безошибочно выводить молодой коллектив на прямую дорогу к ясной цели. У Гутковской есть и воля, и организаторский талант, и способности руководителя. Мне рассказывали, что кто-то из комсомольцев в шутку, но уважительно назвал однажды Риту Гутковскую к о м и с с а р о м. И хоть не вошло это звание в обиход, каждый в цехе знает, что Рита — это комиссар, а комиссар — это Рита...

При нашей встрече с Гутковской мы, разговаривая, почти не касались чисто производственной темы. Правда, встречались мы накануне партийного съезда, и Рита не удержалась от похвалы в адрес своих комсомольцев, в то время успешно выполнявших предсъездовские обязательства, особенно в адрес комсомольско-молодежной бригады, которой руководит молодой коммунист Анатолий Голяк. Говорили мы о шефской работе, которую ведут комсомольцы девятого цеха в средней школе № 26.

Тогда в начале февраля, повсеместно продолжалось обсуждение проекта «Основных направлений экономического и социального развития СССР», и каждый выделял те положения, которые прежде всего затрагивали его интересы или относились к коллективу, где он трудится. Гутковская нашла в проекте ЦК КПСС и для себя и для своих комсомольцев много ориентиров, на которые предстояло им выходить в одиннадцатой пятилетке. Мое внимание она обратила на то место, где говорилось о необходимости усилить работу по профессиональной ориентации юношества.

— Шефству мы уделяем большое внимание, — сказала она. —

Но шефство — это не только наша разнообразная помощь школе. Это еще и работа по профориентации. Работа очень и очень важная...

Все началось чуть больше двух лет назад. В комитете комсомола объединения зашла речь о средней школе, оставшейся без шефов. Гриша Высоцкий, бывший комсомольский секретарь, высказался в том смысле, что неплохо было бы комсомольцам включить школу в зону своего внимания... Гутковская попросила доверить школу девятому цеху. Ее поддержали. И еще до того, как было вынесено официальное решение, в школу № 26 пришли первые заводские комсомольцы. Они познакомились с директором школы, старшей пионервожатой, поговорили о содружестве, набросали план первых мероприятий... Чтобы теснее и оперативнее была связь, закрепили за каждым классом комсомольскую группу — их в цехе тринадцать. Самый «трудный», озорной класс — восьмой «Б» — взяла под свою опеку бригада Анатолия Голяка...

Интересно прошла одна из первых встреч — десятиклассников школы с выпускниками училища № 10, которое готовит монтажников и слесарей-сборщиков для радиотехнических предприятий. Те из них, кто трудится на «Горизонте», рассказали, как это увлекательно — монтировать радиоприемники и телевизоры, какие тут нужны знания, мастерство, точность, как важно с первых шагов трудовой деятельности воспитывать в себе чувство ответственности, дисциплину, с достоинством нести звание рабочего человека. Запомнилась и задушевная беседа старшеклассников с Марией Михайловной Бедункевич, делегатом XXV съезда КПСС. Она не только рассказала о заводе, его людях, традициях, она провела ребят по всем цехам, показала рабочие места комсомольцев-шефов. А чтобы ребята могли убедиться, как стремительно развивается производство, их сводили в заводской музей, где представлена вся продукция — от первых, простейших аппаратов типа маленького КВН, выпускавшихся четверть века назад, до последних моделей, таких, как телевизор цветного изображения «Горизонт Ц-250», который запущен в производство и стал первейшей заботой всего коллектива...

Каждый год в декабре в заводском клубе устраивается торжественный вечер — посвящение в рабочие. Парням и девчатам, освоившим азы профессии, в праздничной обстановке вручается рабочая путевка — они получают квалификационный разряд. С добрым напутственным словом выступают ветераны труда и наставники. В прошлом году на такой вечер впервые пригласили старшеклассников из подшефной школы. Они были приятно удивлены тем вниманием и заботой, которыми окружают молодых рабочих, и чувствовалось — по-хорошему завидуют им. Рита Гутковская тогда подумала: придет на завод новое пополнение...

Новое — потому что рабочий коллектив уже пополнился к тому времени первыми выпускниками школы. Осенью семьдесят девятого на «Горизонт» пришла небольшая группа ребят — десять человек. Опыта у них, конечно, не было никакого, начинать приходилось, как говорят, «с нуля». Но они сразу же включились в комсомольскую жизнь, попросили работу, некоторые стали пионервожатыми в своей же школе. Двое из них служат сейчас в рядах Советской Армии, Саша Палей принят кандидатом в члены КПСС, и Рита говорит, что, как только он вернется на завод, будут рекомендовать его в члены партии...

Комсомольская пятиминутка в цехе. На снимке (слева направо): Татьяна Яблошевская, Александр Свиридов, Рита Гутковская, Валерий Гриб.

Старшеклассники часто приходят в цех на комсомольские собрания, а заводские комсомольцы — непременные гости пионерских сборов. В дни красных субботников школьники обязательно появляются в заводских цехах (не только в девятом!) со своими словами привета. Всем хорошо запомнился апрельский субботник в восьмидесятом, юбилейном году. Началась смена, настроение у всех было праздничное, светлое, и вот где-то за стеной зазвучал горн, раздалась барабанная дробь... Открылись двери — и в цех вошли мальчишки и девчонки, нарядные, сияющие, счастливые... и чуть смущенные. Никто не ожидал их появления, все получилось неожиданно. А пионеры, заполнив проходы, зачитали свое приветствие рабочим, пожелали успехов в труде, не забыв, между прочим, перечислить поименно всех передовиков...

— Два года не такой уж большой срок, — говорила Рита Гутковская, — но дружба заводских комсомольцев со школой стала достаточно крепкой. Дело действительно не только в той помощи (пока, возможно, еще не столь щедрой, как хотелось бы), которую мы оказываем ребятам в оформлении красных уголков, изготовлении стендов или благоустройстве школьного двора. Для нас важ-

Для пионеров подшефной школы Рита Гутковская желанный гость. Сегодня она рассказала ребятам о поездке в составе комсомольской организации на крейсер «Минск»...

нее всего помочь ребятам, заканчивающим школу, определить свое место в жизни, найти свой выход на орбиту полезной трудовой деятельности, не ошибиться, переступив порог жизни, в выборе пути. Конечно, таких путей много. Мы предлагаем один из них — завод. Мы не навязываем ребятам готовых решений, их право — решать самим. Мы говорим им: смотрите, вот наш «Горизонт», здесь мы трудимся, здесь наше главное дело, наше призвание, здесь перед каждым открываются широкие горизонты — занимай место в строю, твори, выдумывай, пробуй!..

Да, место в рабочем строю — почетное место.

XXVI съезд КПСС наметил захватывающие перспективы дальнейшего развития советской экономики. Многое предстоит сделать всему нашему народу, и перед каждым трудовым коллективом свои задачи, которые ему надлежит решить в одиннадцатой пятилетке. Свои задачи и у коллектива минского «Горизонта», задачи трудные, но почетные. Четырехтысячный отряд комсомольцев, вместе с коммунистами составляющий авангард коллектива, уже начал борьбу за претворение в жизнь больших и сложных планов.

Н. НИКОЛАЕВ

ОРУЖИЕ ПАРТИИ

КАЖДЫЙ ГОД 5 мая мы отмечаем праздник печати. Почти семьдесят лет назад в этот день (22 апреля по старому стилю) в Петербурге вышел первый номер газеты «Правда» — первой легальной массовой рабочей газеты. Со дня своего рождения она стала играть огромную роль в жизни рабочего класса, в идейной закалке и политическом воспитании пролетарских масс, мобилизации их на борьбу против царизма, за победу социалистической революции, торжество социализма.

«Правда» явилась газетой нового типа. И поставить такую газету было нелегко... В этот день стоит оглянуться назад и отметить хотя бы главные вехи в истории развития большевистской печати. Начало ее связано с появлением ленинской «Искры».

«ОЧЕНЬ ПАМЯТНА мне одна из последних моих прогулок с Владимиром Ильичем по берегу широкого Енисея, — вспоминает Г. М. Кржижановский. — Была морозная лунная ночь, и перед нами искрился бесконечный саван сибирских снегов. Владимир Ильич вдохновенно рассказывал мне о планах и предположениях по возвращении в Россию. Организация печатного партийного органа,

перенесение его издания за границу и создание партии при помощи этого центрального органа, представляющего, таким образом, своеобразные леса для постройки всего здания революционной организации пролетариата, — вот что было в центре его аргументации...»

Да, в сибирской ссылке Владимир Ильич разработал ясный план создания в России марксистской партии — партии нового типа, в корне отличной от реформистских западноевропейских партий, непримиримой ко всем проявлениям оппортунизма и ревизионизма. Этот план Ленин осветил в статьях «Наша программа», «Наша ближайшая задача», «Насущный вопрос».

Статьи были написаны осенью 1899 года, незадолго до окончания ссылки, и предназначались для «Рабочей Газеты». I съезд РСДРП признал «Рабочую Газету» официальным органом партии, но вскоре полиция разгромила редакцию. Была сделана попытка возродить издание, редакторская группа даже обратилась к Ленину с предложением о сотрудничестве, но попытка не удалась, статьи не были напечатаны и увидели свет лишь четверть века спустя...

В своих статьях Владимир Ильич отмечал, что образование весной 1898 года Российской социал-демократической рабочей партии явилось громадным шагом вперед. Однако, сделав этот шаг вперед, «русская социал-демократия как бы исчерпала на время все свои силы и вернулась назад к прежней раздробленной работе отдельных местных организаций». Ближайшей и самой насущной задачей русских социал-демократов Ленин считал объединение всех многочисленных, рассеянных по стране марксистских кружков и организаций, освобождение от узкой местной раздробленности и кустарничества, создание марксистской партии. «Мы уже достаточно зрелы, — писал Ленин, — чтобы перейти *к общей работе,* к выработке общей программы партии, к совместному обсуждению нашей партийной тактики и организации».

Практическое решение этой задачи требовало организации *«правильно выходящего и тесно связанного со всеми местными группами органа партии».* Без такого печатного органа, который дал бы «возможность расширить и углубить самое содержание социал-демократической пропаганды и агитации», немыслимо образование партии, организация рабочих сил, ведение политической борьбы. Без революционной газеты, подчеркивал Ленин, невозможна никакая широкая организация всего рабочего движения в России. «Только общий орган партии, последовательно проводящий принципы политической борьбы и высоко держащий знамя демократизма, будет в состоянии привлечь на свою сторону все боевые демократические элементы и использовать все прогрессивные силы России в борьбе за политическую свободу».

Но издание печатного органа в условиях самодержавия было делом немыслимым. После окончания ссылки Ленин, ненадолго задержавшись в России, установив необходимые связи с руководителями марксистских кружков, заручившись их поддержкой, выехал за границу, чтобы там наладить выпуск газеты. Как известно, такой газетой стала «Искра» — первая нелегальная общерусская политическая газета революционных марксистов.

«Искра» успешно выполнила свою задачу, идейно и организационно подготовив создание революционной марксистской партии. Под знаменем «Искры» закалились кадры профессиональных рево-

люционеров, стойких ленинцев, преданных делу пролетариата, неразрывно связанных с массами. «Искра» на деле доказала глубину и точность ленинского положения о том, что роль газеты не ограничивается лишь распространением идей и политическим воспитанием. «Газета, — указывал Ленин, — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».

Боевым органом российских марксистов «Искра» оставалась до II съезда партии. Когда после съезда борьба в партии обрела особую остроту, газета перешла в руки меньшевиков. Эта новая «Искра» в отличие от старой, ленинской, стала открыто оппортунистической и начала на своих страницах злобную клеветническую кампанию против Ленина, против большевиков.

Традиции ленинской «Искры» продолжила газета «Вперед». Решение о создании нового периодического большевистского органа было принято на совещании большевиков, проходившем в ноябре 1904 года в Женеве. В. А. Карпинский, участник совещания, вспоминает, что Владимир Ильич, сообщив о предстоящем выходе газеты и представив редакторов, изложил программу печатного органа и высказал пожелание назвать газету «Вперед». «Хорошее название», — сказал он. Затем были зачитаны все статьи первого номера, началась дискуссия. Выступавшие товарищи делали критические замечания, высказывали свои пожелания. Такое свободное обсуждение газетных статей, отмечает В. А. Карпинский, произвело сильное впечатление на всех рядовых партийцев. Ленинское отношение к созданию партийного органа отразилось и в редакционном извещении о выходе газеты. В нем говорилось, что руководящий орган должен находиться в тесном общении с партией, в неразрывной связи с движением пролетариата, идя впереди, освещая путь, предостерегая от ложных шагов... Первый номер газеты «Вперед» вышел в Женеве 22 декабря 1904 года. Ленин отмечал, что «направление газеты «Вперед» есть *направление старой «Искры»*. Во имя старой «Искры» «Вперед» решительно борется с новой «Искрой».

III съезд партии (апрель 1905 года) в специальной резолюции отметил огромную роль газеты «Вперед» в подготовке съезда, в борьбе против меньшевиков, за восстановление партийности, в постановке и освещении выдвинутых революционным движением вопросов тактики и выразил благодарность редакции. По решению съезда вместо газеты «Вперед» стала издаваться газета «Пролетарий».

«Пролетарий» сменила «Новая Жизнь» — легальная большевистская газета, выходившая с 27 октября по 3 декабря 1905 года в Петербурге. В двенадцатом номере этой газеты была опубликована ленинская статья «Партийная организация и партийная литература», в которой Владимир Ильич выдвинул и обосновал принцип партийности литературы, ставший руководящим началом для прогрессивной литературы и того времени, и наших дней.

Легальной была также газета «Волна». После того как царское правительство запретило «Волну», стала выходить газета «Вперед», затем «Эхо», но почти все номера ее (двенадцать из четырнадцати) были конфискованы.

В годы реакции, когда после поражения первой народной революции царизм зажал страну в тиски жесточайшего террора, о легальных марксистских изданиях не могло быть и речи.

Задачу возродить легальную печать Владимир Ильич поставил перед большевиками в связи с наступлением нового революционного подъема. Преодолевая огромные трудности, удалось наладить издание газеты «Звезда». Первый номер ее вышел в самом конце декабря 1910 года в Петербурге. Газета была еженедельной, однако, по мере того как волна рабочего движения поднималась все выше и выше, спрос на газету увеличивался, и с марта 1912 года она стала выходить три раза в неделю.

Но время предъявляло печати новые, более высокие требования. Еще во время Пражской конференции на заседании Центрального Комитета партии был поставлен вопрос об издании *массовой ежедневной* рабочей газеты.

И вот появилась «Правда».

ЛЕНИН ОТМЕТИЛ самую тесную связь выхода «Правды» с резким подъемом революционного движения весной 1912 года. Он писал, что «*именно апрельский подъем* рабочих создал рабочую газету», что в апрельские дни в массе окрепло сознание того, что им недостаточно профессиональных изданий, им нужна своя политическая газета, газета передовой рабочей демократии, газета, которая не только помогала бы рабочей борьбе, но и давала «образец и светоч всему народу».

Когда на страницах «Звезды» появились письма петербургских рабочих, выражавших готовность поддержать издание ежедневной газеты своей «трудовой копейкой», инициативу столичных пролетариев поддержали трудящиеся массы всей России. Владимир Ильич писал, что создание рабочей газеты — крупное историческое дело, которое совершили петербургские рабочие, оно служит «выдающимся доказательством сознательности, энергии и сплоченности русских рабочих».

Ленин установил прочные связи с «Правдой». Фактически он выполнял основные функции главного редактора. Редкий номер выходил без его статей. В них затрагивались самые острые, злободневные темы. Язык ленинских статей был ясен, прост, доступен для рабочих. Проявляя огромную заботу о «Правде», Ленин изо дня в день воспитывал газету — родное детище большевистской партии.

«Правда», писал Ленин, — это самое важное организационное средство для сплочения и развития революционного движения. Только при ее помощи может идти теперь приток людей и средств для подъема всей нелегальной деятельности большевистской партии.

«Правда» вела активную борьбу за претворение в жизнь политики партии, за высокую партийность, против меньшевиков, ликвидаторов, троцкистов, воспитывала рабочих в духе революционного марксизма, способствовала значительному росту партии, упрочению ее фундамента, укреплению ее связи с массами.

Газета была грозным оружием партии. Голос ее звучал настолько мощно, а сила ее революционного воздействия на пролетарские массы была столь велика, что царские власти делали множество попыток помешать ее изданию, облагали штрафами, возбуждали против редакторов судебные дела, конфисковывали тиражи... Но, несмотря ни на какие репрессии, газета жила, не падал ее боевой дух, не сбивалась она с ленинского курса!

Окончание на стр. 172

В. А. КАРАСЕВ,
Герой Советского Союза,
бывший командир
интернациональной партизанской
бригады имени
Александра Невского

ПОБРАТИМЫ

ТРУДНОЙ ЗИМОЙ сорок первого года в Москве из нас, пограничников-комсомольцев, отходивших с боями от юго-западной границы, была сформирована спецгруппа для действий в прифронтовой полосе. Задание получили трудное — проникнуть к захваченному гитлеровцами подмосковному райцентру Угодский Завод, где сосредоточивался переброшенный с запада свежий армейский корпус генерала Шротта, любыми способами сорвать его выступление на фронт до подхода подкреплений из Москвы.

К Угодскому Заводу пробились без потерь. Вокруг ядра пограничников удалось сплотить разбитых карателями местных партизан, в помощь нам прибыла группа угодско-заводских подпольщиков во главе с председателем райисполкома, впоследствии Героем Советского Союза Михаилом Алексеевичем Гурьяновым. И все же сил было маловато. Удары отряда, насчитывавшего триста бойцов, по армейскому корпусу все равно что укус комара для слона. Но у каждой, казалось бы, самой прочной цепи найдется слабое звено. Мы с Гурьяновым решили ударить по штабу корпуса, который, по данным наших разведчиков и подпольщиков, базировался в Угодском Заводе. После разгрома штаба у врага нарушится управление частями и соединениями. А гитлеровцы, как известно, раболепно подчиняются уставному порядку, и без приказа штаба корпус не выступит на фронт. Конечно, риск был большой. Фашистский гарнизон в райцентре и окрестных селах насчитывал около трех тысяч человек, у них были танки, броневики, артиллерия. При таком превосходстве, если операция затянется, отряд буквально раздавят.

Собрали с Гурьяновым командиров, детально обсудили план действий. Ценное предложение внес Николай Еременко, мой товарищ по службе на границе. Он взялся с небольшим числом бойцов при наступлении темноты быстро и незаметно минировать подходы к штабу, для страховки выставить там заслоны партизан, вооруженных ручными пулеметами, связками гранат и бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, решили принять дополнительные меры для создания паники и дезорганизации гарнизона. Как только начнется штурм штаба, диверсионные группы подорвут склады с боеприпасами и горючим. Взаимодействие всех подразделений было скоординировано с точностью до минуты.

Чуть отгорел закат, партизаны по лесным тропам отправились к

местам сосредоточения. Мы с Гурьяновым были с главными силами. Разведчики в маскхалатах по глубокому снегу, словно невидимки, подползли к зданию штаба, бесшумно сняли часовых. Штурмовая группа забросала гранатами окна первого этажа. Взорвав закрытые двери, ворвались в здание. Завязались ожесточенные схватки со штабными офицерами в коридорах и комнатах. С маузером в руке я бросился на второй этаж, за мной — Гурьянов. Пуля ударила в правую кисть... Автоматной очередью Гурьянов снимает ранившего меня офицера, одну за другой бросает гранаты в полуоткрытую дверь, откуда строчит пулемет. Врываемся в заволоченную дымом большую комнату. На полу убитые штабисты, сраженный осколками гитлеровский генерал. На стенах — карты, закрытые шторками, на столах — оперативные документы. Гурьянов набивает ими два портфеля — еле застежки сходятся. Теперь многое зависит от того, успеем ли вовремя отойти, не окружат ли нас подоспевшие к штабу части фашистского гарнизона. Как ответ за окнами грохочут взрывы мин, над райцентром густо разливается пламя горящего бензина, вздымается фейерверк рвущихся боеприпасов... Значит, диверсионные группы и наши заслоны сделали свое дело. Путь гитлеровскому гарнизону перекрыт.

Начинаем отход. Отстреливаясь от наседающего врага, уходим полем. У леса преследование прекращается: боятся фашисты русского леса как черт ладана. Да и не до этого им теперь: в райцентре горят, взрываются военные объекты. Как выяснилось потом, только за одну ночь отряд уничтожил свыше шестисот гитлеровцев, преимущественно офицеров, четыре танка, броневик, свыше ста грузовых и легковых автомобилей, армейские склады горючего и боеприпасов. Были захвачены и переправлены советскому командованию особо секретные оперативные документы, раскрывающие и дислокацию и планы наступления гитлеровцев на юго-западном участке фронта. Удалось выполнить и главную задачу: свежий армейский корпус Шротта отвели на переформирование. А вскоре началось решительное контрнаступление Красной Армии, в заснеженных полях под Москвой зажглась заря нашей будущей победы.

Советская армия шла на запад, освобождая города Брянщины, Белоруссии, Польши... К нам в отряд приходило пополнение: поляки и венгры, чехи и немцы, румыны и словаки, сербы, хорваты, французы. Это были люди, вызволенные из лагерей смерти, добровольцы из освобожденных партизанами районов, были и такие, кто, рискуя жизнью, бежал к нам из гитлеровских частей, чтобы сражаться с ненавистным фашизмом. Во вражеском тылу отряд вырос в крупное интернациональное соединение — бригаду имени Александра Невского.

...Чехословакия. Завершающие шаги к победе. Саперы Николая Еременко идут в голове нашей бригады, которой поручено сохранить заминированные гитлеровцами мосты, открыть путь советским танкам. Дорог каждый час: восстала Прага, там в неравных боях с карателями гибнут чешские патриоты.

Еще один мост через бурлящую горную реку, теперь уже последний. Как сообщила разведка, его опоры густо нашпигованы взрывчаткой, и незаметно подобраться к мосту, снять охрану можно лишь с наступлением темноты. А тут только занялось утро.

— Товарищ командир! — Ко мне подходит молодой человек в элегантном штатском костюме, в фетровой шляпе, с тростью в руках. Едва узнаю в нем Еременко.

— Что за маскарад, Николай?

— Сыграю роль сбежавшего от красных цивильного немца, — поясняет Еременко. — Знания языка у меня, думаю, хватит: как-никак немецкий изучал с начала войны. Отвлеку разговором охрану, а ребята тем временем подползут к мосту, перережут проводку. В крайнем случае вот. — Николай встряхнул рукавами костюма, и на ладони его я увидел две «лимонки».

Я молчал. Идти одному на мост? Подставить грудь под автоматы одуревших от сознания близкого конца гитлеровцев? А вдруг они и рта не дадут раскрыть? А вдруг... Сколько неожиданностей могло ждать Еременко! И оправдан ли риск?

Николай, видимо, прочел мои мысли.

— Главное — обезвредить взрывчатку, — сказал он просто. — Времени нет. Разрешите выполнять...

Благодаря мужеству Еременко, мастерству его саперов операция удалась. Часовой заставил Николая поднять руки, вызвал офицера и солдат. Пока они, иронически усмехаясь, слушали косноязычный рассказ смертельно напуганного «цивильного», партизанские саперы спустились под мост. Вися над клокочущей быстриной, обрезали проводку. Сигнальный выстрел известил, что дело сделано.

— Капут! — крикнул Николай и, падая, бросил гранаты в кучку гитлеровцев. Тотчас, строча из автоматов, к мосту ринулась группа прикрытия. И вскоре по открытому пути к Праге помчались на предельной скорости советские танки, самоходки, бронетранспортеры с мотопехотой.

Правда, что смелого пуля боится. Еременко даже царапины не получил. С отрядом партизанских разведчиков и саперов он продолжал выполнять задание, указывая дорогу головному батальону тридцатьчетверок.

О дальнейших событиях нам рассказал боец нашей бригады Франта Бручек, который по заданию командования был послан в восставшую Прагу и организовывал там сопротивление карателям.

...За полуразрушенной, исхлестанной осколками и пулями баррикадой их оставалось трое. Позади — никем уже не прикрытый

ОРУЖИЕ ПАРТИИ

Окончание. Начало на стр. 166

В труднейших условиях полицейского произвола в течение двух с лишним лет вышло 636 номеров «Правды». Тираж ее достигал 60 тысяч экземпляров. 8 июля 1914 года газета была закрыта. Издание возобновилось лишь после Февральской революции 1917 года. В июле — октябре семнадцатого преследуемая Временным правительством газета неоднократно меняла свое название и выходила как «Листок «Правды», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий Путь»

тыл восставшей Праги. Бручек, по молчаливому согласию ставший командиром, оглядел товарищей.

— Советские танки идут на помощь. Нужно выстоять. Кто не уверен в себе, может уйти.

Вместо ответа двое еще тесней прижались к бойницам — юный рабочий Вацлав Гавлик, русский матрос Григорий Яснов, совершивший побег из концлагеря и примкнувший к подпольщикам.

Молчание баррикады обнадежило гитлеровцев. Один за другим они вышли на улицу, держа автоматы наготове. Франта видел, как с их лиц сходило выражение напряженности: восставшие отступили. Теперь уже в рост, беспечно и нагло гитлеровцы шли на баррикаду. Оставалось каких-нибудь тридцать метров.

— Огонь! — скомандовал Бручек.

Трижды ходили на штурм фашисты, трижды отбрасывал их ливень свинца. Потом появился вражеский танк. Снаряды, выпущенные в упор, кромсали, дробили баррикаду. Осколки сразили Яснова, тяжело ранили Гавлика.

— Не пройдешь! — Франта привстал, готовясь бросить последнюю связку гранат. И вдруг танк запылал. Скрывавшиеся за ним автоматчики опрометью бросились в глубину улицы, а из ближайшего переулка выскочила краснозвездная тридцатьчетверка, вторая, третья... Круто развернувшись, машины устремились вслед за врагом. С брони соскочили несколько бойцов, среди них — человек в элегантном штатском костюме и с автоматом на груди. Они поспешили к баррикаде. В штатском Франта узнал своего боевого побратима — «невчанина» Николая Еременко...

Война против фашизма сроднила патриотов многих народов. Каждый из них понимал, что бой с поработителями идет, говоря словами поэта, «не ради славы — ради жизни на земле». Не щадя ни крови, ни самой жизни, они делали свое благородное дело. И теперь, когда враги военной разрядки вновь усиливают напряженность, многое зависит от содружества патриотов. Борьба за мир рождает все новых и новых единомышленников — побратимов во всех уголках Земли.

и продолжала мобилизовывать пролетарские массы на борьбу против контрреволюционного буржуазного правительства, призывала народ к социалистической революции. После Октября центральный орган партии стал выходить под своим прежним названием «Правда».

«Ленинская «Правда», — говорилось в приветствии Центрального Комитета КПСС *«Газете «Правда», всем работникам советской печати»* в день шестидесятилетия газеты, 5 мая 1962 года, — явилась буревестником Великого Октября, пропагандистом, агитатором и организатором строительства социализма и коммунизма, она сыграла выдающуюся роль в сплочении народных масс вокруг Коммунистической партии, их идейной закалке и политическом воспитании, в развитии подлинно народной печати, выразительницы коренных интересов трудящихся».

Н. ВАСИЛЬЕВ

---

25 мая мир отмечает День освобождения Африки, день молодых независимых государств, сбросивших цепи колониального рабства. Немало стран, завоевавших независимость в долгих изнурительных боях с колонизаторами в конце 50-х — начале 60-х годов и совсем недавно — в середине 70-х годов, выбрали путь социалистической ориентации. Множество проблем стоит сегодня перед народами Эфиопии, Танзании, Анголы, Мозамбика, других государств. Ликвидировать неграмотность и нищету, победить голод, вырастить новое поколение африканцев — грамотных, сильных, готовых строить новую жизнь, четко понимающих свои задачи... Молодежь — это будущее континента, его надежда и главная сила.

ПОЕЗДКА НА КРАЙНИЙ ЮГ

НА САМОМ юге Мозамбика, там, где узкая полоска песчаного пляжа и дюны, поросшие хвойными деревьями, составляют единое целое с океаном, мир представляется иным. Где-то невообразимо далеко на севере остался шумный деловой Мапуту с тысячами машин, гомоном базаров, гудками портовых кранов и паровозиков. Его уже как бы не существует.

Дни, недели, даже годы невластны над этим уголком Юго-Восточной Африки. Тысячелетия бьет в изъеденный солью ракушечник зеленая вспененная волна. Бесконечно долго перекатываются, скрипя, мириады золотистых песчинок. Даже акулы, нередкие гости бухты, живут по сто лет и, кажется, так же вечны, как камень, песок, океанская волна...

Но той, что вытащили на берег в это утро, двухметровой серебристой красавице, с шершавой, успевшей высохнуть на солнце кожей, не повезло. Она бессильно разевала пасть и слабо-слабо шевелила острым серповидным хвостом. Там, в океане, она никогда не попалась бы рыбакам. Здесь же, в бухте с циркулирующим обманчивым течением, акула увлеклась охотой за макрелями и запуталась в сети. Теперь она стала собственностью семейства народности шангана. Робко, кончиками пальцев мы гладили ее веретенообразное тело, и ребята ежились от мысли о том, что могло бы произойти там, на глубине, пусть даже неподалеку от берега, попадись они на ее пути...

За скалой, в нескольких метрах от океана, в песок врыт небольшой столбик с табличкой. Белой краской на нем неровно выведено: «Внимание! Проход запрещен. Граница». За столбиком — начало чужой территории. На скале — пограничная застава с национальным флагом Народной Республики Мозамбик. За скалой — ЮАР.

...Идея поездки в Понта ду Оуру возникла совершенно неожиданно. Оказались свободными две машины, которые обычно в субботу и воскресенье были в разъездах. Но в тот день — даже не верилось — они спокойно стояли у входа в Национальную дирекцию геологии и шахт. Неужели получится? Мы побежали к директору.

— Да, пожалуйста, берите, только бензин оплáтите сами.

За полдня мы купили необходимую провизию, и в субботу в шесть утра оба «лендровера» уже стояли на пароме через залив Делагоа.

Первый раз за много месяцев мы могли посмотреть на Мапуту со стороны, сквозь частокол портовых кранов и кокосовых пальм на набережной. Было раннее утро, и свет горел только на судах. Но за городом, чуть восточнее, уже розовела полоска неба над морем, маленькие тучки подсвечивались ровным фиолетовым светом. Дома и высокие коробки министерств были пока в тени. Мапуту еще спал.

Когда солнце взошло, мы уже мчались по грунтовке на юг.

...С нашими спутниками мы познакомились сразу, как только приехали в Мапуту. Директор службы представил нам помощников геологов: Леонарду Ланга, Мавуянгу Маттиаш, Крешсенсиу Пинту Роман, Жайме Новела. Четыре молодых веселых парня. Целый год они должны будут помогать нашим геологам в разведке и оценке различных месторождений и одновременно учиться на курсах в Национальной дирекции геологии и шахт. Старшему было 28 лет, младшему — 20. С утра до вечера мы сидели над пантографами и кальками, чертили схемы и планы района, в котором предстояло работать с августа по декабрь. Многие ребята до поступления на работу в дирекцию не имели понятия о геологии, минералогии, черчении. Крешсенсиу до прихода сюда работал кассиром в кинотеатре «Шенон» и умел считать только билеты и деньги. Мавуянгу обучался до независимости в религиозном колледже, жил в интернате, и ему было не до науки. Жайме работал водителем в геологическом отделении в Тете, северо-западной провинции Мозамбика, и мог отличить гранит от кварца. Сто очков вперед давал всем Ланга, самый молодой из наших друзей — он учился на первом курсе геологического факультета в университете имени Эдуардо Мондлане. Не в обиду будет сказано другим нашим помощникам, он оказался самым способным. Через несколько месяцев после начала учебы Ланга мог уже заменять геологов в поле.

Жайме вел машину уверенно и быстро. Тем, кто сидел сзади, доставалось: мы то и дело стукались головами о железный верх, но никто не жаловался. В окнах мелькал типичный южноафриканский пейзаж — низкорослые деревца, красноватый от латеритов кварцевый песок по обочине и степь, степь...

Мы направлялись в Понта ду Оуру — Золотую Бухту, на самый юг Мозамбика.

— Сейчас будет слоновник, — предупредил Ланга, который однажды уже был здесь. Но слонов никто не увидел, зато недалеко от машин, почти сравнявшись с ними по скорости, мерно топал белый носорог, но недолго. Он свернул и исчез в кустарнике. Мои спутники не на шутку перепугались. Им, столичным жителям, не приходилось видеть носорогов в природе, разве что в мапутском зоопарке, в просторной зеленой вольере, или в Музее естественной истории. Они вообще панически боялись любой подозрительной живности, особенно змей и пауков, даже к сухим шкурам питонов

относились с опаской. Наверное, так же совершенно беспричинно некоторые люди боятся мышей: «Боюсь, и все тут!»

Через полтора часа показался океан. Мы открыли окна — пыль кончилась. Сильный морской ветер дул с юга и кидал белые соленые пригоршни в зеленые кроны сосен, нес из Антарктиды, до которой отсюда, пожалуй, ближе, чем до экватора, прохладный свежий воздух. Гнал от мыса Доброй Надежды смешанную и, казалось, вдвойне соленую воду обоих океанов. Отсюда, от Понта ду Оуру, до южной оконечности Африки рукой подать...

Жайме и второй наш водитель — Крешсенсиу уладили формальности с пограничной службой (ведь рядом граница) и с ходу въехали прямо на пляж. Но даже две ведущие оси не помогли машинам проехать и пяти метров, мы «сели»... «Лендроверы» создали хорошую тень, после купания в проточной воде разыгрался аппетит, мы сели кружком и стали есть желтую, с черными зернышками папайю.

Ребята много расспрашивали о Советском Союзе. Их мечта — учиться в СССР. Они выпытывали у меня подробности студенческой жизни. Некоторые уже после нескольких месяцев работы с нами довольно смело вставляли в португальские фразы русские слова, получалось очень смешно. И тут я вспомнил один эпизод и рассказал о нем ребятам.

Незадолго до нашей поездки я сидел после обеда в кабинете над каким-то переводом.

— Камарада Колья, можно войти? — В дверь просунулась курчавая голова нашего лаборанта Педру. Смущенно улыбаясь, он сказал: — Знаете, у нас есть машинистка, Кристина, она учит русский язык. Сама учит, дома. Но у нее нет ни учебника, ни словаря. Она хотела попросить вашей помощи.

Кристину мы все прекрасно знали. Каждое утро она приезжала на работу на ярко-синем мотоцикле, взлетала на лифте и садилась за машинку. Каждое утро я здоровался с ней по-португальски. А ведь мог бы и по-русски... На следующий день я принес ей учебник русского языка для иностранцев, и скоро мы уже вели простые беседы по-русски.

— А наш Самуэль знает всего два слова, — заметил Мавуянгу, — «поэхали» и «корошо». Он считает, что этого вполне достаточно...

Что добавить к этому? Я сказал ребятам, что скоро откроются курсы русского языка при университете, что приедут преподаватели из МГУ и других вузов СССР, что увеличивается число наших кинофильмов в кинотеатрах Мапуту, которые демонстрируются на языке оригинала с португальскими субтитрами. Конечно, они мечтали поехать учиться в СССР, но пока им надо получить среднее образование, а у большинства его нет, да и дел в молодой республике много...

Ветер гнал песок и замел машины до осей. Разминки ради мы откопали колеса — геологического инструмента под сиденьями оказалось много — и вытолкнули «лендроверы» на траву. Потом пошли гулять в сторону границы. Не заметили, как дошли до предупредительного столбика. Там дальше лежала ЮАР...

— А мой брат бывает в Южной Африке, — сказал Крешсенсиу. — Он шахтер, ездит туда каждую зиму по найму, работает где-то под Кимберли, потом возвращается на лето в Мапуту, а на следующую зиму обратно в ЮАР... — И вздохнул.

— А что, Крешсенсиу, тебе тоже хочется поехать в ЮАР?

— Да нет, камарада Колья, — жить и трудиться у нас как-то спокойнее, а работать там ой как тяжело...

— Ребята, а вы знаете что-нибудь из истории вашей страны? — спросил я вдруг. Мне почему-то стало чуть-чуть горько оттого, что вот уже год я живу и работаю здесь, в Мозамбике, что называется, «не по профилю» — как геолог, а не как историк-африканист.

— Знаем в общих чертах, больше — из приложений к газете «Нотисиаш». В школе нам этого не преподавали, камарада Колья, — за всех ответил Ланга.

Да, я как-то об этом не подумал. В школе им преподавали историю Португалии...

Мы подошли к тем самым рыбакам шангана, которые не так давно выловили акулу. Те сидели на песке и ждали, пока в котелке не сварится маниока — корнеплод, заменяющий здесь картофель. Вода долго не закипала — ветер все время сбивал пламя, но люди терпеливо ждали, а их главный — седой старик с морщинистыми руками — водил пальцем ноги по песку, вырисовывая какие-то фигуры. Мы подошли поближе, и кто-то из ребят протянул малышам карамельки. Те взяли и радостно зачмокали. Когда они поели и ушли наверх, в поселок, я подошел к рисункам, оставленным на песке стариком шангана.

Невероятно, но факт — там был готовый урок истории. Не часто бывают в жизни такие совпадения. Когда-то в Москве я занимался этой проблемой, и вот сейчас в забытом уголке Юго-Восточной Африки, окруженный жадными до любой информации молодыми африканцами, я стоял как зачарованный, уставившись в землю.

— Ребята, здесь новое напоминание об одной гипотезе.

— Какой? Расскажи. — Ланга, Крешсенсиу, Мавуянгу и Жайме тоже с любопытством вгляделись в рисунок.

На гладкой желтой поверхности мелкого песка старый рыбак нарисовал несколько лодок, людей, вооруженных гарпунами, и три рыбины. Лодки были округлой формы, похожие на те, что используют сегодняшние шангана при морской рыбалке вблизи берегов.

— Существует давний спор ученых-этнографов, — сказал я, волнуясь: смогу ли передать суть по-португальски. — В разное время в различных районах Африки ученые находили рисунки, похожие на этот. У меня дома есть их репродукции. На них — рыбаки, лодки, гарпуны, даже мелкие рыбы, даже рябь на воде. Когда мы были в провинции Замбезия, то спрашивали местных рыбаков макуа, знают ли они что-нибудь об этих рисунках. Те ничего не знали. Тогда мы спросили, кто же научил их рыбачить. Жители ответили, что их обучили этому португальцы — они привезли леску и удочки. «Но как же рисунки, — спрашивали мы, — ведь они сделаны почти с натуры задолго до португальцев!» — «Этого мы не знаем», — отвечали рыбаки.

Тут меня прервал Мавуянгу.

— Значит, рыбаки макуа ошибаются. Значит, был кто-то, кто научил их рыбачить. Мой дядя, например, отличный рыболов. Однажды...

— Погоди, не перебивай, — зашикали на него, и Мавуянгу притих.

— Да, кто-то научил их рыбачить. Но почему тогда рыбаки ничего не знают о своих учителях? И вот, перелистывая старые книги о Мозамбике, ученые наткнулись на описание одного кораблекру-

Теперь эта акула не страшна даже ребятишкам...

шения, которое произошло неподалеку от сегодняшней Бейры в 1589 году. На берегу потерпевшим повстречался португалец, который и рассказал о людях на маленьких лодках, рыбачащих на реке. Когда они хотят получить что-нибудь с берега, то издают странные звуки, похожие на свист и щелканье.

— Но ведь такой язык я слышал однажды, только не помню где, — заявил Ланга. — То ли в Манике, то ли в Шай-Шай.

— Вот-вот. Здесь-то и кроется разгадка тайны рыболовов, учителей макуа и шангана. Щелкающий язык имеется только у представителей так называемых койсанских народов. В Мозамбике это готтентоты! Выходит, они, а не португальцы, были подлинными наставниками рыболовов банту...

А потом ребята вспомнили, что не раз встречали в поездках по стране потомков готтентотов. И это еще раз убедило меня в том, что неизвестные художники изобразили именно их.

Не знаю, что навело меня на эту тему — океан ли, песчаный берег, рыбаки шангана? А может быть, и сами наши молодые дотошные помощники, которые сидели на песке и думали каждый о своем.

Через час начинались сумерки, пора было возвращаться. Обратно ехали с зажженными фарами и ужинали уже на ходу. Несколько раз луч выхватывал из темноты зайца или газель в прыжке. Мы приближались к Мапуту.

Н. НЕПОМНЯЩИЙ

«ЕДИНСТВЕННЫЙ АДРЕС МНЕ, ДА И ВСЕМ МАЛОМАЛЬСКИ ДУМАЮЩИМ РУССКИМ ХУДОЖНИКАМ ИЗВЕСТНЫЙ ОДИН — ЭТО: ЛАВРУШИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК».

Из письма И. Н. Крамского П. М. Третьякову

ЗАВЕЩАНО НАРОДУ

ЕСТЬ В СТАРОМ Замоскворечье тесноватый и тихий Лаврушинский переулок. Но знаменит он не меньше, чем самые большие площади и улицы Москвы. Знаменит он домом, который невозможно спутать ни с одним другим. На фасаде старинный герб Москвы, по бокам от герба надписи славянской вязью: «Московская городская художественная галерея имени Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых. Основана П. М. Третьяковым в 1856 году и передана им в дар г. Москве в 1892 году совместно с завещанным городу собранием С. М. Третьякова».

...31 августа 1892 года шестидесятилетний Павел Михайлович Третьяков, известный коллекционер русской живописи, решил передать в дар родному городу свою коллекцию, собранию которой посвятил тридцать пять лет своей жизни. Он самолично отвез в Московскую городскую думу составленное им «заявление», в котором говорилось: «Желая способствовать устройству в дорогом для меня городе полезных учреждений, содействовать процветанию искусства в России и вместе с тем сохранить на вечное время собранную мной коллекцию, ныне же приношу в дар Московской Городской Думе мою картинную галерею со всеми художественными произведениями...», а также указывалось, что она должна быть «открыта на вечное время для бесплатного обозрения всеми желающими не менее четырех дней в неделю в течение всего года».

В 1893 году «Московская городская галерея имени братьев Третьяковых» была торжественно открыта, а несколько позже был выпущен каталог выставки, где было указано, что в галерее 22 зала, вместившие 1276 полотен русских художников. Кроме того, в собрание музея вошли 471 рисунок, 10 скульптур русской школы, а также 84 картины зарубежных авторов, собранных Сергеем Михайловичем Третьяковым.

...Купец, владелец льняной мануфактуры, Павел Михайлович Третьяков принадлежал к той прогрессивной части купечества, которая внесла неоценимый вклад в развитие национальной культу-

ры. Патриот своей страны, свято веривший в величие русской культуры, он мечтал устроить «художественный музеум или общественную картинную галерею» для всех людей, независимо от сословия. В 1856 году Третьяков приобретает первые картины — «Искушение» Н. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Худякова — этот год становится началом создания галереи.

Возникновение коллекции Третьякова, становление его художественных вкусов и эстетических воззрений совпадают с движением художников-передвижников, созданием национальной живописной школы, утверждавшей реализм как основу любого искусства, а значит, и его демократизацию.

Большой художественный вкус — «чутье на настоящее», глубокое понимание русской живописи и стремление представить в своем собрании историю развития отечественного искусства помогали ему отбирать для своей галереи наиболее значительное, прогрессивное, что создавалось в мастерских и появлялось на выставках художников. «Бывало, в декабре... — вспоминает М. В. Нестеров, — начнутся паломничества Павла Михайловича по мастерским, по квартирам, комнатам, «меблирашкам», где проживал наш брат художник. ...Входил высокий, «старого письма» человек... приветливо здоровался, целуясь, по московскому обычаю, троекратно с встречавшим хозяином, и, приглашенный им, входил в мастерскую... Начинал свой объезд... со старших — с В. М. Васнецова, Сурикова, Поленова, Прянишникова, Влад. Маковского, потом доходил и до нас, младших: Левитана, Архипова, меня, К. Коровина и других».

Основное ядро коллекции составили произведения В. Перова, И. Крамского, И. Шишкина, В. Сурикова, В. Васнецова, И. Репина, Н. Ге, других наиболее талантливых художников «старшего поколения передвижников». Наряду с этим Третьяков одним из первых протянул руку художникам «второй волны», молодым и тогда еще неизвестным И. Левитану, В. Серову, К. Коровину и многим другим, чьи полотна вскоре по праву заняли почетное место в галерее.

Большая заслуга Третьякова заключалась и в том, что наравне с моральной поддержкой художников, выставлявшихся в Третьяковке, а значит, имевших зрителей, он оказывал и финансовую помощь. Многие впоследствии вспоминали, что его своевременная помощь не просто помогала в затруднительных ситуациях, а зачастую спасала от «нищеты, кредиторов, ломбардов и голодных обмороков».

...В день смерти Павла Михайловича проводить его в последний путь пришли тысячи людей. Гроб его несла группа друзей-художников во главе с Васнецовым и Поленовым. Москва провожала человека, «совершившего великий подвиг».

Действительно, это был подвиг. В годы борьбы с царским самодержавием картины художников с беспощадной правдивостью рассказывали о народной жизни и становились тем зарядом, который оказывал огромное эмоциональное воздействие на зрителей, становились призывом к борьбе с тиранией и деспотией. В стенах галереи передовая интеллигенция проходила своеобразную школу духовного становления. «Еще нигде не описаны те переживания революционеров, те клятвы, которые давали мы там, в Третьяковской галерее, при созерцании таких картин, как «Иван Грозный», «Утро стрелецкой казни», «Княжна Тараканова»... — вспоминал друг и соратник В. И. Ленина В. Д. Бонч-Бруевич. — Мы созерцали и

«Неравный брак», рассматривая его как вековое угнетение женщины... часами созерцали военную, жестокую и ужасную эпопею Верещагина, и долго-долго смотрели нашу судьбу русских, нашу судьбу на этапах картины Ярошенко, и близко понимали «Бурлаков» и тысячи полотен и рисунков из жизни рабочих, крестьян, солдат, буржуазии и духовенства».

Новый период в жизни галереи начался после Великой Октябрьской социалистической революции. Ленинским декретом от 3 июня 1918 года Третьяковская галерея была национализирована. В декрете указывалось, что «Третьяковская галерея является по своему культурному и художественному значению учреждением, выполняющим общегосударственные просветительские функции...», а также указывалось на огромное значение музея в деле развития социалистической культуры и воспитания трудящихся Российской Республики. Галерея стала подлинно народным достоянием.

После революции Третьяковская галерея значительно пополнила свой фонд. Она объединила в одно общее собрание произведения Русского отдела Румянцевского музея, среди которых была коллекция полотен русских художников Ф. И. Прянишникова, о приобретении которой всю жизнь мечтал Третьяков; Цветковской городской галереи, великолепную коллекцию икон, собранную художником Остроуховым, и ряд частных собраний, ранее недоступных для широкого зрителя. Появился и совершенно новый отдел, где представлено многонациональное советское искусство, наследовавшее лучшие традиции русской реалистической школы. Здесь находятся работы таких советских мастеров, как П. Корин и Б. Иогансон, М. Греков и У. Тансыкбаев, С. Герасимов и Т. Салахов, К. Петров-Водкин и М. Сарьян, П. Кончаловский и И. Заринь, А. Дейнека и А. Пластов, Вл. Серов, и других, которые в своем творчестве отобразили историю нашего государства. Уникальна Лениниана Н. Андреева, имевшего возможность рисовать и лепить с натуры В. И. Ленина.

Сегодня Третьяковская галерея — один из крупнейших культурных и научных центров страны. Каталогизация собрания и научные конференции, монографические и тематические выставки — вот далеко не полный перечень научно-пропагандистской деятельности сотрудников галереи. За годы Советской власти здесь возникли новые формы популяризации русского и советского искусства — экскурсии и лекции, школьные кружки и студенческие циклы, встречи с художниками и дни открытых дверей. Не забыта и старая традиция — передвижные выставки. Не так давно малые копии наиболее известных картин галереи вместе с коллективом агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ленинский комсомол» побывали в гостях у жителей Нечерноземья.

Популярность музея возрастает с каждым днем. Ежегодно количество посетителей галереи насчитывает более 1 миллиона 700 тысяч человек. И потому мы можем с полным правом повторить слова известного русского критика В. В. Стасова: «Приедет ли в Москву человек из Архангельска или из Астрахани, из Крыма, с Кавказа или с Амура, он тотчас назначает себе тот день и час, когда ему надо, непременно надо идти... на Замоскворечье, в Лаврушинский переулок и посмотреть с восторгом, умилением и благодарностью весь тот ряд сокровищ...»

А. КУСУРГАШЕВ

«ИСПОЛНЕНИЕ роли молодого человека — дело вовсе не простое, а главное, ответственное. На экране должен появиться молодой человек, собравший в характере черты, свойственные времени. Он должен быть не просто узнаваем, но и принимаем зрителем как личность. Личность, неравнодушная к главным вопросам эпохи...» Эти слова актера, недавно переступившего порог тридцатилетия, говорят о всей ответственности выбора своего пути. Становится понятным, почему молодой актер Московского Художественного академического театра имени Горького Виктор Фокин столь категоричен в определении своей актерской задачи. Перед зрителем он предстает человеком мыслящим, стремя-

О работе молодого актера театра и кино Виктора Фокина над образом нашего современника

щимся сделать правильный выбор в жизни согласно совести и гражданскому долгу. Дело это действительно непростое, ибо не всегда материал сценария и специфические возможности кинематографа подразумевают свободное развитие характера, и для того чтобы добиться хорошего результата, надо проявить максимум творческой фантазии и особого рода требовательности к собственной личности. Ведь те высокие идеалы, к которым стремится герой, должны стать твоими идеалами. Это непреложное правило — основа художественной убедительности. И если автор ставит целью выразить в своем произведении основные черты времени, то дело актера дать проявление этих черт в характере героя с достаточной полнотой и без искажений. «Чувство времени — особое состояние человеческого духа, выражающее готовность служить не только искусству, но и своему народу. Именно оно может помочь выбрать то необходимое, без чего образ не станет достоверным» — эти слова актера подтверждаются его работой в кино. Сыгранные им роли составляют единый ряд героев, близких друг другу своими жизненными принципами.

Совсем недавно на афишах кинотеатров появилось название фильма «Вторжение», снятого кинематографистами Украины. В этом фильме Виктор сыграл роль молодого офицера, отправляющегося после окончания училища на западную границу в самый канун Великой Отечественной войны. Герой на пороге самостоятельной жизни, но зритель уже понимает, какие испытания должны выдержать его первая любовь и юношеские идеалы. Сердце наполняется болью, когда смотришь на красивого энергичного парня Павла Глазкова, спешащего определить свое место в жизни. Трудовая героика предвоенного времени, энтузиазм эпохи заставляют его стремиться к возвышенным поступкам, а идеализм чувств — искать романтической любви. Не все выходит гладко. Где-то поспешит он с оценкой, где-то оступится по незнанию и ошибется в выборе по неопытности, но главное — честность и ясность устремлений, твердость характера и верность гражданскому и патриотическому долгу у Павла Глазкова несомненны. И это помогает нам понять, почему руками его и его сверстников выкована Победа...

Пятнадцать лет назад поступавшего в Днепропетровское театральное училище на режиссерское отделение Виктора Фокина спросили, чем вызван столь ранний выбор профессии режиссера. Он азартно, по-мальчишески торопливо ответил: «Да потому, что это МОЙ ПУТЬ В КИНО!» Эти слова Виктора до сих пор вспоминает первый наставник и учитель его Нелли Михайловна Пинская. Именно она помогла определиться творческому дарованию, направила первые шаги молодого ученика на тернистом пути служения искусству. Именно Нелли Михайловна рекомендовала Виктора Фокина как лучшего выпускника курса направить для дальнейшего обучения в школу-студию МХАТа.

...Продолжая разговор об образах, созданных Виктором Фокиным в кинематографе, нельзя не вспомнить Ивана Капелюха — героя фильма «Тревожный месяц вересень», снятого по одноименной повести Виктора Смирнова талантливым режиссером Леонидом Осыкой. Демобилизованный после тяжелого ранения Иван возвращается в родную прикарпатскую деревню и по заданию райкома комсомола один ведет бой с бандой бандеровцев. Неподвижное лицо, застывшее страдание в серых глазах и зрелое

мужество испытанного сражениями солдата — таков Капелюх в исполнении Виктора Фокина. Немногословность и однозначность стремления во что бы то ни стало уничтожить врага, несущего горе и страдание односельчанам, открывают зрителю закаленный войной, надежный характер парня-комсомольца. Боевой опыт, помноженный на опыт нравственный, помогает герою одержать победу в схватке с лютыми бандитами. Фильм был отмечен премией Всесоюзного кинофестиваля, а работа Виктора Фокина названа в числе лучших...

Школа-студия МХАТа стала для Виктора серьезным испытанием. В ряду равных по одаренности сокурсников приходилось совершенствовать не только мастерство, но и творческое мировоззрение. Непрерывные занятия, чтение литературной классики, профессиональный и нравственный рост под руководством прославленных мастеров отечественной сцены П. В. Массальского и А. К. Тарасовой помогли молодому актеру достойно завершить обучение. Роль в спектакле «Унтиловск» по пьесе Л. М. Леонова была единодушно одобрена и зрителями и педагогами школы-студии. Виктор Фокин показал себя как актер острохарактерный, наделенный способностью не только точно переносить в образ замысел автора, но и обогащать героя новыми образными чертами. Потому-то выпускнику училища в числе двенадцати отличившихся была предложена работа актера в прославленном МХАТе с правом режиссерской постановки. И снова творческие будни. Репетиции, новые роли и вводы в уже давно идущие на сцене театра спектакли... Жизнь интересная и оправданно напряженная!

...Студент в стройотрядовской куртке, центральный персонаж фильма «Исполняющий обязанности». Парень вопреки досужему мнению, высказанному одним из героев фильма, наделенный лучшими чертами молодого современника: деятельный, масштабно мыслящий и волевой. В ущерб первому своему архитектурному проекту он добивается того, чтобы был запрещен снос здания, имеющего историко-революционное значение. Такой была первая работа, первая главная роль Виктора Фокина в кино. И наверное, ему все-таки повезло, что именно с образа современника началось его творческое осмысление характера советского молодого человека. Сыграв парня, в чем-то похожего на него самого, актер обратился к прошлому и в опыте поколений предшествующих нашел много общего и для себя, и для своих героев.

Восемь лет, проведенные в труппе Художественного театра, своеобразный кинематографический триптих сыгранных ролей — это далеко не итог. Нелепо говорить об итогах в тридцать с небольшим лет. И тем не менее в логичной завершенности исторического образа, в постоянном стремлении дополнить этот образ в новых работах и на сцене и в кино есть, думается, закономерность. Закономерность обобщенного восприятия действительности. Закономерность, позволяющая судить о полноте творческого и гражданского мировоззрения молодого артиста.

У молодежи ныне много важных и нужных народу дел. Готовность запечатлеть то, как вершит их наш современник, желание создать исторический портрет советского молодого человека — лучший залог счастливой творческой судьбы.

Удачи тебе, Виктор Фокин!

Сергей ЛЫКОШИН

Людмила КИСЕЛЕВА

ЕСЛИ СЕРДЦЕ ПРИЧАСТНО...

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ с вами рассказом о своей судьбе, о своих поисках, радостях, находках, мыслях и потому посылаю вам это письмо.

С раннего детства я больна — не могу ходить. Дома окончила школу. Поступила в заочный народный университет искусств на факультет рисунка и живописи. Мне хочется рассказать о своем духовном становлении и, может быть, таким способом попытаться понять самой и поделиться с другими, чем счастлива человеческая жизнь, ведь счастье не где-то там, далеко, а в каждом из нас. Мысль стара, но каждый сам постигает истины через свои поиски и заблуждения.

Мне повезло на встречи с людьми умными, интересными, отзывчивыми — они много сделали для меня. И пришла пора, когда я почувствовала себя должницей. Должна рассказать, поделиться тем, что имею сама, чем когда-то поделились щедро со мной. Эта невидимая миру связь — она неизбежна между людьми, если чувствуешь себя жителем всей Земли и сам ты — человек.

После публикации моих рисунков приходит множество писем, и я остро ощущаю, как жаждут люди общения, разговора, что называется, по душам, готовы поделиться самым сокровенным в надежде встретить понимание и сочувствие, хотят услышать что-то очень важное для себя и о себе.

Но тревожит меня и другое, то, что нередко встречается в молодых людях. Это тот рационализм, та рассудочность, когда все учитывается, все взвешивается с точки зрения полезности для себя того или иного поступка, которая удерживает человека от порывов сердца, порывов благородных, в основе которых прежде всего понятие о чести и добре.

Но, размышляя об этом, невольно обращаешь взгляд внутрь себя и думаешь: дети не рождаются ни плохими, ни хорошими. Значит, что-то неблагополучно в нашем взрослом мире. Тогда и встает вопрос: «А что могу лично я, без ссылок на других, на обстоятельства?» Мои рисунки — это то, что я могу. Много или мало —

этого, к сожалению, никогда не видно художнику, это не взвесить ни на каких весах. Я мечтаю о том, чтобы рисунки вызывали в человеке то лучшее, что в нем не погасло, а только «забылось» где-то глубоко внутри — его добро и свет.

МОЕ НЕБО — потолок. Где-то там — ветра и туманы, движение, многоцветность, многоголосица улицы, и мир вроде бы от меня далеко.

Когда ты родился больным и это уже навсегда, то кажется, что так и должно быть, и все привыкают, и сама привыкаешь... Вот только душа наполняется тоской по чему-то неведомому, но и это с возрастом проходит.

Прошло... Все, к счастью и к сожалению, проходит. Вот эта мысль о каждом уходящем мгновении тревожит меня теперь. И мне кажется, что еще чуть-чуть напряжения и я пойму самую главную тайну человечества: для чего мы живем? Зачем страдаем, боремся, ищем и куда уходит все? Во что обращаются наши находки и потери?

Мой городок, в котором я родилась... Я видела его лишь в редкие часы поездок на машине. Зрительный его образ отложился в моей памяти как нечто патриархальное. Его улочки, дома, где все на горе или под горой, навевают настроение покоя, уюта, тишины, даже постоянный гул автомобилей за моим окном не разрушает этого представления.

Тишина и покой побуждают к работе мысли, но они же способствуют лености. Все двояко в этом мире. Но человеку дано выбирать. И я склонна думать, что не бешеные темпы, ритмы, смена впечатлений определяют напряженность духовной жизни.

В Москве живет моя подруга, дизайнер. Человек, профессия которого — украшать. Всегда унылым голосом она рассказывает мне о своей работе, о столичной сутолоке, давке в метро и в автобусах, о том, как незаметно, буднично проходят дни, как быстротечно время... Вот только на этой последней мысли мы с ней и сходимся.

...Хорошо, что мы не встретились, когда я впервые взяла в руки карандаш и попробовала рисовать, рисовать плохо, беспомощно и, казалось, безнадежно. Теперь мои друзья тех времен признаются, что свысока посматривали на мои первые рисунки и поражались, зачем я занимаюсь не своим делом.

В который раз брала я безгласный, бездыханный в своей белизне лист бумаги и копировала то, что попадало в поле зрения, веря, что вот это и есть искусство, что вот если однажды получится у меня каждая прожилка на листке цветка, каждая веснушка на лице соседки — вот это и есть предел мастерства... Цветок получался «как живой», и все ахали, как похожа соседка на моем рисунке, только дыхания в них не было. Увы, не с умения воспроизводить натуру начинается художник. «Зорко одно лишь сердце — самого главного глазами не увидишь», — говорил Сент-Экзюпери. Сколько времени прошло, прежде чем я увидела мир в линиях, очерчивающих формы! Эта линия плавная и нежная, если она — девушка, мать, ребенок; тревожная и напряженная, если она — плач, боль, горе; изломанная, кричащая, если она — война...

Из детства вынесла, пожалуй, одно самое острое ощущение — ощущение своей беспомощности, беззащитности. Среди детей чувствовала себя «белой вороной». Легко могла заплакать, но не умела легко рассмеяться. Стоило остаться одной, огромный страх расползался по всем уголкам. Так и сидела, боясь пошевелиться, пока кто-то не придет.

Не знаю, в какую минуту приходит осознание самого себя, конечно, к каждому в свое время, да и не вдруг, не сразу, но вот понимаешь, каким тебе хочется быть.

Даже совсем маленькой я видела: люди ценят силу — сначала физическую, взрослея — силу ума, таланта, понимания, старея — силу внимания, добра... Они любят тех, кто весел, они тянутся к тем, кто излучает бодрость, с кем надежно, интересно, кто их поймет.

И чтобы вырваться из плена своего одиночества, мне надо было стать такой. Тогда люди придут ко мне. Через их судьбы, их ощущения, дела, мысли я прикоснусь к тому миру, который для меня за горизонтом... Книги, долгое время бывшие для меня развлечением, однажды обрели всю свою бесценность. Книги, мировая душа человеческая со всеми ее бедами, противоречиями, катастрофами, идеями, озарениями, в соприкосновении с которой наполняется и твоя душа ее опытом, мудростью понимания... Когда так много носишь в себе, то невозможно жить, никому ничего не отдавая. И когда есть что сказать друг другу, жажда общения неизбежна.

Незаметная точка на огромной географической карте — мой город. Не велики события его жизни. Но если сердце причастно к миру, то сжимается оно, узнав о событиях в Чили, и с тревогой следит за границей Вьетнама, и прекрасное мужественное лицо Фиделя Кастро появляется на одном из моих рисунков — так хочет сердце. И тогда маленький дом вырастает до необыкновенных размеров. И неважно, в огромном городе ты живешь или в селе...

У каждого рождается в искусстве своя тема. Так она вызрела во мне: чудо каждого дня. Облака на небе — приглядись! — похожи то на прекрасное платье сказочной волшебницы, летящей над землей, то на странного неведомого зверя. А струи дождя! Они словно струны, натянутые между небом и полем. Пролетит сквозь них стая ласточек, зацепит крыльями, и зазвенят, задрожат струны нежной песней. Если посмотреть себе под ноги, то можно увидеть еще одно чудо: нежнейшее пушистое гнездышко — одуванчик. Но только его нельзя трогать руками, исчезнет — чудо неприкосновенно. И вот еще одно: девчушка, хрупкая и беззащитная, под режущими струями дождя среди ночи держит зонтик над звездой, чтоб не погасла, ведь звезды так нужны людям.

Ну а старость? Какая тут красота? Но как прекрасно лицо женщины в осени! Как светла печаль ее легкой улыбки, мудры глаза, добры большие натруженные руки, которые все могут, все умеют! Это руки моей мамы. Красота всюду. Я увидела ее в каплях дождя, рассыпавшихся, словно бусинки, по волосам моей подруги, и в добром свете глаз моего отца, и на румяных щеках моего пятилетнего друга Вовки, она в стуке сердец влюбленных, встретившихся в моем доме, и в комочке снега, принесенном с улицы моими дру-

Л. КИСЕЛЕВА.
Куда уходит детство *Забытый портрет*

зьями в стакане, и в осенней ветке клена, стоящей в вазе на моем столе...

Нет, конечно, подруга-дизайнер права: гениальным себя не сделать, талант из ничего не родишь. Но разве мы рождаемся ни с чем? А дар образного восприятия мира — разве он не природен? Посмотри, как рисуют дети, как зорко их сердце! Маленький человек, зависимый от всех и вся, какой наполненной внутренней жизнью он живет!

Из моего окна видна унылая стена соседнего дома, чуть пониже — концы ветвей деревьев, чуть дальше — собор с куполами-шлемами, как у древних русских витязей, который я так люблю рисовать зимой, а чуть выше, в самом уголке рамы, — кусочек неба и две-три звезды на нем. Вот и вечер. Еще один день прошел. Пройдет лето. Придет осень. Мне теперь так хорошо осенью. Это пора домашнего уюта, тепла. Вот только в лес осенний хочется, когда облетит с деревьев листва и покинут нас птицы, исполнив свое природное дело, и кругом тишина, покой, а воздух чистый, морозный, видно далеко-далеко, и смирно так в душе...

КРАСНЫЙ ЦЕХ

Московскому комбинату «Красная Роза» имени Р. Люксембург сто четыре года. Хорошо помнит он и начало нашего века, и грозовой, всю Россию потрясший девятьсот пятый год, и семнадцатый, и первые наши пятилетки... Когда-то небольшая фабрика, родившаяся в Хамовниках, рабочем районе Москвы, не осталась в стороне от событий, захвативших трудовые массы. Недаром на знамени комбината орден Октябрьской Революции...

Рассказывать о «Красной Розе» можно много — это был бы интересный рассказ о славных революционных, боевых и трудовых традициях большого коллектива, его заметных успехах в работе, отмеченных высокой наградой. Мы же сегодня, отмечая замечательную дату — день рождения пионерской организации имени В. И. Ленина, расскажем лишь об одном цехе, даже об одном из участков цеха — на комбинате его называют з а л о м.

Здесь, в этом зале, на ста четырнадцати станках ткут шелковое полотно для пионерских галстуков. Работают на этих станках в основном молодые ткачихи, сами недавно носившие пионерские галстуки...

Ткачество вообще — дело нелегкое, трудоемкое, требующее особого, пристального внимания на всех стадиях изготовления ткани. А выпуск галстучной ткани — особая статья.

Схематически процесс можно изобразить так: поступает на комбинат искусственное волокно, из него делают так называемую основу, затем эту основу шлихтуют, то есть пропитывают особым раствором, а уж потом она идет на ткац-

Ткачихи комсомолки Валентина Кирина (слева) и Елена Духанина.

кие станки. Особого внимания требует это производство потому, что другого такого зала в нашей стране нет! Он — единственный.

— Мы выпускаем десятки миллионов метров галстучной ткани в год, — говорила нам Валентина Сергеевна Кузнецова, сменный мастер, секретарь партийной организации цеха. — Пионерия — огромная армия, растет она ежегодно, и нам ежегодно приходится увеличивать выпуск. А какая ответственность! В зоне внимания не только количество, но и — главное! — качество. Ткань должна быть отличной.

Что ж, пионеры могут не беспокоиться, цех справляется со своими задачами успешно. Задания и по выпуску и по качеству выполняются из месяца в месяц, из года в год. Работают в красном зале хорошие мастерицы, каждый пятый в коллективе — коммунист или комсомолец. Среди лучших — молодые ткачихи комсомолки Валентина Кирина, Анна Андросова, Женя Жданова, Лена Духанина... Все они выпускницы ПТУ, прошедшие хорошую профессиональную выучку.

...Просторный зал наполнен ровным гулом станков. Текут бесконечные широкие ленты шелка. Внимательно присматривают за станками ткачихи, следят, чтобы ни на минуту не нарушался четкий ритм, не прерывался алый поток...

В. НИКИШИНА

Юные ленинцы.

Фото А. Бочинина

Егор ИВАНОВ

НЕГРОМКИЙ ВЫСТРЕЛ

Роман-хроника

Продолжение. Начало на стр. 110

В четыре часа посол ехал на свидание со своим штатным осведомителем, господином Б. из «прогрессивных кругов», и допрашивал его о том, как проходит в стране мобилизация, нет ли инцидентов в воинских присутствиях, как народ реагирует на войну. Вечером Палеолог ужинал со своим старым другом послом Британии сэром Бьюкененом и в определенных дозах делился с ним энтузиазмом и информацией.

Он побывал за считанные дни во всех самых известных салонах и даже у графини Клейнмихель, где его особенно интересовало, как барон Розен, князь Мащерский и министр Щегловитов, всегда проповедывавшие соглашение с германским императором, будут теперь высказывать свои мнения. Оказалось, что крайние правые и немецкая партия, дух которой был особенно силен в салоне графини, потрясена нападением германизма на Сербию и славянство. Спасти Сербию и наказать германизм — вот единый дух салонов. А то, что при этом следует и кое-что прихватить из чужого, например турецкого владения, — это уже вопрос второй, к благородному негодованию не относящийся.

Сегодня, направляясь на виллу «Александрия» для аудиенции, которую ему устроил Сазонов, а после этого во дворец Знаменки, где находился пока Верховный главнокомандующий, посол хотел как бы подвести итог своим первым наблюдениям и сообщить в Париж президенту и другу Пуанкаре о том, как блестяще он выполняет в Петербурге его поручение.

Летний дворец русского царя утопал в цветах. Посол важно проследовал в приемную, ведомый скороходом и церемониймейстером. Адъютант его величества исчез доложить о министре союзной державы, но что-то долго не возвращался. Потом, несколько смущенный, пришел в гостиную, где восседал Палеолог, и просил немного подождать. Поговорили о нынешнем отъезде его высочества великого князя в ставку, о том, как четко — минута в минуту — идут воинские эшелоны со всей России на Запад, туда, где собирается под знаменами русская армия.

Через несколько минут, показавшихся Палеологу часами — так он хотел скорее увидеть императора, — посла пригласили в кабинет царя.

— Я хотел, — негромко говорит Николай, — выразить вам свое удовлетворение позицией Франции. Показав себя столь верной союзницей, ваша страна дала миру незабвенный пример патриотизма и лояльности. Прошу вас, господин посол, передать правительству Франции и особенно моему другу президенту мою сердечную благодарность...

«Неужели это все, ради чего я качался на яхте и ждал в приемной?..» — недовольно думает посол, но с умилением старого дипломата льстивым голосом произносит ответную речь.

— Правительство республики будет очень тронуто благодарностью вашего величества, — начинает Палеолог, заведомо зная, что российский самодержец терпеть не может даже само слово «республика». Но посол подчеркивает именно его и продолжает, искусно придавая своему голосу волнение, которого вовсе не испытывает. — Мое правительство заслужило ее тою быстротой и решительностью, с которыми выполнило союзнический долг, когда убедилось, что дело мира погублено...

Палеолог хорошо знает, что произносит лживые и пустые слова, поскольку Франция еще никакого своего союзнического долга не выполнила, а, наоборот, делала и делает все, чтобы толкнуть Россию на Германию, заставить ее осуществить только тот план военных действий, который будет выгоден Антанте и совсем невыгоден России.

— В роковой день, когда бессовестный враг объявил войну России, — патетически восклицает посол, — мое правительство не колебалось ни одного мгновенья...

— Я знаю, знаю... Я всегда верил слову Франции... — перебивает посла Николай. Царь, подбирая некоторые слова, медленно и задумчиво выражает надежду, что соеди-

ненной мощью Антанты Срединные империи будут повержены через три-четыре месяца.

— Какой ужасной опасности подвергнется Франция в первые дни войны, — закатывает глаза посол, — французской армии придется выдержать страшный натиск двадцати пяти германских корпусов... Я умоляю ваше величество предписать вашим войскам перейти в немедленное наступление, иначе французская армия рискует быть раздавленной. Тогда вся масса германцев обратится против России.

— Милый посол, не волнуйтесь так, — отвечает на паническую тираду Палеолога Николай. — Как только закончится мобилизация, я дам приказ идти вперед. Мои войска рвутся в бой. Наступление будет вестись со всею возможной силой. Вы ведь, впрочем, знаете, что великий князь Николай Николаевич обладает необычайной энергией...

Посол доволен. Он получил заверения самодержца, о которых сегодня же сообщит шифрованной телеграммой в Париж. Кроме того, он имеет основание говорить об этом во всех салонах и подталкивать русских на наступление, ссылаясь на слова самого царя.

НОВАЯ ЗНАМЕНКА, АВГУСТ 1914 ГОДА

С глубоким душевным удовлетворением покинул Палеолог царскую виллу «Александрия».

Палеолог мысленно набрасывал депешу в Париж. Вчерне закончив ее и утвердив в памяти, он принялся продумывать предстоящую беседу с великим князем. Для этого потребовалось вызвать образ Верховного главнокомандующего.

Перед внутренним взором посла возник человек гигантского роста, с длинным лошадиным лицом и белесыми злыми глазами.

«Натура мелкая и тщеславная. Обладает известной волей, переходящей, впрочем, часто в упрямство, громовым голосом и слабостью к крепким русским выражениям, из-за чего у великого князя происходили ссоры с гвардейскими офицерами, не терпевшими оскорблений, — припоминал посол штрихи к характеристике нового вождя русской армии. — Покрывает всячески «своих», не дает их в обиду, даже если они и заслуживают наказания...»

Палеолог вздохнул и решил настроить себя более благожелательно к великокняжескому семейству — ведь уже показался дворец.

По случаю предстоящего отъезда великого князя в Ставку в приемной, гостиных и всех залах первого этажа дворца толпился народ. Суматоху возглавлял генерал-майор Саханский, управляющий «малым двором» — великого князя и княгини, он же глава свиты. Теперь он был назначен комендантом Ставки и своими бестолковыми распоряжениями персоналу резиденции лишний раз доказывал, что в России начальство ценят не за ум и деловитость, а за умение так запутать дело, что десяток мудрецов не разберут, где его конец, а где — начало. Саханский был такой же великий путаник, как и сам Николай Николаевич, а поэтому особенно им ценим.

Толпы знакомых набежали поздравлять великого князя с назначением, а заодно и проститься с ним. Это были представители самых аристократических фамилий, родители бесчисленных Владь, Кок, Жоржей и Алексов, которых по протекции великого князя взяли из гвардейских полков, сбиравшихся в бой, и устроили на безопасные и теплые штабные местечки.

«Он уже выиграл свое главное сражение, — подумал Палеолог, увидя в гостиной Николая Николаевича цвет петербургского общества. — Теперь ясен секрет его популярности — это не только лучшая конюшня в России, но и бурная пропаганда в пользу великого князя сливками общества и их храбрыми отпрысками...»

При виде посла союзной державы в прихожей и кое-где в залах раздались возгласы: «Да здравствует Франция!» Услышав их, хозяин дома выглянул из кабинета, где беседовал с толстяком Родзянко, председателем Государственной думы. Заметив посла, он извинился перед Михаилом Владимировичем и широким жестом пригласил к себе Палеолога. Не раздумывая, Николай Николаевич привлек к себе посла, стеснявшегося своего маленького роста, и обнял его.

— Господь и Жанна д'Арк с нами! — восклицает Николай Николаевич, и сильный перегар шампанского распространяется от него. Лакей вносит поднос с бокалами, полными этого золотистого напитка. Палеологу ничего не остается, как взять один себе, Николай Николаевич ставит на свой стол сразу два.

Пока он занят этим делом, у посла мелькает мысль о

том, что великий князь, хотя и владеет французским языком, но, очевидно, незнаком с историей Франции. Иначе он не призывал бы Жанну д'Арк, ибо теперь война идет не за то, чтобы «изгнать англичан из пределов Франции», а залучить их туда — и как можно скорее.

Отхлебнув напитка «вдовы Клико» *, возбужденный не в меру гигант, с лица которого не сходит счастливое выражение от столь желанного назначения и не менее желанного отъезда на войну, продолжает громким голосом:

— Мы победим! Разве провидению не угодно было, чтобы война разгорелась по такому благородному поводу — защитить Сербию, охранить слабых!

Выразив в поздравлении нужную степень энтузиазма от слов Верховного главнокомандующего, Палеолог решает приступить к делу.

— Через сколько дней, ваше высочество, вы перейдете в наступление? Двадцать пять германских корпусов уже стоят на пороге прекрасной Франции, чтобы раздавить ее, как гроздь винограда солдатским сапогом!..

— Дорогой посол! Я прикажу наступать, как только эта операция станет выполнимой, — уверяет великий князь. — И я буду жестоко атаковать. Может быть, я даже не буду ждать того, чтобы было окончено сосредоточение моих войск. Как только я почувствую себя достаточно сильным, я начну нападение...

— Ваше высочество, — настойчиво и нахально нажимает Палеолог на Николая Николаевича, — но согласно франко-русской военной конвенции, под которой стоит подпись генерала Янушкевича, Россия обязывается выступить на 15-й день после начала мобилизации! Это документ, который следует уважать!..

Между делом Николай Николаевич опрокидывает второй бокал, все более вдохновляясь, расписывает представителю союзника, как лихо его войска начнут бить немцев.

Палеолог следит за всеми его движениями по карте, чтобы вечером живописать свой визит в Знаменку в дневнике, который, как он уверен, войдет в историю, и в документе, который посол отправит на Кэ д'Орсе.

Николай Николаевич настолько воодушевляется к концу разговора, что слезы умиления и торжества показываются на его глазах.

---

* Марка французского шампанского.

— Будьте добры передать генералу Жоффру самое горячее приветствие и уверение в моей полной вере в победу. Скажите ему также, что я прикажу рядом со штандартом главнокомандующего поставить знамя Франции, которое он подарил мне два года назад, когда я присутствовал на маневрах у вас на родине...

С силой сжимая руку посла, великий князь провожает его до двери и восклицает на прощанье:

— А теперь — на милость божию!

БУДАПЕШТ, АВГУСТ 1914 ГОДА

Прежде чем идти на встречу с Гавличеком, Соколов собрался побродить по городу, в котором ему еще не довелось бывать. Дотошный разведчик, Алексей, разумеется, знал многое из истории мадьярской столицы и Венгрии, прекрасно изучил ее армию, называемую Гонвед, имел представление о характерах политических деятелей и о многом другом, что касалось мадьяр и их жизни. Однако в прекрасном городе на Дунае он оказался впервые.

В одном из зданий на оживленной площади Соколов увидел кондитерскую, на которой все надписи были сделаны только по-немецки. Соколов почувствовал голод и вошел. В обширных залах кондитерской, отделанных в стиле бидермайер, «швейцарский коммивояжер Ланг» легко нашел свободный столик. Девушка в швейцарском народном платье с вышитым фартучком приняла у него заказ и принесла по его просьбе свежую «Нойе цюрихер цайтунг». Именно это издание полагалось читать по утрам торговцу часами из Берна господину «Лангу».

Позавтракав, узнав свежие швейцарские новости, Соколов пошел осматривать Белварош — самую оживленную часть Пешта, территорией которого в старину ограничивался весь город.

Соколов выбрал место для встречи в большом парке, у крепости Вайдахуняд, у статуи Анонима, королевского летописца XIII века. В знак того, что имя его осталось неизвестным потомкам, лицо статуи монаха скрыто капюшоном. Соколов поразился символике этого памятника и подумал, что смысл ее весьма идентичен принципам работы разведчика.

Тут же в кафе Алексей набросал несколько строк Петру, нашел посыльного, вручил ему серебряную крону и

приказал отнести в «Отель д'Юроп» возле Цепного моста, господину Гавличеку. Мальчишка бросился со всех ног исполнять поручение щедрого господина.

...Встреча двух прилично одетых господ средних лет у статуи Анонима не привлекла ничьего внимания. Соколов и Гавличек нашли в отдалении, у озера, от которого несло сыростью, свободную скамью, обстоятельно обсудили за пару часов все вопросы, связанные с передачей сообщений в Швейцарию или Данию и Швецию, имея в виду существование военной цензуры, «черных кабинетов» и прочих рогаток, замедляющих, а то и вовсе препятствующих движению письма.

Однако всего они обсудить не смогли, поскольку начальник штаба Гонведа пригласил Гавличека на ужин со своими офицерами.

Прикинули, где они смогут без помех переговорить завтра. Соколов вспомнил похвалы путеводителя различным купальням и баням Будапешта, построенным на горячих и целебных источниках. Многие из этих термальных вод были известны еще древним римлянам, легионеры которых создали поселения на месте нынешнего Будапешта.

Гавличек одобрил идею, и разведчики договорились завтра вечером встретиться в номерах купален Брюкбад, находящихся у подошвы горы Блоксберг.

И опять целый свободный день с утра до назначенного часа встречи Соколов изнывал от тоски по дому, по Анастасии.

«Как там проходит мобилизация? Готова ли Россия отразить натиск врага? Каково положение в Петербурге? Что с моими коллегами? Справляется ли Сухопаров с обязанностями, замещая меня по делопроизводству?..»

Вопросы о службе мешались в его мозгу с заботой об Анастасии, ему хотелось быстрее вернуться на родину, чтобы включиться в привычную службу, а может быть, принять полк, командование которым выходило ему по срокам службы...

Алексей надеялся, что сегодняшнее свидание с Гавличеком решит все вопросы и он сможет проскользнуть из Венгрии в Румынию, остающуюся пока нейтральной. Там он почти уже дома: ведь любого румынского чиновника можно купить с потрохами, вопрос лишь в денежной сумме...

С такими мыслями отправился он пешком по набережной Дуная к Брюкбаду. Господа наняли на двоих каби-

ну-люкс с двумя каменными ваннами, в которых журчала приятная, горячая, исходящая пузырьками газа вода. Дебелая служительница принесла клиентам груду свежих махровых полотенец и купальные халаты. Гости заказали легкого балатонского вина и отпустили женщину, одарив ее достаточными чаевыми.

Гавличек с легкой завистью смотрел на поджарое и мускулистое тело Алексея, хорошо тренированное верховой ездой. Сорокапятилетний начальник оперативного отдела австрийского Генерального штаба не был кавалеристом и не занимался спортом. От этого он стал с годами розов и рыхл.

— Алекс, вчера вечером мадьяры рассказали интересный эпизод, характерный для политической жизни Венгрии, — начал Гавличек. Он удобно разлегся в ванне и своим видом напоминал римского патриция, привыкшего вести беседы, занимая столь необычное для разговора положение. — Здесь есть очень популярный поэт и публицист Эндре Ади. Он чертовски талантлив, но близок по взглядам к отверженным социалистам... Так вот, три месяца назад, в мае, предполагалась поездка вождя радикального крыла самой радикальной из венгерских партий в Россию. Не правда ли?! Кто бы мог подумать! Этот лидер — весьма образованный и неглупый человек — Михай Каройи — собирался ради равновесия, хотя и непрочного, отправиться в российскую столицу за помощью. Публицист Ади публично по этому поводу заявил в своей газете, что если бы Россия имела возможность дать мадьярам новую демократию и культуру, как она сделала это балканским странам, то была бы большая радость и надежное предприятие... Самое интересное, я установил, что так думают и многие офицеры Гонведа. Они считают, что Россия заинтересована в существовании прекрасной, богатой, демократической Венгрии рядом с разномастными германскими соперниками. Мне представляется, что это путь — готовый и единственный в сердцах многих венгров... Поздравляю Россию с таким хорошим другом! Ведь Ади здесь пользуется большим весом...

Соколов и Гавличек наслаждались, сидя в горячей целебной воде. Но тепло расслабляло, не давало сосредоточиться на главном. Первым это обнаружил Гавличек.

— Эй, Алекс! — позвал он друга и соратника. — Давай вылезем и поговорим на суше... А то я не способен воспринимать твои советы — ванна размагничивает!

— Согласен! — отозвался Соколов.

Они оделись в теплые махровые халаты, устроились на ивовых креслах с покойными подушками и повели неторопливую беседу. Коллеги подробно поговорили о стратегических вопросах, дислокации будущих корпусов, которые Австрия собиралась двинуть на Россию, о многих других крупных и мелких нитях, из которых соткана ткань информации настоящего разведчика высокого полета. Соколов, для которого всегда истинным наслаждением было общаться с умными и знающими людьми, еще раз пришел к выводу, что принципиальные, серьезные вопросы ведения войны хорошо видит этот наблюдательный славянин, одевший в юности униформу австрийской армии.

Гавличек и Соколов никуда не торопились. Потягивая легкое вино, они спокойно обсудили все вопросы и проблемы. Гавличек кое-что записал себе в книжечку. Соколову пришлось труднее — он запоминал все наизусть, чтобы не создавать улик.

Настал час расставанья. На сей раз вопреки традиции Соколов ушел первым. Он чувствовал себя в Будапеште как бы вне опасности. Тем более что главное дело было сделано. Теперь можно трогаться в обратный путь до дома...

ПЕТЕРГОФ, АВГУСТ 1914 ГОДА

Необычайное оживление царило поздним вечером на вокзале Петергофа. Генерал Данилов собирался засекретить отъезд Верховного главнокомандующего в Барановичи, но весь петербургский свет, тесно связанный с гвардией родственными или дружескими узами, счел себя обязанным побывать в этот день либо во дворце Знаменки, либо на перроне вокзала в момент отбытия на фронт своего признанного главы — великого князя Николая Николаевича.

Моторы, кареты, коляски и даже извозчики забили небольшую, ярко освещенную электричеством для торжественного случая площадь перед вокзалом. Полиция оцепила дебаркадер, подходы к Царскому павильону станции и залам первого класса, где собралось самое изысканное общество. Ждали приезда государя и посматривали на двери Царского павильона, которые должны быть открыты за пять минут до вступления в них самодержца.

Подъехали в одном авто Верховный главнокомандующий, его брат великий князь Петр Николаевич, их супруги-сестры Анастасия и Милица Николаевны. На площади оркестр заиграл личный марш Николая Николаевича, офицеры вытянулись и взяли под козырек, толпа стихла.

С раскрасневшимся лошадиным лицом, в маленькой полевой фуражке на крупной голове, возвышающейся на несколько вершков над свитой, Николай Николаевич проследовал в залы первого класса, где его восхищенно приветствовали дамы и господа. Но главнокомандующий был беспокоен. Он почти не отвечал на приветствия добрых знакомых и даже милых женщин. Наконец, со стороны виллы «Александрия» послышались звуки клаксона царского авто. Толпа облегченно вздохнула единой грудью. Из темноты показался тридцатипятисильный «рено» с вензелями «Е. И. В.» и «Н. II» на дверцах.

Мотор остановился, оркестр было грянул императорский марш, но в растерянности замолк — из лимузина вышел не царь, а... дворцовый комендант Воейков.

Великий князь увидел эту сцену через нарочно полуоткрытую дверь зала первого класса и побелел. Его лицо сделалось каменным. Он сел в кресло, около которого доселе возвышался на пружинистых ногах старого кавалериста.

Воейков приблизился к Николаю Николаевичу и отчетливо, так что слышно было даже в самом дальнем углу зала, произнес:

— Его императорское величество, государь Николай Александрович милостиво повелеть соизволил передать вашему высочеству его искренние приветствия, пожелания счастливого пути и скорого окончания войны блестящей победой российского воинства!

При словах царского приветствия, переданного дворцовым комендантом, Николай Николаевич заставил себя встать. Голосом, охрипшим от злости, он мог только вымолвить:

— Я... тронут... очень тронут!

На шаг сзади мужа стояла великая княгиня. При виде Воейкова ее глаза загорелись сатанинским зеленым светом, как у кошки. Великая княгиня до боли стиснула зубы, чтобы не разрыдаться от нанесенного оскорбления.

Воейкова не просили остаться, а он сам счел свою миссию выполненной. Маленький человек в форме лейб-гу-

сара несколько развязно повернулся пред главнокомандующим и сбежал с лестницы к авто.

ГЕРМАНШТАДТ (СИБИУ), АВГУСТ 1914 ГОДА

Успешно проведенные встречи с резидентом Стечишиным и полковником Гавличеком настроили Соколова на оптимистический лад. Он поверил в надежность своих документов, регистрируя их в полицейдиректоратах столь многих городов Германии и Австро-Венгрии. Все сходило благополучно.

Алексей немного устал и в день последней встречи с Гавличеком решил немедленно возвращаться в Россию, но не кружным — через Швейцарию — путем, как было предусмотрено в диспозиции его командировки, а через Румынию.

Действительно, формальности для пересечения границы Австро-Венгерской империи и Румынии были пока минимальными. Однако Алексей не мог знать, что полковника русского Генерального штаба усиленно ищут лучшие полицейские и контрразведывательные чины обеих Срединных империй.

Поиски Соколова начались сразу же, как только он исчез из поля зрения сыщиков на Лейпцигской книжной ярмарке.

Самые опытные жандармы были отряжены на поимку Соколова. По всей империи — и даже в союзную монархию — были разосланы фотографии, подробные приметы и ориентировка о зловредных деяниях русского полковника.

Особенно были предупреждены жандармские подразделения на транспорте и пограничная стража. Словом — вся карательная машина Центральных империй была нацелена на поимку одного-единственного человека — Алексея Соколова.

...Паровоз быстро тянул пассажирский поезд Будапешт — Бухарест. В вагоне второго класса, в сидячем шестиместном купе ехали только какой-то православный поп и «швейцарский торговец Ланг». Садясь на свое место, Алексей подумал, что это дурная примета — встретиться с незнакомым священником.

До румынской границы оставалось еще два десятка верст, когда в вагон вошел жандармский патруль, севший на поезд в приграничном венгерском Германштадте.

Офицер невысокого чина, явно не славянин и не мадьяр, а по-видимому из богемских немцев-служак, с ним два солдата шли по коридору вагона, заглядывая лениво в купе. Соколов видел их еще на перроне в Германштадте. Они не очень насторожили разведчика.

Даже сейчас Алексей не чувствовал особого беспокойства, пока офицер, как ему показалось и сразу не понравилось, не задержался у двери их купе несколько дольше, чем у остальных.

Правда, хитрый жандарм, заметив человека, похожего по приметам на того самого русского разведчика, которого так упорно разыскивает вся тайная полиция империи, постарался не спугнуть его раньше времени. Но для Соколова было вполне достаточно и легкого сигнала опасности, который он интуитивно принял.

Поезд мчался, застилая окно сизым дымом. Когда патруль прошел и, по расчетам Соколова, должен был перейти в соседний вагон, Алексей выглянул из купе, словно намереваясь выйти покурить в коридоре. У выходов на обе вагонные площадки стояли жандармы, положив руки на кобуры револьверов.

«Плохой признак, — решил Соколов. — Значит, они получили приказ стрелять без предупреждения. Но в кого?! Неужели это слежка за мной?! Может быть, провалился Гавличек и выдал меня?! Но он не таков! К тому же команда о моем аресте не могла так быстро пройти по линиям связи...»

«Ланг» вернулся в купе.

«Может быть, здесь скрыта какая-нибудь другая причина? — принялся он размышлять. — Охотятся вовсе не за мной, а, например, за этим священником?»

Тут же Алексей сказал себе: «Не трусь и не лицемерь — ты прекрасно почувствовал, что жандарм «клюнул» именно на тебя! Сейчас надо не заниматься самообманом, а решать — что делать? Можно, конечно, рискнуть, выбить чемоданом окно в купе и спрыгнуть под откос. Но, во-первых, как поведет себя в этом случае поп? Во-вторых, даже если на полном ходу не переломаешь себе руки и ноги, а может быть, и шею, то окажешься на положении преследуемого зайца в местах, где нет ни явок, ни симпатизирующих людей... Когда только что началась война и особенно силен угар шовинизма... Может быть, отличные документы вывезут и на этот раз? Что же, надо идти навстречу опасности».

Время принимать решение истекло: в коридоре послышался топот множества ног, обутых в сапоги, и в дверях купе снова выросла фигура жандармского офицера. Соколов сидел с мнимо безразличным видом.

— Господин! Ваши документы! — требовательно протянул руку к «Лангу» жандарм. «Швейцарский коммерсант» не торопясь достал из серого дорожного пиджака бумажник, раскрыл его, вынул ленивым движением паспорт и протянул офицеру. Тот не глядя сунул его в карман.

— Следуйте за мной! — приказал он пассажиру.

Алексей, сохраняя спокойный вид, поднялся, застегнул пиджак и спросил ровным голосом:

— А как быть с моими вещами?

— Заберите их! — заявил офицер.

Соколов снял с сетки свой чемодан, повелительно сунул его солдату-жандарму, который ближе всех оказался к двери. Тот почтительно принял его.

— Я готов! — спокойно произнес Алексей. Офицер пошел по узкому коридору вагона впереди арестованного. Сзади топали солдаты. Поезд начинал тормозить перед последней пограничной станцией.

«Ланг», предводительствуемый офицером, в окружении солдат жандармерии был доставлен в зал пограничной стражи.

За деревянным барьером под охраной двух солдат томилась группа цыган, видимо перешедших из Румынии в Австро-Венгрию.

За другим деревянным барьером за обшарпанным столом сидел офицер.

Соколов не проявлял внешних признаков беспокойства. Как солидный коммерсант он был уверен, что все формальности будут соблюдены и, когда господа офицеры удостоверятся в безупречности его документов, он будет отпущен для дальнейшего следования на том же поезде в румынскую столицу. Мысленно он ругал себя за торопливость и неосторожность.

Первый офицер подошел к старшему и что-то прошептал ему, показывая на Соколова. Ротмистр внимательно посмотрел на арестованного и зачем-то полез в стол. Он вынул оттуда кипу бумаг, порылся в них. Вдруг Соколов увидел, что пограничник извлекает его фотографию.

«Это провал! — понял Алексей. — Никакие документы не помогут!»

— Господин полковник Со-ко-лов?! — с издевкой, растягивая его фамилию, произнес ротмистр.

Понимание офицерской чести и рыцарские представления о войне не позволили Соколову юлить и выкручиваться.

— Да, это я! — гордо произнес Алексей.

— Есть ли при вас оружие? — встал австрийский офицер.

— Нет, прошу запротоколировать, что я въехал в империю до объявления войны и не имел при себе оружия! — потребовал Алексей.

— Господин полковник! Вы арестованы! — объявил ему ротмистр и повернулся к младшему офицеру: — Немедленно освободить камеру от всякой швали, посадить туда русского и приставить усиленный караул!..

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ, АВГУСТ 1914 ГОДА

Душный август заливал лица солдат и офицеров едким потом. Жара установилась над всей Европой, и к раскаленному солнцу на белесом небе потянулись дымы пожарищ Бельгии, Франции, Люксембурга, куда уже ступил сапог германского солдата.

По чистым и аккуратным бельгийским дорогам бесконечными колоннами шли серо-зеленые пехотинцы кайзера, цокали копыта лошадей уланских и драгунских полков, гремели колеса артиллерийских дивизионов и полевых кухонь.

Штурмовые отряды и дивизии правого фланга германской армии проламывали дорогу к незащищенной с севера границе Франции. «Пусть крайний справа коснется плечом моря!» — гласил приказ.

К вечеру 5 августа германские части подошли к фортам первоклассной бельгийской крепости Льеж, но, несмотря на внезапность своего появления, ночную бурю с грозой и ливнем, взять форты не смогли. К седьмому им удалось овладеть только городом и несколькими переправами через реку Маас. К 12 августа германцы подтянули к бетонированным и броневым башням крепости невиданные еще гаубицы калибром 380 и 420 миллиметров. Словно кувалдой ореховые скорлупки, разнесли тяжелые снаряды очаги сопротивления, прикрытые метровой толщей

бетона. 16-го Льеж пал, бельгийская и французская армии были потрясены.

20 августа боши заняли столицу Бельгии Брюссель, вышли на города Намюр, Динан и готовились всей мощью обрушиться на французские войска, выполняя директиву своего главного командования.

Армия Франции и английский экспедиционный корпус тоже получили приказ наступать и разгромить противника. Медленно разгоралось так называемое «пограничное сражение». Германские армии нависали грозной тучей над левым флангом французов.

Прямой опасности Франции и Парижу пока не было. Главнокомандующий силами союзников на Западном фронте генерал Жоффр еще мог перегруппировкой своих сил поставить надежный заслон перед корпусами немцев. Но «чаровник петербургских салонов» — посол Палеолог — уже паниковал в Царском Селе, на светских раутах и в многочисленных встречах с сановниками и министрами, которых только мог залучить к своему столу.

В Ставке усиленно толкал русскую армию в наступление маркиз де Ля-Гиш, неустанно повторявший вместе с английским майором Ноксом великому князю Николаю Николаевичу: «Ваше высочество! Сроки, установленные франко-русской конвенцией, истекли, и нужно спасать Францию!»

Цепкая напористость Палеолога и аристократическая убедительность маркиза де Ля-Гиша сделали свое дело в Петербурге и Барановичах. 10 августа Ставка направила приказ командующему Северо-Западным фронтом о наступлении.

17 августа началось движение 1-й армии под командованием генерала Ренненкампфа. Его полки перешли границу империи и двинулись на запад, к Кенигсбергу, столице Восточной Пруссии.

Первое столкновение с неприятелем произошло у уютного городка Шталлупенена. 1-й корпус самоуверенного немецкого генерала Франсуа, не неся боевого охранения, не выслав разведки, с полным презрением к неграмотным в военном отношении Иванам, вошел в соприкосновение с русскими и был потеснен.

19 августа 1-я армия подошла к Гумбинену. 2-й корпус навис над уютным и сусально-немецким городком с севера, 3-й корпус охватывал его с востока и юга.

...Подполковник Мезенцев был в отличном настроении,

несмотря на трудности движения его батареи по лесным и полевым дорогам, разбитым подкованными сапогами пехоты и копытами коней кавалерии и артиллерийских упряжек. Иногда его любимые трехдюймовки глубоко увязали в сыпучем сером песке. Тогда орудийные расчеты облепляли пушки и, поднатужившись, выталкивали их на более твердый участок дороги.

Колонна дивизиона остановилась в перелеске, скрытая от наблюдателей противника пересеченной местностью. Офицеры собрались вокруг командира дивизиона. Полковник Сахаров, высокий, поджарый блондин, разложил на зарядном ящике карту и прикинул, где могут быть поставлены закрытые позиции оставшихся у него под командованием 5-й и 6-й батарей. Он выбрал лесистый овражек в полутора верстах от деревушки Бракупенен и версте от шоссе, идущего почти параллельно тому, по которому только что шел дивизион.

Телефонисты тянули провода на батареи, артиллеристы ставили пушки в наскоро отрытые полублиндажи, маскировали их ветвями и поливали водой песок перед стволами орудий, чтобы при выстреле не вздымалось облако пыли, демаскирующее позицию. Бывшие крестьяне и рабочие, одетые в серые шинели, спокойно и деловито правили свой ратный труд, не обращая внимания на редкие слепые разрывы германских снарядов, падавших в полном беспорядке на русские позиции.

Наконец все было готово для открытия огня. Мезенцев скомандовал прицел для каждого орудия, лязгнули затворы и натянулись шнуры.

— Огонь... Пли!

Дружно рявкнули трехдюймовки, посылая разящую сталь на вражескую батарею.

— Ваш высокоблагородь! — оторвался телефонист от трубки. — Глухов докладывает: накрытие с первого залпа!..

Мезенцев снял фуражку, неторопливо отер пот со лба чистым платком и приказал заряжать. Батарея открыла беглый огонь, и через несколько минут корректировщик донес, что люди орудийного расчета германской батареи разбегаются, унося с собой раненых.

Багровое солнце начинало клониться к закату, обещая назавтра ясный день. В темноте подошла и заняла позиции правее шестой четвертая батарея. Весь дивизион

оказался в сборе, и офицеры по этому поводу выпили вина, взятого из брошенного юнкерского дома.

Вернувшись к своим артиллеристам, Мезенцев приказал соорудить в полуверсте от позиций ложную батарею из бревен и тележных колес. Ночью на это место откатили две пушки и выпустили из них дюжину снарядов по позициям тяжелой германской артиллерии, которую днем заставили молчать. Германцы встрепенулись и ответили на огонь. Они явно засекли вспышки выстрелов и готовились поутру разгромить русских.

Ночь прошла спокойно. Война еще только начиналась, и обе стороны не привыкли сражаться в темноте. Пощелкивали лишь одиночные винтовочные выстрелы часовых. Артиллеристы Мезенцева, выставив охранение, отужинали и, сморенные усталостью, заснули кто где.

Когда первые лучи солнца осветили небо в тылу русских позиций, подполковник бодро поднялся с постели и приказал дать воды для умывания.

Неприятель словно только и ждал этого момента. Когда Мезенцев усиленно тер лицо ладонями, в которые денщик Семен лил из большого кувшина воду, загрохотала германская артиллерия.

Это подходил и вступал в бой целый германский корпус, подкрепленный частями гарнизона Кенигсберга. Но никто из русских офицеров и солдат не знал, что на 28-ю дивизию наваливается сила, превышающая ее в четыре, а то и в пять раз. Под страшным огнем немецких тяжелых орудий русская пехота стала терять солдат и офицеров.

Пушки дивизиона стреляли так, что начала лопаться краска на стволах. Удалась и хитрость Мезенцева — первые два часа неприятель палил из тяжелых орудий по ложным позициям, разбивая в щепы бревна, из которых были сделаны фальшивые пушки. Потеряв сотни три снарядов, немцы вновь перенесли весь огонь на русскую пехоту. Они выбили почти всех офицеров и множество солдат, пехотинцы стали медленно отступать за боевые порядки своей артиллерии. Три батареи на своих позициях очутились на самом переднем крае.

Мезенцев начал нервничать. В мощный цейсовский бинокль он видел со своего наблюдательного пункта, как из леса Цулькинер, видневшегося за серой лентой шоссе, вышли германские серо-зеленые батальоны. Солдаты топали плотными рядами, при каждом батальоне и каждой

роте верхом ехал офицер. Ветер доносил треск прусских барабанов, визгливые трели дудок.

— Беглый огонь, прицел восемнадцать, трубка на картечь! — скомандовал командир батареи, когда серая масса солдат, словно перебродившее тесто, вылилась на шоссе.

Белая лента шоссе заволоклась дымом от разрывов русских шрапнелей. Когда он рассеялся, страшная картина предстала взору артиллеристов. Не менее батальона немцев осталось на шоссе и завалило его, сделав из белого серо-зеленым.

...Снова и снова вопили дудки германских фельдфебелей, снова и снова тишина поля и глухой топот пехоты врага сменялись грохотом разрывов. Русские батареи перемололи уже несколько батальонов, когда германское командование опомнилось и обрушило на артиллеристов губительный огонь своих тяжелых пушек и гаубиц. Под его прикрытием германская пехота стала обходить справа 4-ю батарею.

Вот уже несколько немецких пулеметов в тылу этой батареи заставили замолчать голосистые трехдюймовки.

Мезенцев снял фуражку и перекрестился. 4-я батарея, по всей видимости, погибла. Бородатые лица артиллеристов посуровели, но люди упорно продолжали делать свое дело.

Против фронта 5-й и 6-й батарей германцы прорвались до дистанции в 500—600 шагов. Серо-зеленые фигуры залегли, почти сливаясь с землей, и ожесточенно стреляли по русским. Огонь пушек Мезенцева становился все реже — иссякал комплект патронов.

Немцы прекратили артиллерийский огонь, боясь поразить недолетами своих, но ввели в дело пулеметы, обстреливая полузакрытые позиции русских.

Под свистом пуль 5-й батарее удалось отойти. Передки 6-й батареи не подавались, и артиллеристы приготовились к худшему. Орудия выпустили по последнему снаряду. Командир приказал готовить кинжалы и револьверы. Серо-зеленые фигуры поднялись в полный рост и устремились на русских.

И тут свершилось чудо. С гиканьем и свистом, на полном карьере примчались передки 5-й батареи. Мигом подхватили они трехдюймовки Мезенцева, оставшихся в живых артиллеристов и таким же карьером умчались буквально из-под носа опешивших немцев.

Только один пулемет послал шальную очередь вслед русским. Мезенцева, сидевшего на передке последнего орудия, словно кто-то толкнул в спину. Боли он не почувствовал, но стал медленно падать вперед. Если бы расторопный ездовой не подхватил его, тяжелораненый подполковник мог погибнуть под колесами орудия.

...Мезенцев очнулся от тряски в санитарной фуре. Под брезентом, натянутым на дуги, было полутемно. Рядом стонал раненый пехотный штабс-капитан.

— Очнулись его высокоблагородие... — сказал кому-то возница, заметив, что Мезенцев пошевелился и открыл глаза. Немедленно из-за брезента высунулась голова Семена. Оказалось, он сопровождал верхом санитарный фургон, после того как сестра милосердия перевязала раны подполковника и отправила его в тыл.

— Как германцы? Отбиты? — прошептал Мезенцев.

Семен скорее угадал, чем услышал вопрос командира, и громко, почти крича от радости, что Мезенцев остался жив, ответил:

— Так точно! Германец дальше не прошел!.. Сказывают, против нас бился корпус, да с резервами, ан не вышло! Положили мы шрапнелькой цельный полк!..

Уже в госпитале Мезенцев узнал, что немцы проиграли первое большое сражение — под Гумбиненом. Никто еще — в русских и германских штабах — не подозревал, что это поражение скажется затем на всей стратегии кампании 1914 года на обоих фронтах — Восточном и Западном.

КОБЛЕНЦ, АВГУСТ 1914 ГОДА

15 августа, когда развертывание германских армий согласно мобилизационному плану завершилось, Большой Генеральный штаб переехал из Берлина поближе к фронту, в небольшой рейнский городишко Кобленц. Новая Главная квартира армии расположилась примерно на середине расстояния от Швейцарии до Бельгии, в ста километрах от франко-германской границы.

Император Вильгельм Гогенцоллерн возложил на себя верховное командование войсками германцев. Он был в зените славы. Штаб нарочно составлял маршевые планы многих полков таким образом, чтобы они следовали через Кобленц, где его величество Вильгельм Второй пыл-

кими речами напутствовал своих рыцарей на бой во славу рейха.

Вильгельм остановился в Кобленце на жительство в старом замке бывшего курфюрства Трирского, где в предвоенные времена проживал и принц Прусский. Прекрасный дворец выходил фасадом на парк и площадь, а задней стороной на Рейн. Здесь кайзер почти не изменил своей привычке прогуливаться перед завтраком пешком или верхом в сопровождении дежурного адъютанта.

Особенно часто император стал удаляться на прогулки из Кобленца после маленького инцидента. В тот злосчастный день он, как обычно, вышел пешком размяться по берегу Рейна. Вильгельм прошел мимо Вольной гавани, Дворца правительства и неторопливо шагал к древней церкви св. Кастора, построенной в 836 году почти у самого слияния вод Рейна и Мозеля.

Вдоволь налюбовавшись мощными стенами храма, он обошел его вокруг и вышел на площадь, носящую имя того же святого. Здесь его внимание привлекли две плиты с какими-то надписями по-французски. Вильгельм прочитал буквы, выбитые на первой из них.

«1812-й год. Замечателен походом против Русских. В префектуру * Юлия Доазана».

— О! Колоссально! — умилился Вильгельм. Адъютант восторженно закивал головой.

Император и его верный спутник подошли к другой плите. Охрана осталась чуть поодаль.

— Читайте! — приказал Вильгельм адъютанту, и тот принялся переводить надпись.

Он начал бодрым голосом, но затем говорил все тише и тише.

«Видено и одобрено Нами, — Русским комендантом города Кобленца, 1-го января 1818 года».

— Пфуй! Какой позор! — завопил неожиданно император. — Подойдите сюда! — приказал он священнику, вышедшему из храма полюбопытствовать на императора.

— Какая свинья это сделала? — грозно обрушился Вильгельм на старика, как будто тот был в чем-то виноват.

— Ваше величество! — дрожащим голосом ответствовал пастырь. — Эту надпись велел высечь на камне рус-

---

* Префектура — время правления французских префектов в провинциях, завоеванных Францией в эпоху наполеоновских войн.

ский генерал Сен-при, когда армия императора Александра разбила Наполеона Бонапарта...

— Опять русские! Опять французы! — возмутился Вильгельм.

Кобленц потерял для кайзера все свое очарование, он перестал бродить по его улицам и устраивать митинги на площади перед дворцом.

Вторую половину дня император посвящал стратегии и делам. Он не торопясь беседовал с фон Мольтке. Но в двадцатых числах августа спокойствие надолго покинуло Вильгельма. В Кобленц стали прибывать делегации юнкеров и городских жителей из Восточной Пруссии. Крупные, титулованные помещики, старая аристократия — опора империи — являлись в Рейнланд поодиночке, иногда с супругами, дамами чопорными и одетыми в траур по своим землям, захваченным русскими.

Все просили аудиенции. Император не мог отказывать верным слугам, столпам трона. Его настроение после таких встреч, где суровые рыцари, убеленные сединами, испускали горючие слезы и молили защитить их собственность, выбить русских из Восточной Пруссии, не взялся бы описать ни один, даже самый бойкий на перо адъютант. Так продолжалось несколько дней.

Наконец 25 августа, за вечерним докладом, император сделался вдруг необыкновенно мрачен.

— Как на востоке? — коротко спросил он фон Мольтке.

Полководец слегка замялся.

— Генералы Гинденбург и Людендорф вчера приступили к руководству войсками в Восточной Пруссии. Русская Вторая армия генерала Самсонова продолжает движение от границы на Остероде и Алленштайн...

Мольтке кривым ногтем мизинца отчеркнул на карте Восточной Пруссии линию почти посередине провинции.

— Как?! — желчно взорвался император. — И вы допустили противника почти к побережью Балтийского моря?! Это неслыханно! Следующим шагом русских будет Берлин!.. Мне остается только отречься от престола!.. — закатывался в истерическом крике император. — И это тогда, когда моя армия почти поставила на колени Францию! Когда разгром галльских петухов в красных штанах * стал почти совершившимся фактом!

* Вильгельм намекал на форменную одежду французской пехоты, вступившей в войну в одеяниях красивых, но опасных в современных боевых действиях на поле.

Неожиданно император замолчал, и под высокими раззолоченными сводами зала наступила тишина. Вильгельм внимательно разглядывал обстановку на карте.

— Что мы можем выделить для Гинденбурга? — почти спокойно спросил он.

— Ваше величество, Гинденбург не просит пока подкреплений... — осмелился возразить Мольтке.

— Я спрашиваю... — с угрозой в голосе заявил император, — что мы можем снять с Западного фронта, где и так близка победа, чтобы выгнать русских из колыбели германской цивилизации?!

Мольтке молчал. Похоже было, что приступ какой-то болезни обессилил его. Военный министр генерал-лейтенант Эрих Фалькенгайн, присутствовавший на докладе, решил осторожно вмешаться.

— Ваше величество, полагаю, что Гинденбургу можно было бы направить гвардейский резервный корпус из 2-й армии, 11-й армейский корпус из 3-й армии и 8-ю кавалерийскую дивизию из 6-й армии. Еще один корпус — 5-й армейский из 5-й армии, дислоцированный в районе Меца, можно с этой же целью пока придержать, не бросая в наступление. Если дела в Восточной Пруссии пойдут совсем плохо, 5-й корпус тоже направим против русских...

— Молодец! — вырвалось у императора. — Предложение принимаю, готовьте приказ.

ПЕТЕРБУРГ, СЕНТЯБРЬ 1915 ГОДА

Тайная советница Шумакова была счастлива. То, о чем она мечтала всю жизнь, стало воплощаться в действительность. В ее квартире — у зятя и дочери — настоящий политический салон.

Петербург говорил о салонах светских дам, откуда разлетались на всю столицу словечки. О салоне графини Ирины Илларионовны Шереметевой, урожденной Воронцовой-Дашковой, где собирались оппозиционно настроенные офицеры гвардии и судачили о Распутине. О салоне графини Софьи Сергеевны Игнатьевой, где собирались правые и поносили на все лады левых и кадетов. О германофильствующих салонах графини Марии Эдуардовны Клейнмихель, фрейлины Софьи Карловны Буксгевден, тетки очаровательного князя Феликса Юсупова — Елиза-

веты Феликсовны Лазаревой. Говорили, ссылались на мнения и других салонов.

Из гостиной графини Игнатьевой, например, полетело по всему Петербургу в первые три дня войны, когда неизвестно еще было, вступит ли в нее Англия на стороне союзников, крылатое выражение: «Британский сфинкс молчит на весь Петербург».

Послы и военные агенты блистали своим остроумием в салонах, генералы и полковники делились свежайшей военной информацией, политики предлагали оригинальнейшие решения вечных проблем. Словом, салон — это законодатель умственных мод, источник мудрости для всех, кто удостоен чести бывать в нем, гордость и слава хозяйки и хозяина.

А вот теперь салон и у Шумаковых, как по привычке называли фамилию советницы и ее дочери, забывая при этом, что есть здесь еще одно существо — муж Татьяны — Глеб Иоаннович Кожин. Забывчивость была простительна, ведь всегда салон славен хозяйкой.

Зато Глеб Иоаннович трудился как пчела, чтобы собрать в свой улей уже знаменитых или только еще нарождающихся «общественных» деятелей. Словечко становилось модным, кто-то серьезно запускал его в оборот, как жука в ухо. Обозначало оно главным образом шумливых депутатов Государственной думы и других пылких ораторов по поводу всяческих беспорядков в империи, которые несли свои смелые обличения сходкам адвокатов, присяжных поверенных, врачей и педагогов, деятелям земских учреждений и городских дум, кружкам интеллигенции...

Два иль три известных в думских кругах говорливых депутата регулярно с началом войны стали приходить по четвергам к Шумаковым на вечерний чай. Им нужна была аудитория, чтобы самовыражаться.

Для полного торжества Татьяны над ее скудным в средствах прошлым, когда немыслимо было созвать солидных людей в дом с ограниченными доходами, пригласили Шумаковы и кое-кого из участников старых, довоенных «четвергов», собиравшихся до замужества дочери. Попала в их число и Настя. Во-первых, она теперь была женой полковника Генерального штаба и весьма недурна собой, что очень могло украсить политический салон и привлечь в него дополнительные мужские силы. Во-вторых, когда полковник вернется с фронта — Шумаковы

были убеждены, что Соколов находится именно там, — его рассказы о военных действиях послужат к вящей славе собраний у Шумаковых.

Настя ничего не знала о подобных сложных и политических рассуждениях Шумаковой и была весьма удивлена, когда Татьяна разыскала ее и пригласила к себе на «четверг».

Анастасия давно, с самого начала войны не имела вестей от Алексея. Ее дни и вечера без него были просто мучительны. Славная и добрая тетушка Соколова заботилась о ней как о собственной дочери, опекала как могла и делила с ней тревогу об Алексее. Но ничто не могло рассеять молодую женщину, томимую неизвестностью. Повинуясь своему характеру — быть там, где трудно, где нужны заботливые женские руки, Настя решилась пойти работать сестрой милосердия в лазарет Финляндского полка, неподалеку от дома, где жила еще недавно с родителями. Она очень хотела, чтобы это как-то помогло Алеше, сделало ее соратницей мужа, сражающегося с врагами и, может быть, раненного...

В начале сентября, когда в столицу стали поступать на санитарных поездах первые раненые с Северо-Западного фронта, Настя за несколько дней прошла ускоренные курсы сестер милосердия и теперь несла дежурства в палате для тяжелораненых. Но через день она оставалась свободна и не знала, куда себя девать, чтобы унять бесконечную тревогу и мучительные ожидания весточки от Алексея.

Ближайший четверг оставался свободен. Анастасия согласилась побывать у Шумаковых. Она пришла, когда салон был в самом разгаре. В просторной гостиной, как это было видно еще из передней, становилось все теснее и теснее, а гости все подходили. Их возраст и политические платформы были самыми разнообразными, решила Настя, вспомнив спиритический сеанс в довоенное, мирное время. Так оно и было.

Кадет восседал здесь рядом с трудовиком, монархист по-парламентски спорил с эсером. Высокая степень духовного удовольствия читалась на лицах представителей разномастных партий и течений.

Молодой и красивой даме немедленно нашлось самое удобное место, поближе к главным пророкам, сиречь депутатам Государственной думы. Один из них, громоздкий и заросший бородой мужчина дикого вида, держал как

раз свое возмущенное слово. Он комментировал несчастье под Сольдау.

— Целая армия потеряна! Цвет российского воинства! Но мы не знаем, кто виноват! Неужели опять повторятся бесславные сражения позорной японской войны? Неужели снова великая и обильная Русь идет к катастрофе — революции?!

Оратор сделал эффектную паузу, и этим воспользовался следующий желающий высказаться общественный деятель. Он был в отличие от предыдущего думца чисто выбрит и лыс. Его голова возникла в воздухе, словно розовый шарик на веревочке галстука. И говорил он тоненьким и писклявым голоском.

— Посмотрите, кто командует доблестными русскими войсками! Генерал Ренненкампф — немец! Его даже не предали суду за то, что он и шага не сделал на помощь Самсонову! Рейнботы, Гакебуши и прочие Утгофы, Корфы, Мейеры заполняют штабы, начальствуют над полками и дивизиями, заведуют снабжением армии! Поистине неладно что-то в Датском королевстве!..

Кто-то из германофильствующих гостей перебил думца и, чтобы пустить разговор по другим рельсам, подбросил новую тему.

— Мы должны объединиться и поддержать правительство, ибо российское отечество в опасности! Не стыдно ли, господа, сейчас, в эти трудные для России дни, вносить раскол в общество, как это делают большевики, призывая к поражению самодержавия?

— А вы?! А вы сами?! Разве с трибуны Думы вы не подрывали самодержавие, призывая к конституции, свободе, равенству?..

Насте было интересно следить за спором, в котором сталкивались позиции разных группировок «общественности». Не было среди них только большевиков — правительство воспользовалось законами о военном положении и сослало их в Сибирь.

Бойкий сосед Насти, вещавший, словно Пифия, беды и несчастья для России, замолчал так же внезапно, как и заговорил. Однако эффект он произвел сильный — общество притихло, независимо от партийных взглядов. Тягостное молчание тянулось с минуту.

— М-да!.. — прервал его депутат-трудовик. — Народ надеется на Верховного главнокомандующего великого князя... Вот это сильная личность!..

— Если бы была сильная, — окрысился на трудовика кадет, — то не погубил бы цвет российской армии в Мазурских озерах и лесах в угоду братьям-союзникам... Самая лучшая помощь Парижу — наступать на Галицию, как это делают генералы Рузский и Брусилов...

Настя слушала бойких ораторов и приходила в недоумение. Добро бы это были революционеры, на худой конец, анархисты или эсеры... А то ведь чистейшей воды «слуги буржуазии», как выражается Василий. Однако они теперь подкапываются под самодержавие, ругают главнокомандующего. Вот ведь времена настали! Хоть и война, и об единстве народа и армии, народа и власти эти люди толкуют, а подрывают сами как могут это единство... Народ в их речах — как разменная карта у банкомета...

Анастасия поражалась тому, с каким апломбом говорили «общественные» деятели о войне, о страданиях «несчастных солдатиков», о горячем энтузиазме «героев, рвущихся в бой». В своем лазарете она слышала правдивые и жуткие рассказы раненых солдат о кровавой бойне, идущей от Балтийского моря до Карпат, о том, как по живым людям хлещет с неба шрапнель или как поднимается к небу огромный столб дыма, огня, обломков дерева и клочьев человеческого тела, когда на окоп падает германский тяжелый снаряд — «чемодан», — сотрясая землю и все вокруг, повергая взрывной волной и обращая нормального человека в глухого, зрячего — в слепого, здорового мужика — в контуженого калеку...

Салонные разговоры о войне, разглагольствования о милых союзниках, прожекты необходимых наступлений для спасения отечества — все вызывало у Насти глухое раздражение. В удобный момент, когда витии притомились и гостей пригласили к столу подкрепить силы по военному времени всего лишь бутербродами и чаем, Настя ушла, не прощаясь.

ЦАРСКОЕ СЕЛО, СЕНТЯБРЬ 1914 ГОДА

В Александровском дворце ничто не напоминало о войне. Все было тихо и покойно, как в прежние годы.

У государя были свои забавы и заботы. Он поигрывал с офицерами конвоя в домино, для разминки пилил дрова или гулял по парку. К нему приезжали министры — не привозили ничего чрезвычайного, только обычные

скучные бумаги, которые царь, памятуя наказы своего батюшки, старательно испещрял подписями.

Иногда приезжал Сазонов и рассказывал, что Палеолог давит на него сильнее, чем фон Клюг на Париж, требуя все новых и новых русских наступлений, дабы спасти Францию.

Царю эти кляузы союзника стали прискучивать. Его не волновали потери — уж чего-чего, а мужиков на Руси хватит! Он даже остался спокоен, когда услышал страшную весть о гибели армии Самсонова. «На все воля божья!» — только и нашел он слов, чтобы выразить еще раз собственный фатализм. Но его тихо бесило, как и всегда, что кто-то стремится навязать ему свою волю, продиктовать решение, которое выполнять должен он, самодержец всероссийский. К тому же он пока слышал только просьбы союзника, но не получил от него никакого заверения в том, что дележ завоеванного будет произведен, наконец, и в его пользу. Царь решил вызвать на аудиенцию посла Палеолога и предъявить Франции свой счет, пока не станет слишком поздно и не окончится война. Ищи потом справедливости у союзничков!..

Церемониймейстер Евреинов, приставленный от царского двора к дипломатическому корпусу, в мундире, сплошь расшитом золотом, в сопровождении скорохода явился в посольство за послом. Сазонов еле успел предупредить Палеолога о том, что беседа будет долгой и, несмотря на ее конфиденциальность, следует быть в парадном мундире.

Во дворец вошли с парадного входа и проследовали в роскошный Белый зал. Он был строг и прекрасен. Камины из дивного синего камня лазурита необыкновенно сочетали свои тона с белой и золотой отделкой зала. Повернули налево, по анфиладе залов, чуть менее прекрасных, чем Белый, но тоже восхитительных. Уперлись в маленькую дверь, ведущую во внутренние, личные покои царской семьи.

У дверей малого царского кабинета полюбовались на арапа, одетого в пестрые восточные одежды. Не помедлив минуты, арап отворил дверь, и Палеолог остался один на один с повелителем ста восьмидесяти миллионов подданных.

Цифра внушительная, и посол слегка тушуется. Он еще не привык к императору, всерьез принимает показное ра-

душие Николая за приветливость, а патологическую застенчивость — за мудрое немногословие.

Кабинет небольшой, одно окно. Огромный диван, покрытый восточным ковром, занял значительную часть комнаты. Он покоен и уютен. Кресла темной кожи, черного дерева письменный стол с аккуратно поставленным письменным прибором, книжный шкаф с бюстами на нем. Портреты и семейные фотографии по стенам.

Хозяина кабинета — малорослого, чуть курносого военного с аккуратно расчесанной бородой и хорошо подстриженными усами, в сумраке осеннего дня сразу и не заметить. Он, вероятно, сидел и курил в полутьме — подумал посол, уловив тонкий аромат турецкого табака.

Царь, указав гостю на кресло и, видимо, преодолев какой-то внутренний барьер, начинает говорить без запинки.

— Мой дорогой посол, я призвал вас, чтобы посоветоваться о будущем мире после войны, — начинает царь. Он вольно располагается на широченном диване и попыхивает папиросой. — Что мы станем делать, если Австрия и Германия запросят у нас мира? Видимо, до этого не так уж и далеко...

— О, ваше величество, — пылко подхватывает Палеолог. — Это вопрос первостепенной важности.

— Что касается условий будущего мира, то я решительно настаиваю на выработке их только нашими тремя союзными державами — Россией, Францией и Англией. Никаких конгрессов, никаких посредничеств после войны в чью бы то ни было пользу!.. Это мое решение, и я от него не отступлю... — решительно высказывается Николай.

Посол наблюдает за выражением лица монарха. С удивлением для себя он обнаруживает, что русский царь волнуется, но, видимо, тверд в своем мнении.

«Посмотрим, что ты скажешь после войны, — думает о первом требовании Николая посол. — Ни моя страна, ни Англия не станут слушать вас, русских, и всегда постараются сослаться на чье-то еще мнение, когда придется делить завоеванное...»

Внешне посол бесстрастен. Никакая игра мысли не отражается на его лице, никакой огонь не загорается в его глазах. Николай продолжает разговор об общих основах будущего мира победителей.

— Главное, в чем мы должны прийти к согласию, это

уничтожение германского милитаризма. Вооруженный германизм держит всю Европу в состоянии кошмара вот уже сорок лет и, наконец, снова напал на Францию, чтобы продолжить свое грязное дело, начатое в 1870 году... Наша задача — лишить германцев всякой возможности реванша...

Посол услышал слова, слаще которых для него в России еще не произносилось. Русскими руками свернуть шею германскому орлу, лишить его военной мощи и возможности реванша — это и есть главная задача Франции, а неумный царь высказывает ее как свою собственную и наиважнейшую. Императора следовало подбодрить в этом намерении.

— Ваше величество, я благодарен за это заявление и уверен, что правительство республики откликнется на пожелания императорского правительства самым сочувственным образом... — любезно улыбается посол.

— Я благодарен моим союзникам и ценю их понимание общих целей, — говорит Николай и продолжает: — Спешу сказать, что я заранее одобряю все, что Франция и Англия сочтут необходимым потребовать для себя, вырабатывая точные условия мира... Я бы хотел сегодня вкратце рассказать, что думаю по этому поводу сам... Должен прибавить, — словно оправдывается государь, — что я еще не советовался с моими министрами и генералами...

Николай встает с дивана, берет с письменного стола аккуратно сложенную карту Европы и кладет ее на курительный столик. Затем он пододвигает ближе одно из кресел и усаживается.

— Сначала об интересах России, мой дорогой посол... Мы ожидаем от победы в войне против германцев в первую голову исправления границ Восточной Пруссии. Генеральный штаб желает, чтобы новая граница проходила по берегу Вислы... Я же полагаю это чрезмерным, тем более что намерен воссоздать Польшу, для которой будут необходимы Познань и часть Силезии. Мы отберем эти части от Германии и отдадим новой Польше.

Палеолог весьма интересовался польской проблемой и взаимоотношениями поляков и русских. Однако его усилия были направлены отнюдь не в ту сторону, что у России. Посол действовал как раз в противоположном направлении — он всячески хотел поссорить поляков и Россию, возбудить дух сепаратизма и русофобии на поль-

ских землях, оторвать будущую Польшу от своих естественных братьев, друзей и союзников. Поэтому он весьма насторожился, когда услышал из уст царя о Польше. Разумеется, он не собирался открывать своего истинного отношения к этим внутренним делам славянства.

Николай продолжает делиться самыми сокровенными мыслями о переустройстве послевоенной Европы по предначертаниям союзников.

Он говорит о том, что Россия потребует себе Галицию и часть Карпат, чтобы дойти до естественных пределов на западе, в Малой Азии займется армянами, которых ни в коем случае нельзя будет оставить под турецким игом. Когда в своих рассуждениях Николай доходит до судьбы черноморских проливов, он останавливается. Вопрос слишком серьезен, чтобы говорить о нем скороговоркой. К тому же посол, зная об особом интересе своего правительства и, главное, своего дальновидного друга-президента, просит Николая объясниться.

— Для России это будет самый важный результат войны, и мой народ не понял бы без него тех жертв, которые я заставил его понести во имя справедливости... — высокопарно начинает царь. — Но должен признаться, мои мысли пока еще окончательно не установились. Однако два принципиальных вывода я уже сделал для себя и надеюсь, мои союзники целиком поддержат их...

«Как бы не так! — думает посол. — Если бы господин Романов знал истинное мнение Парижа и Лондона о категоричной невозможности отдать России проливы, он бы, наверное, пошел войной не против Вильгельма, а против нас...»

На лице же посол изображает улыбку внимания и готовится запомнить слова царя дословно, ибо именно суждения его по этому вопросу составляют стержень беседы, ее главный интерес для Пуанкаре.

— Итак, я считаю, что турки должны быть изгнаны из Европы, — уверенно начинает Николай. — Во-вторых, Константинополь может стать нейтральным портом, городом под международным управлением. Северную Фракию — до линии Энос — Мидия — следует присоединить к Болгарии, а остальное от этой линии до моря, конечно исключая окрестности Константинополя, отойдет к России...

Посол решает уточнить, но, задавая вопрос, не формулировать его так, чтобы складывалось впечатление со-

гласия Франции на решение проблемы проливов в пользу союзника.

— Ваше величество! — обращается он к царю. — Если я правильно понимаю мысль, то Босфор, Мраморное море и Дарданеллы составят западную границу Турции, а сами турки останутся запертыми в Малой Азии?

— Да, так! — отзывается царь.

«Ну и аппетит у этих мужиков!» — думает Палеолог. Не давая согласия за Францию, посол решает все же получить кое-что для своей страны.

— Я хотел бы напомнить, ваше величество, о том, что Франция обладает в Сирии и Палестине важными духовными и материальными интересами. Мы хотели бы получить эти части Турецкой империи под свое управление и рассчитываем на согласие России...

— Разумеется! — проявляет щедрость Николай. — Мои дорогие союзники могут рассчитывать на мое одобрение всего, что они хотят потребовать от нынешнего неприятеля...

Посол размышляет о том, что бы еще запросить из территорий спорных. Николай в это время аккуратно складывает карту Европы и берет вместо нее лист, на котором в крупном масштабе изображены Балканы.

— Мой дорогой посол, теперь я хотел бы высказать свою точку зрения о будущих территориальных изменениях на Балканском полуострове, — спокойно и неторопливо говорит он. — Полагаю, что Сербия может присоединить себе Боснию, Герцеговину, Далмацию и северную часть Албании. Греция, видимо, получит южную Албанию, кроме Валлоны, которая могла бы отойти к Италии, если та будет хорошо себя вести... Болгария, если она вступит в войну на нашей стороне, будет компенсирована от Сербии областями в Македонии...

Николай водит мизинцем по тем странам и районам, о которых говорит. Посол внимательно следит за его движениями. Палеолог ни словом не реагирует, но император, кажется, с большим удовольствием слушает сам себя и не замечает молчания посла.

— Что же будет с Австро-Венгрией? — вслух раздумывает царь. — Она, наверное, не перенесет те территориальные уступки, на которые вынужден будет пойти Франц-Иосиф.

Посол решается вступить в разговор. Австро-Венгрия — это не сфера интересов Франции, и здесь можно обещать

все, что только пожелает Россия, — ведь ей никогда не достанется то, на что она претендует. Англия не позволит слишком усилиться славянской империи.

— Да, Венгрия, лишенная Трансильвании, которую следует отдать Румынии за ее помощь в войне, вряд ли захочет и далее выступать совместно в одной империи с Австрией. Австро-венгерский союз потерпел крах... Чехия наверняка добьется независимости, и у Австрии останутся только немецкий Тироль и Зальцбургская область...

Император, полузакрыв глаза, слушает, словно песню, планы расчленения старинного врага и предателя России. Посол заканчивает свои размышления вопросом:

— А что вы думаете делать с Германской империей?

— Главное я вижу в том, чтобы императорское достоинство не было сохранено за домом Гогенцоллернов. Они обманули народы, нарушили мир в Европе и должны поплатиться германской короной. Впрочем, они могут остаться прусскими королями в новой Германии, куда Пруссия может войти отнюдь не ведущей и главенствующей силой... Я уже сказал, что мы вернем Польше ее земли, находящиеся сейчас под Пруссией, а границу Восточной Пруссии отодвинем далеко на запад... Разумеется, Франция возвратит себе Эльзас и Лотарингию, и я отдал бы вам еще рейнские провинции.

«Браво! — мысленно восклицает посол. — Наконец-то он заговорил о настоящем деле!..»

— Несчастная Бельгия, попираемая ныне германским сапогом, в награду за свое участие в нашем союзе сможет получить в области Аахена достаточно большое приращение к своей территории...

— А колонии? А германские колонии?! — нетерпеливо запрашивает посол у царя.

— Я полагаю, что их разделят между собой Англия и Франция. У России нет претензий на колониальные владения, — спокойно, словно о давно решенном деле, говорит Николай. — Я хотел бы еще двух территориальных изменений, — добавляет он после краткой паузы. — Шлезвиг, отобранный у Дании, должен быть возвращен ей вместе с районом Кильского канала...

«Ага! Ты хочешь, чтобы твои датские родственники сторожили все выходы в Балтийское море и не пускали туда чужие военные флоты!..» — догадывается в мыслях посол.

— Кроме того, следовало бы между Пруссией и Гол-

ландией возродить маленькое германское государство — Ганновер, сделав его королем кого-либо из симпатизирующих союзникам германских принцев...

— Ваше величество, но все германские принцы сейчас командуют армиями Вильгельма! — возмущается Палеолог.

— Я имею в виду других принцев, часть из которых находится сейчас на русской службе, — открывает свои тайные планы Николай Романов.

Посол вспоминает, что действительно при русском дворе обретается масса всяких Ольденбургских, Баттенбергских и других князей. Палеолог поражается хитрости царя, который уже сейчас продумал этот сложный вопрос — послевоенное деление Европы и предлагает взамен Рейнских провинций для Франции создание полувассального от России государства в самом центре Западной Европы.

«А ведь если Россия самостоятельно одержит победу в этой войне или хотя бы раньше нас разгромит Германию и войдет в Берлин, нам трудно будет отказывать в ее претензиях! — приходит на ум Палеологу. — Воистину, как прав Пуанкаре, когда он стремится ослабить эту империю и не дать ей одержать скорую победу!..»

— Ваше величество, означает ли все сказанное, что вы хотите полного конца Германской империи? — задает вслух посол свой очередной вопрос. — В том виде, в каком ее создали и куда ее направили Гогенцоллерны, эта империя направлена против французского народа. Я не буду защищать ее, но... — Посол на этом останавливается. Мысленно же он продолжает: «не станет ли слишком сильной для Европы империя Российская?»

Царь, как кажется, улавливает невысказанный Палеологом вопрос и отвечает:

— Мы должны заботиться о нашем союзе и после войны. Великое дело, которое совершат наши армии, может остаться прочным лишь тогда, когда мы сами будем сплоченными и едиными...

«Вот демон! — думает посол. — И куда повернул?! На сплочение после войны! Как будто знает, что Англия и мы только и ждем конца войны, чтобы отобрать у России все, на что она зарится!»

Посла пугает не только открывшаяся вдруг политическая прозорливость русского императора — тем более, похоже, это собственные мысли Николая, поскольку Са-

зонов не осмелился бы делать подобные рассуждения, не зная точки зрения французов и англичан. Никто другой из окружения царя, в том числе и императрица, не способны также к столь долговременному плану. Значит, император сам сформулировал эти цели своей политики в Европе и, надо сказать, довольно основательно, — к такому выводу приходит Палеолог. Об этом он решает проинформировать президента республики.

Кабинетные часы мелодично отзванивают семь вечера.

— О! Я, наверное, вас утомил, дорогой посол? — любезно спрашивает государь.

Посол понимает, что ему вежливо намекнули о конце аудиенции. Он встает со своего кресла.

— Я был счастлив повидать ваше величество! — раскланивается Палеолог.

— Я тоже очень рад поговорить с вами, мой дорогой посол, — улыбается ему сквозь усы Николай.

Но Палеолог не может уйти, прежде чем не задаст еще один, постоянный вопрос, с которым он начинает и заканчивает каждый день в Петербурге.

— Ваше величество! — обращается он к царю. — Позвольте на ходу спросить вас о том, как идут дела на фронте и когда доблестные войска начнут новое наступление на германцев?

— Сейчас в Польше идет ожесточенное сражение, — говорит царь, провожая посла до дверей. — Германцы пытаются прорвать наш фронт, но великий князь пишет мне, что скоро надеется сам перейти в наступление...

— И что же? — несколько неучтиво говорит Палеолог.

Настроение царя неуловимо меняется. Он уже не так любезен и очарователен, как несколько минут назад.

— Трудно сказать сейчас, где нам удастся пробить себе дорогу на Берлин... — раздумчиво говорит он. — Будет ли это севернее Карпат или в районе Познани? А может быть, и севернее Познани... Многое будет зависеть от сражения, которое начинается сейчас между Краковом и Лодзью... Прощайте, мой дорогой посол!

Палеолог изображает на своем лице гримасу сожаления, смешанного с восторгом и надеждой вновь в скором времени лицезреть его императорское величество. Затем он мчится в посольство, чтобы по горячим следам продиктовать секретарям беседу с императором.

Продолжение следует

ПОЭЗИЯ

Виктор СМИРНОВ

СОЛНЦЕ АВГУСТА

* * *

Еще не тронут желтизною
Зеленый августовский лес.
Еще вольготно льется зною
С высоких, солнечных небес.
Еще, пугая громом снова,
Клубятся тучи в синеве.
Еще крестьянские коровы,
Как лодки, плавают в траве.
Еще сук яблоневый согнут,
И вся его краса — при нем.
Но солнце августа — подсолнух -
Восходит тихо над плетнем.
Он говорит, что осень близко.
Стихает летний шум в селе...
Подсолнух поклонился низко
За то, что солнцем стал, — земле.

* * *

У матери счастливое лицо,
Хотя давно уж сделалась седою.
Подносит к уху теплое яйцо
И слышит жизнь под тонкой
скорлупою.

А с юга надвигается гроза,
С дороги поднимая тучи пыли...
У матери счастливые глаза,
Какими только в молодости были.
И сам я погружаюсь в мир крестьянский:
Пасу корову и кормлю цыплят.
И оживают детства звуки, краски.
И в сердце думы светлые царят.
А вечер соловьем поет на ветке.
Темнеют деревенские луга.
И до утра, совсем как та наседка,
На небе звезды сторожит луна...

* * *

Тихие мои поля,
Вы дороже с каждым годом!
Молодые тополя
Пропитали воздух медом.

Почему не спится сердцу
Здесь, в обители своей?
Потому что по соседству
Поселился соловей.

Жаворонок мне чуть свет
С неба шлет земные вести.
А крылатый мой сосед
Крепко спит с подругой вместе...

Прямо в синь глядят колодцы,
Не боясь, что день горяч.
Радостно блестит на солнце
Пашня черная, как грач.

Над широкими лугами
Облака бегут, легки.
И глубокими плугами
Ветер пашет гладь реки.
Словно поднял в поднебесье
Душу грешную свою,
Я иду к той самой песне,
Что не снилась соловью!

СТИХИ МОЛОДЫХ

Валерий КРАСНОПОЛЬСКИЙ

ЖИВОЙ ОГОНЬ

НА ПИСКАРЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ

Суровая зима,
как в тяжкий год блокады,
А я стою в снегу меж леденящих
плит:
На плитах — первый год
блокады Ленинграда,
А тысячи имен тепло земли
хранит...
Здесь безымянно спят
и молодость, и старость,
И хоть трещит мороз —
здесь тысячи цветов.
Ответь же мне, Земля:
Какой должна быть кара
За кладбище сердец, за миллионы
вдов?!
Все это не простить,
хоть лет прошло немало,
Я позже был рожден, но не могу
простить:

Ни тех, кто вновь готов
все повторить сначала,
Ни тех, кто мог простить
и обо всем забыть!

* * *

Вижу пламя на белом снегу,
Только вспомнить тебя не могу,
Не могу тебя вспомнить, солдат,
Мой ровесник, мальчишка, собрат!
Я не знаю, каким же ты был,
Я не знаю, кого ты любил.
Я не знаю, о чем ты мечтал,
Я не знаю, о ком тосковал...
Но я слышу твой голос, солдат,
Он звучит голосами ребят,
И я вижу твой пристальный взгляд —
У мальчишек глаза так горят...
Ты из класса на фронт уходил,
Кто отваге тебя научил?!
Может быть, на рассвете весной
На берлинской ты пал мостовой,
Может быть, в сорок первом сражен,
Танк тобою был подожжен...
Неизвестный — известен солдат, —
Безымянных нету утрат!
Материнская вечная боль —
Твой последний солдатский пароль...
Каждый день, каждый час, каждый миг
У огня вижу я чей-то лик, —
И, хранимый страданьем людским,
Твой огонь остается живым!

СЕНТЯБРЬ

Опять осенняя дорога
Листвой прощальною зовет,
И журавлиною тревогой
Встает желтеющий восход...
Сентябрь — крикливый месяц года —

Смиренным выглядит пока,
Но вот глухая непогода
Сгоняет в тучи облака, —
И он, доселе бесшабашный
И беззаботный до поры,
Вдруг с треском лопнувшей коры
Дождем срывается на пашни...
Но дождь пройдет, и он опять
Прозрачней летнего заката, —
Недолговечна благодать,
И холодом она чревата.
Природа гаснет...
Пусть на вид
Она осталась беззаботной, —
Лишь прикоснешься, —
Лист холодный,
Как парус трепетный, летит...
И вижу я ее волненье,
Сентябрь краснеющий уже,
И бесконечное движенье
На остывающей меже...

Михаил
БУБЕННОВ

ЖИЗНЬ И СЛОВО

(О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Трудно пробираться лесной неторной тропою. Весной старые следы на ней смыты вешними водами, летом позаросли кое-где травой, осенью похоронены под слоем опавшей листвы. Как ни приглядывайся, часто приходится останавливаться и гадать: да где же она? Куда делась? Будто в землю ушла! И проходит немало времени, пока ты, неопытный путник, по малейшим признакам все же догадаешься, куда лежит твоя тропа. Бывает, иной раз даже покажется, что ты совсем сбился с нее и блуждаешь в лесной глухомани. Тут тебя так и пронзит! И назад поворачивать поздно, и жутко брести наугад вперед. В такие минуты может выручить только необыкновенная выдержка. Надо призвать все свое спокойствие, все силы своего духа, надо убедить себя, что заветная тропа где-то совсем близко, под ногами, и что тебя не обманывает далекий волнующий зов, какой чутко слышит твоя душа...

Мои детские и юношеские годы прошли на Алтае. Жить, учиться и работать пришлось в разных местах — в степных и лесных, в притаежных и горных, и все они в равной мере и навсегда прикипели к моей душе. По этой причине я считаю своей родиной не какое-то одно село, а весь Алтай. И хотя моя вынужденная и огорчительная разлука с родным краем растянулась на долгие времена, в моем сердце к нему, родному краю, никогда не угасало благоговейное чувство привязанности и любви. Все, что пережито в детстве и юности, что врезалось тогда в сознание, вошло в плоть и кровь, все и сейчас бьется во мне родником, живо и неиссякаемо.

Богата и разнообразна природа Алтая. Неоглядные, привольные степи, над которыми еще на моей детской памяти плескались седые волны ковыля, а по старинным кочевым тропам, высоко подняв головы, вышагивали тяжелые на взлет дрофы и от зари до зари неумолчно лилась прекрасная птичья песнь. Тысячи озер: иные из них, пресные, как голубые блюда в густой камышовой оправе, из которых хоть черпаком черпай золотистых карасей; иные, соленые, с голыми, плоскими берегами, реденько покрытыми немощной травкой, но зато сплошь расписанные зелеными разводами, а в конце лета блещущие на солнце ослепительной соляной белизной. Редчайшей красоты сосновые боры, где высятся — все в золоте — могучие вековые сосны, подпирающие вершинами небосвод, березовые колки в степи, где ранней весной гремят тетеревиные тока. Чернь, глухая тайга, синие горы, увенчанные ледяными шлемами, альпийские луга, поражающие многоцветьем, и, наконец, стремительные реки, ворочающие в своем русле камни...

Такая природа поражает маленького человека, едва он научится переступать порог родного дома. Так было и со мной. Мое не только созерцательное, но и активное общение с природой, как у всех деревенских мальчишек, началось очень рано. За десять минут, выйдя из дома, я мог очутиться в бору, на ближнем озерке. Едва сходил снег на песчаных взгорках, мы, босоногие, устремлялись в бор — поглазеть на стаи пролетной дичи, наслушаться птичьего гомона. Потом начинались походы за кандыком, слизуном, щавелем, за земляникой, клубникой, смородиной, малиной, черемухой. Мы ни за что не отставали от взрослых, когда они отправлялись в бор заготавливать дрова и веники, ловить сетями и разными ловушками в озерах карасей. Лет с шести все деревенские ребята смело ездили верхом на лошадях, отводили их на попас в поскотину или, когда в степи выгорала трава, в бор, в ночное. Мы умели не только спутать, но даже и стреножить своевольных коней. Умели, всячески хит-

ря, поймать тех, какие паслись свободно и боялись узды. Лет с семи мы без всякой боязни обходили все темные, сырые согры в поисках запропавших коров и телят. Мы знали все лучшие грибные места. Осенью часто ездили в бор за калиной, заготавливая ее на всю зиму, а едва выпадал снежок — отправлялись ставить петли на зайцев и ловить в озерах со льда окуней.

Немало хлопот было у нас и в степи. Без нас, малых крестьян, не обходилось ни одно крестьянское дело. Когда поднимали четверкой коней целину, мы сидели верхом на коренниках, строго следя за тем, чтобы они всегда шли только бороздой. Мы всегда с большой охотой занимались бороньбой. Мы всегда стремглав бросались помогать взрослым запрягать и выпрягать коней, задавать им сечку с отрубями или овес, поить их, чистить, расчесывать им гривы, смазывать у них побитые холки чистым березовым дегтем. Иной раз нам в награду за всегдашнее усердие доверялось даже рассеять из лукошка несколько горстей семян пшеницы. Мы кашеварили, добывали воду, какой мало в засушливой степи, самостоятельно ездили с пашни на телегах домой за харчами, чтобы не отрывать взрослых от главной работы, добывали березовый сок, а заодно собирали букеты рано зацветающих марьиных кореньев и сон-травы. Вечерами нас трудно было прогнать от костров: мы заслушивались бесконечными мужицкими рассказами, сказками, побасенками и девичьими песнями. А уж в сенокосную и страдную пору нам зачастую и выспаться-то некогда было. Для нас всюду находились десятки дел, да не каких-нибудь мелких, а настоящих, важных, которые делались нами с полным сознанием своей значительности, своего достоинства.

Всегда — и летом и зимой, везде — и в бору и в степи — наши детские занятия и забавы были так тесно связаны с природой, что мы невольно испытывали чувство полного слияния с нею и взаимного доброжелательства.

Активная ребячья жизнь, полная всевозможных дел, забот и хлопот, постоянно разжигающая острое любопытство к окружающему миру, одаряющая множеством интереснейших наблюдений, очень помогала нам в раннем познании не только, конечно, природы. И все же, как мне теперь кажется, для той ранней поры, когда не все было доступно детскому пониманию в области сложнейших человеческих отношений, меня больше всего занимало познание природы со всей ее открытостью, разумностью, щедростью, добротой и даже суровостью. Лишь немного позднее, лет с девяти, мои интересы к природе постепенно стали уравниваться с интересами к общественной жизни, а потом подошло и то

время, когда хорошо изученная природа уступила свое место весьма трудной для разгадывания и понимания человеческой жизни.

Да, в природе было много понятного, разумного и весьма поучительного, этим она прежде всего и занимала детское сознание. Она многому наставляла, едва ты с широко открытыми глазами вступал в ее пределы. Мы видели, как птицы с ранней весны хлопотливо, заботливо вьют гнезда, устилают их пушком, делая теплыми и уютными для жилья, а потом трудятся, может быть, побольше людей, чтобы прокормить свое потомство. Мы наблюдали, как они бесстрашно защищают свои гнезда, а если раньше времени глупый птенец случайно упадет на землю, всячески оберегают и спасают его от погибели. Мы видели, как дружны, зачастую куда больше, чем людские, утиные семьи, как они вместе кормятся, вместе плавают, вместе летают стайкой. Мы видели, с какой необычайной нежностью относятся друг к другу кони, как волнуются кобылицы, когда жеребята отбиваются в сторону и долго не идут на их зов. Мы видели, как день-деньской, кажется, без всякого отдыха трудятся пчелы, и знали, с каким искусством они строят соты...

Не все и в природе, конечно, открывалось с первых встреч. Мы очень скоро догадались, что у нее много и потаенного — его еще предстоит разгадать в будущем. Хорошо помню, как поражали меня иные ее тайны. Отчего рядом, на одной пяди земли, появляются разные цветы? Почему одни птицы питаются водяной травкой, а другие воруют куриные яйца и даже цыплят? Почему большие птицы вроде журавлей и гусей, боятся зимы и улетают в теплые края, а маленькие воробушки зимуют в студеной Сибири? Как это петухи узнают, когда наступает полночь, и просыпаются, чтобы голосить об этом на все село? Как воробьи узнают, что скоро дождь? Отчего вдруг начинает хлестать ветер с пылью, гремит гром? Тысячи загадок задавала природа. И тем самым приучала нас думать, размышлять, строить разные домыслы, что постепенно — с годами — вырабатывало у нас склонность к мыслительной деятельности, к творческому восприятию действительности.

Природа была нашей мудрой и доброй наставницей. Она учила нас жить ненавязчиво, пожалуй, гораздо разумнее, чем иные люди, склонные к нудным и противоречивым нравоучениям. От нее мы узнавали ничуть не меньше, чем в своих семьях, о том, какое значение будет иметь в нашей жизни трудолюбие, забота о своем очаге, дружба, доброта, нежность, любовь. Все в ней — и открытое, и таинственное, — оказывало огромное влияние на развитие наших взглядов, интересов, талантов и наклон-

ностей. Природа — прекрасная школа нравственного воспитания человека, особенно в его юные годы.

«Большая мать, — сказал о природе Леонид Леонов, — она всегда обогащает нас, однако щедрей вознаграждает тех, кто с малых лет научается любовно смотреть ей в лицо».

Не всегда мы, конечно, сознавали, чем обязаны своей наставнице. И здесь пора отметить, что пониманию ее великой значимости в жизни людей нам в детстве сильно помогла наша поэзия, создавшая в честь русской природы изумительные по красоте и силе воздействия на человеческое сознание шедевры.

Я начал учиться в школе, когда мне не исполнилось и семи лет. В те времена в школе часто устраивались уроки декламации. Я очень любил эти уроки, несмотря на свою необычайную стеснительность. Заучивал я любое стихотворение быстро — стоило прочесть два раза подряд. В те секунды, когда я поднимался за партой, чтобы начать читать, все во мне вспыхивало быстро разгорающимся пламенем. Иногда у меня внезапно перехватывало дыхание — и получалась невольная задержка, как у заик. Но учитель всегда терпеливо выжидал, видя, как я страдаю. Иногда у меня даже навертывались слезы.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

Разучивая дома стихи, мы чаще всего делали это в присутствии взрослых, невольно знакомя их, зачастую неграмотных, с русской поэзией. Многие семьи гордились тем, что их дети наизусть знают стихотворения, и нередко заставляли читать их, когда все собирались у вечернего стола или приходили гости. Если учесть, что в крестьянских семьях тогда не знали никаких развлечений, кроме праздничных хмельных гуляний, хождения в церковь и посиделок, школа — через своих воспитанников — незаметно делала большое дело, знакомя крестьян с высокопатриотической и вольнолюбивой русской поэзией, воспевавшей родную землю, говорившей о суровой крестьянской доле, зовущей к свету и счастью. Не забыть, как затихали взрослые, когда звучали горькие слова:

Только не сжата полоска одна,
Грустную думу наводит она...

По себе знаю, как любовь к природе, усиленная поэзией, развивала в наших душах чувство прекрасного, пробуждала высокие порывы и мечты. Поэзия — родная сестра природы.

Забегая вперед, могу сказать, что именно о природе я и начал писать первые стихи. Сначала у меня, если выразиться с некоторой иронией, был «период устного творчества»: в изумлении от каких-то своих наблюдений я внезапно начинал говорить о них «складно». Я еще, конечно, не придавал значения своей чудинке. Но в двенадцать лет, осенью двадцать первого года, я вдруг записал на бумаге то, что сложилось на моих устах за день, и только тут понял, что сочиняю стихотворения, чем-то похожие на те, какие читаю в книжках. Хорошо помню, как я поразился своему открытию и впервые задумался над тем, какое это чудо — поэзия.

...Всю свою жизнь, в каждой своей книге я с большой любовью и признательностью рассказывал о природе. Я посвятил ей, может быть, свои лучшие строки, лучшие слова...

II

Но правомерно ли отводить природе такую большую роль в своем нравственном воспитании? Да, конечно, еще раньше, чем природа, моей Наставницей стала людская Жизнь, прежде всего в образе жизни нашей семьи. Однако с тех самых дней, которые сохранились в моей памяти, эта первая Наставница была для меня гораздо более немилостивой, чем природа. Именно по этой причине, может быть, я и тянулся к природе гораздо сильнее своих друзей. Я всегда находил у нее защиту и утешение. Она незаметно успокаивала меня и высушивала мои слезы.

Современная наука утверждает, что формирование человеческой личности определяется крупными потрясениями, которые случается пережить человеку в раннем возрасте. Такое потрясение принесла мне прежде всего первая мировая война. Помню, каким обездоленным и беззащитным почувствовал я себя, когда остался без отца. Помню горькие проводы рекрутов, письма с фронта — их приходилось постоянно читать по просьбе неграмотных солдаток. Помню безутешные вопли женщин, когда они получали посылки с солдатским обмундированием, обагренным кровью, — до сих пор не могу понять, зачем их слали с фронта в деревню. Не забыть, как возвращались с войны израненные фронтовики-калеки.

Поразил меня, например, случай с нашим соседом, сапожником, богатырского сложения дядей. Он был, кажется, самым высоким мужиком на нашей улице. И вдруг я вижу этого великана ниже себя ростом — ему отрезали ноги, и он с большим трудом передвигался на низенькой тележке, колесики которой утопали в песке.

С непередаваемой горечью узнал я и о несчастье родного дяди Григория, младшего брата моего отца, отравленного газами. Когда он явился с фронта, за ним стали замечаться разные странности. Оказалось, дядя Григорий, смирнейший деревенский парень, стал в солдатчине психически больным человеком — не вынес ужасов войны.

Вот такие случаи волновали, потрясали и оставляли в душе горький, как полынь, осадок...

Отец мой не был на фронте. Как столяр первой руки, он отбывал воинскую службу в оружейной мастерской военного ведомства в Иркутске. Четыре года он прожил в среде революционно настроенного мастерового люда. Именно в годы войны окончательно сложилось его мировоззрение, утвердились его политические взгляды. Он принимал активное участие в бурных революционных событиях, происходивших после свержения царизма в Иркутске. Вернулся он домой человеком твердых и, может быть, несколько романтических убеждений.

Спокойный, добрый и ласковый, отец часами занимался со своими сыновьями (нас было три брата, четвертый умер, прожив не больше года), показывал свои инструменты, с необычайной увлеченностью рассказывал о своем любимом столярном деле. Он часто ходил в совдеп, на разные собрания и митинги, и всегда возвращался оттуда заметно возбужденным. С затаенным дыханием я ловил каждое отцовское слово. Несомненно, именно он, отец, и пробудил у меня в то время живейший интерес к сельской жизни.

Вскоре он стал членом совдепа в родном селе Гуселетове. Когда же в Сибири произошел мятеж чехословацкого корпуса и разномастной контрреволюции, отец вместе с другими застрельщиками новой жизни, под руководством матроса-большевика Ивана Гончаренко в течение года участвовал в подготовке односельчан к восстанию против ненавистной белогвардейщины.

Хорошо помню грозовое лето девятнадцатого года. В памяти и сейчас живо встают картины принудительной мобилизации деревенских парней в белогвардейскую армию, жестокие порки плетями дезертиров и непокорных крестьян и, наконец, день народного восстания в Гуселетове, когда моего отца на сельской сходке выбрали командиром партизанского отряда. Крестьянское восстание против колчаковщины вспыхнуло тогда почти одновременно во многих районах Алтая. У нас, в Кулундинской степи, оно было особенно мощным, огнедышащим: здесь собралась под водительством талантливого и бесстрашного вожака-полководца Ефима Мефодьевича Мамонтова тридцатитысячная повстанческая армия. Она весьма успешно громила целые полки

белых карателей и задолго до подхода Красной Армии освободила от колчаковской диктатуры огромные просторы в междуречье Оби и Иртыша. Отец участвовал в партизанском движении до самых последних дней разгрома белогвардейщины на Алтае.

Именно в то лето для меня в равной мере стали дорогими и необходимыми обе мои великие Наставницы — Природа и Жизнь. Стало случаться даже, что я мог легко отказаться от походов в лес, от разных игр и забав — и все ради того, чтобы повертеться около мужицких сборищ, а тем более на митингах, когда началось восстание, и около партизан, когда они готовились к боям. Меня все более занимали тогда события, связанные с начавшейся войной, и не только в нашем селе, но и по всей ближней округе. Медленно, с трудом, но я уже начинал понимать, почему одни зовутся «красными», а другие «белыми», почему идет русский на русского, брат на брата, и почему это неизбежно. Не мне, мальцу неполных десяти лет, было разобраться в событиях, происходящих вокруг! Но одно бесспорно — эти события заставляли меня много думать, причем о таком, что прежде совсем и не тревожило мой детский ум.

Не однажды то радостно, то в страхе сжималось мое сердчишко летом и осенью того памятного года. (О нем рассказано в моей повести «Зарницы красного лета».) Я пережил настоящий ужас, когда увидел полураздетого, избитого белогвардейцами своего отца, чудом спасшегося от расстрела. Мне было жутко, когда отец, спасая меня от белых, увозил ночью в свой полк, и радостно, когда я скакал на коне с партизанами по степи. Партизаны в то время вели решающие бои с белогвардейскими полками на подступах к партизанской столице Солоновке. Находясь среди них целую неделю, я с широко раскрытыми глазами наблюдал за тем, с каким высоким порывом и готовностью жертвовать своей жизнью ради свободы шли на врага плохо вооруженные, зачастую с одними пиками, восставшие крестьяне-сибиряки. Сейчас трудно передать то душевное состояние, какое я испытал тогда, но одно бесспорно — от того удивительного состояния что-то навсегда, на всю жизнь осталось в самой глубине моего существа, оно ощущается мною как тишайшее, но неугасимое внутреннее горение, готовое, однако, в любую минуту разом полыхнуть во всю грудь...

III

Отгремела гражданская война, и жизнь сибирского крестьянства не без трудностей и осложнений, но все же довольно быстро стала входить в привычное русло. При новой власти, при завое-

ванной свободе, но в бытовом плане она во многом стала такой же, какой была раньше: нелегкий труд на земле, привычные хозяйственные заботы и хлопоты, церковные праздники. Почти все мои друзья-сверстники вопреки очевидным переменам в общественной жизни как бы вернулись в недавнее прошлое.

Но мне, к моему счастью, выпала другая судьба. Я будто все еще продолжал жить в обворожительной, романтической стихии гражданской войны. Дело в том, что отец, вступивший в большевистскую партию, был назначен уполномоченным Алтайского губземотдела по организации коммун в своих родных местах — не остались незамеченными его пропагандистские способности, его необычайная убежденность в необходимости скорейшей перестройки всего деревенского уклада.

В нашем доме, как и прежде, часто собирались не только односельчане, но и приезжие из соседних сел. Шли бесконечные разговоры о том, как строить жизнь коммуной. Отец часто бывал в разъездах и всегда возвращался усталым, озабоченным, в сильно заношенной, обветшалой одежде. Сходив в баню, он с грустным раздумьем рассказывал, как трудно дается ему новое дело. Но вот вновь загорался его ясный взгляд, и он с потрясающей страстностью и одержимостью принимался мечтать о том новом мире, о котором любил петь на митингах. Естественно, он первым и записался в коммуну «Новый мир», которую создали главным образом партизаны из сел Мормыши и Селиверстово, его бывшие товарищи по оружию.

Наступила весна двадцать первого года. Коммунары на скорую руку поставили две избы и баню близ старинного Касмалинского тракта, у большого пресного озера Молоково, за которым вставал сосновый бор. Место для поселения было выбрано прекрасное: здесь хорошие пахотные земли и разные угодья, рядом лес, вода, много дичи и рыбы. Но в коммуну вступили, конечно, главным образом бедняки, а их и без того немощные хозяйства были сильно подорваны в годы войны с Германией, гражданской войной и, наконец, сильнейшей засухой двадцатого года. Лошаденок в коммуне было мало, да и те от бескормья едва волочили ноги. Ну а сбруя — одно рваньё, плуги и бороны изношены, да и семян не хватало: делились последним куском хлеба с голодающей Россией.

Отец все время метался по ближним селам. Мне пришлось одному представлять нашу семью в коммуне, когда она выехала весной в поле. Нелегко было коммунарам, при всем их горячем желании, привыкать к совместной работе, бороться с трудностями первой коммунарской весны. Нелегко было и нам, мальчишкам, заниматься бороньбой. Весна выдалась очень холодной, вет-

реной. Одежонку продувало насквозь. Так, бывало, закоченеешь на лошади, что не можешь без помощи взрослых сползти с нее на землю. У кляч хребты были такими острыми, что наши ягодицы, хотя мы и пользовались разными подстилками, все время были в крови и коростах.

Жили коммунары в невероятной тесноте, спали на полах вповалку, питались одной жиденькой похлебкой из просяной крупы и картошки, лишь для блезиру заправленной маслом. Мяса не было совсем; лишь однажды прирезали сломавшего ногу жеребенка. Правда, иногда доставалось по кружке молока, особенно нам, мальчишкам...

Казалось бы, чего тут вспоминать? А я вот всю жизнь с восторгом вспоминаю ту холодную, полуголодную, тяжелую весну, когда жил и работал в коммуне. Отчего бы? Да оттого, что в коммуне, несмотря ни на что, не угасала та высокая вера в светлое будущее, какой жили партизаны девятнадцатого года, не ослабевал тот дух товарищества и братства, с каким они ходили в бой. В коммуне я постоянно слышал те же разговоры о грядущем всеобщем счастье, какие слышал в Гуселетове в дни восстания против белогвардейщины, а затем среди партизан под Солоновкой. Здесь и митинговали так же, как и год, и два назад, когда над селами Алтая плескались кумачовые флаги и знамена. Здесь в свободные минуты дружно, всей коммуной, пели те же революционные песни, как и во время гражданской войны.

Коммуна жила, можно сказать, на военном положении. Рано утром все коммунары (и мальчишки, конечно!) занимались гимнастикой и строевой подготовкой, а после обеда — изучали оружие. Винтовки были почти у всех коммунаров — вокруг еще шатались недобитые банды и в слепой ненависти нападали прежде всего на коммуны.

К военным занятиям мы, мальчишки, относились с особенным интересом: учились шагать в строю, пусть и на левом фланге, без конца, соревнуясь на скорость, разбирали и собирали винтовку, с усердием изучали сложное взаимодействие всех ее частей, отрабатывали приемы ближнего боя, учились пользоваться гранатой. В рвении к военному делу нам, пожалуй, не было равных среди взрослых, которым оно порядком надоело, да и в смышлености мы от них не отставали, а иногда прямо-таки блистали перед ними своей острой памятью. Самым страшным наказанием для нас за ослушание и шалости было тогда недозволение стать в строй, отстранение от военных занятий. Именно тогда, в коммуне, я досконально изучил винтовку, а вскоре научился стрелять из нее — в моем распоряжении всегда находилась отцовская партизанская винтовка. Позднее, в годы юно-

сти, в стрельбе из нее на соревнованиях я показывал отличнейшие результаты.

Жизнь в коммуне была для меня как бы продолжением девятнадцатого года, особенно тех дней, какие я провел среди партизан под Солоновкой. Первая коммунарская весна навсегда закрепила в моем сердце то, что зародилось в нем в дни гражданской войны. Много я прожил с той поры, но никогда во мне не угасали те чувства, какие я испытал той трудной коммунарской весной. Это не красивые слова. Это правда моей судьбы.

Конечно, не все в коммуне шло хорошо: редко, но взрослые из-за чего-то спорили, на что-то ворчали. Но мы, мальчишки, были выше мелких неурядиц, мы жили в светлом обществе, которое с торжественной гордостью называли коммуной. Вероятно, мы, мальчишки, у которых еще не успели закоренеть привычки единоличной жизни, острее взрослых познавали необычайную возвышенность и прелесть коллективного труда. Мы бросались стремглав, едва слышали:

— А ну, молодые коммунары, за дело!

Недолго просуществовала наша коммуна «Новый мир». Кулацкие козни оборвали ее жизнь, начавшуюся так красиво. Позднее на ее месте возник небольшой поселок Новомировка. Но потом исчез и поселок. Год назад я побывал у озера Молоково. Это было тоже весной. Я сразу же узнал место, где начинала селиться наша коммуна. Теперь здесь были только небольшие бугры да ямы, густо заросшие бурьяном, что делало их особенно заметными в чистой степи. Грустно было смотреть на места, с которыми связано так много воспоминаний. Может быть, я и не скоро отделался бы от этой грусти, но внезапно, будто от какого-то внутреннего толчка, оглянулся на степь и увидел — вся бывшая коммунарская земля, расстилающаяся на север от Касмалинского тракта, великолепно обработана и расшита бесконечными строчками недавно взошедшей пшеницы. И мне радостно подумалось, что дело нашей коммуны не погибло. Семена новой жизни, какие она посеяла среди народа, дали великолепные плоды. Внуки коммунаров остаются верными тем вдохновенным помыслам, какие когда-то собрали здесь бедняков партизан, мечтавших о светлом будущем.

...Той же весной двадцать первого года отцу неожиданно опять пришлось взяться за оружие. С наступлением тепла разгулялись кулацкие банды: оружия после гражданской войны в их руки попало вдоволь — патронов не жалели, палили во всех, кто за Советскую власть.

Отец служил в отряде ЧОН, который действовал в нашей степи. Но летом его назначили помощником начальника волост-

ной милиции в Больших Бутырках, которая прежде всего тоже занималась борьбой с бандитизмом. И наша семья уехала из коммуны.

IV

Село Большие Бутырки, к моей радости, оказалось на берегу огромного пресного озера Островного, за озером уже знакомый мне Касмалинский бор. Островное славилось рыбой, а его спутники, боровые озера, — дичью.

В первое время на новом месте я усердно занимался лишь промыслом. Посидишь, бывало, утреннюю зорю в лодке на Островном — и тащишь не меньше ведра крупных красноперых окуней. Раздобыл я здесь и курковое ружьишко. Правда, с охотой было гораздо сложнее, чем с рыбной ловлей. Для рыбалки сделаешь крючок из иголки, совьешь леску из конского волоса — и действуй! Для охоты нужны припасы. Приходилось пользоваться японским порохом, воспламеняющимся легче нашего винтовочного, а настоящий охотничий засыпать только в фиски; дробь отливать из свинца в связке камышин, а потом рубить и обкатывать маленькой сковородкой на большой сковороде. Пистоны я научился делать еще у партизан из полосок мягкой белой жести, обдирая ее с семейного сундука и начиняя их серой. Ружьишко мое стреляло то с осечками, то с небольшими паузами после того, как спустишь курок, но все же стреляло, и все дело, стало быть, заключалось лишь в моей сообразительности и выдержке.

Своего хозяйства у нас не было: все осталось в коммуне. Жили мы бедно, очень бедно, и поэтому мои уловы и охотничьи трофеи являлись большим подспорьем для семьи. И потом, занимаясь промыслом, я мог как нельзя лучше наслаждаться общением с любимой природой родного края.

Но у меня уже не могло ослабнуть зародившееся в красное лето девятнадцатого года влечение к познанию общественной жизни. Тем более что она и сама всегда стучалась в двери нашего дома. Отец часто глядя на ночь отправлялся с небольшой группой милиционеров на различные операции: или вылавливать бандитов, или накрывать на месте преступления злостных самогонщиков, — им не было числа тогда на Алтае, они изводили на зелье много драгоценного зерна, в котором нуждалось государство для спасения от гибели голодающих в России. Самогоноварение, можно сказать, было своеобразной разновидностью бандитизма.

Возвращаясь домой, отец рассказывал, где и что случилось

прошедшей ночью, кого удалось изловить, кстати, зачастую после перестрелки. Пойманных бандитов выводили на допросы из амбара, служившего каталажкой. Я видел их злобные лица, встречался с их взглядами, горящими ненавистью. Таким образом, из уст отца я всегда знал, что происходит в волости, с какими трудностями встречаются местные органы еще не окрепшей Советской власти, чем живет крестьянский люд. Ну а те сцены, какие приходилось наблюдать на нашем дворе, давали мне возможность легко доходить до мысли, что революцию, завоеванную большой кровью, может быть, еще долго придется отстаивать с оружием в руках.

Особенно остро эта мысль поразила меня в один из последних февральских дней 1922 года. В тот день отец (он был уже начальником милиции), возвратясь в необычайном возбуждении из волисполкома, сообщил о гибели бывшего главкома повстанческой Красной Армии Западной Сибири Ефима Мефодьевича Мамонтова. Всего два дня назад, направляясь в Барнаул, он заходил к нам домой. У отца собрались друзья по оружию и боям с белогвардейщиной, они наговорились вволю, а потом долго пели любимые партизанские песни.

В губернской газете я прочел горестные строки:

«25 февраля в дер. Власихе убит бандитами вождь партизанского движения на Алтае т. Мамонтов... Убийцы понесут достойную кару...»

Весь Алтай был потрясен гибелью Е. М. Мамонтова, героя гражданской войны. Не только десятки тысяч бывших партизан, но и сотни тысяч крестьян той обширнейшей части Сибири, где действовала повстанческая армия в девятнадцатом году, знали и любили Мамонтова, талантливого полководца, беспредельно преданного Советской власти, сражавшегося за нее с легендарной храбростью. И сейчас на Алтае нет человека, какой бы мог сравниться с ним боевой славой!

Помню, как гневно, со слезами на глазах выступали бывшие партизаны в Больших Бутырках на митинге у волисполкома, посвященном памяти Мамонтова. Некоторые явились сюда верхом и готовы были скакать на расправу с кулаками во Власихе. Немалых трудов стоило остепенить и вразумить этих разгоряченных людей, потрясенных бедой, потерей любимого вожака, с которым недавно побывали во многих боях: нет крепче дружбы, спаянной кровью!

Очень горевал и отец, всегда относившийся к Мамонтову не только с огромным уважением, но и с восхищением. После его гибели он в течение всей весны, как говорится, не вылезал из седла, носясь по волости, и на наш двор не однажды приво-

зили бандитов с опухшими от самогона бородатыми лицами. Наблюдая тогда за отцом, я впервые отчетливо понял, каким трудным делом он занят, и проникся к нему еще большей любовью.

Позднее село Большие Бутырки по ходатайству партизан было переименовано в село Мамонтово. Сейчас в его центре стоит памятник вождю партизанского движения на Алтае. Похоронен Е. М. Мамонтов в Барнауле.

...Очень часто в нашей квартире собирались друзья отца, бывшие партизаны, работавшие в разных волостных органах власти.

Вслушиваясь в их разговоры, то приглушенные, то шумные, я узнавал многое о том, что происходит в волости, о чем мечтают недавние солдаты революции. Все эти разговоры в нашей квартире — и по темпераменту, и по содержанию — очень напоминали те, какие мне уже приходилось слышать среди партизан, когда они воевали или вспахивали коммунарское поле. Уже два года, несмотря на малолетство, я постоянно находился во власти тех настроений, какими жили первые борцы за Советскую власть в сибирской деревне.

После гибели Мамонтова в моей судьбе произошла большая перемена. Случилось так, что и я, еще мальчишка, начал участвовать по мере небольших силенок в общественной жизни. Иным это может показаться красивой выдумкой. Но это сущая правда. Еще до приезда в Большие Бутырки я закончил четвертый и пятый классы в школе села Романова. По тем далеким временам меня считали уже вполне грамотным человеком. И вот однажды мне предложили работать... делопроизводителем в волисполкоме.

Занимался я там мелкой канцелярской работой, но и она помогала мне, мальчишке, зорче вглядываться в народную жизнь, видеть все ее сложные повороты, неожиданные перепады, вникать во все мероприятия Советской власти, знать все трудности и радости строительства нового строя в деревне. Эта работа расширяла мой кругозор, заставляла много думать, учила разбираться в запутанных общественных ситуациях, учила приглядываться к людям, по малейшим признакам разгадывать их характеры, их настроения, их взгляды.

В августе 1922 года, когда мне еще не было и тринадцати, я стал комсомольцем. Как меня приняли в таком возрасте в комсомол — не знаю, но приняли и выдали билет из тонкой желтой картонки! Помню, как я, прижав его к груди, прибежал домой и долго прыгал от радости перед всей семьей. Я чувствовал себя совершенно взрослым человеком! Впрочем, у меня и без того уже были основания не считать себя мальчишкой.

Дело в том, что мой отец, как партиец, получал за свою нелегкую службу так называемый «партмаксимум», о котором мать всегда говорила презрительно: «Тридцать фунтов муки с отрубями!» Действительно, именно это и получал мой отец, работая день и ночь, зачастую рискуя жизнью. А я, всего-то на тринадцатом годке, как беспартийный, получал полный куль чистой и прекрасной алтайской пшеницы! Пять пудов! Стало быть, именно я и был главным кормильцем семьи.

Кажется, именно тогда я и осознал, что навсегда перешагнул рубеж, за которым осталось мое беззаботное детство. Я гордился, что помогаю семье уже не от случая к случаю, не рыбешкой или утятиной, а чистой пшеницей, которой хватает прокормиться всей семье в течение месяца!

V

Следующей весной двадцать третьего года в селе Красноярском, что недалеко от Рубцовки, произошло трагическое событие. Начальник волостной милиции отправился однажды на охоту и, проезжая мимо озера в пойме Алея, заметил на нем стаю уток. Соскочив с телеги, он второпях потянул с нее заряженное курковое ружье — и тут же был сражен зарядом дроби в левый бок, в самое сердце.

Отца срочно перебросили в Красноярское.

Я с горечью расставался с сослуживцами в волисполкоме, где проработал больше года, с друзьями-комсомольцами...

Во время гражданской войны в Красноярской волости немало партизанского оружия попало в кулацкие руки. Летом двадцать третьего года это оружие все еще постреливало, и чаще всего по сельским большевикам и активистам. Все заботы по изъятию припрятанного оружия были возложены на милицию. А тут еще вовсю действовали злостные самогонщики, часто случались кражи, угоны коней у крестьян, самосуды и кровавые драки при дележе хозяйств — в то время участились случаи дробления прежде больших крестьянских семей.

Словом, работы для милиции хватало с лихвой. Отец и его помощники (их было не более пяти человек), не зная отдыха, носились в седлах по степи. Но ведь надо было не только проводить разные операции, а и вести следствие — допрашивать обвиняемых, потерпевших, свидетелей, устраивать очные ставки и, наконец, в строго ограниченный срок составлять обвинительные заключения для передачи дел в судебные органы.

Мне пришлось помогать отцу в ведении уголовных дел. Он допрашивал арестованных, а я вел протоколы допроса. При этом

мне было любопытно наблюдать, как изворачивались, хитрили преступники, прикидываясь невинными, несчастными людьми, стараясь вызвать к себе жалость и сострадание. Передо мною раскрывались сложные мотивы и картины преступлений, обнажались всевозможные, до предела обостренные человеческие страсти, приводящие к трагедиям. Все это расширяло мое представление о жизни.

Не имея никакой возможности своими силами разгрузить милицейские шкафы от дел, отец постепенно стал доверять мне писать (с последующей, конечно, перепроверкой) обвинительные заключения по простейшим делам, особенно о привлечении к судебной ответственности самогонщиков. Заключения по таким делам обычно умещались на одной странице и делались стандартно. Здесь все было ясно и просто. И отец никогда не находил в них каких-либо моих ошибок.

В то время я почти наизусть изучил Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР. Видя мои успехи, отец стал доверять мне подготовку обвинительных заключений и по более сложным делам. Здесь работа была каждый раз новой и уже серьезной. Надо было на основе множества самых противоречивых показаний дать объективное описание обстоятельств, скажем, убийства, изложить неопровержимые доказательства, уличающие обвиняемого в преступлении, и, таким образом, обосновать решение о привлечении его к судебной ответственности. В этой работе, о чем я тогда и не мог подозревать, были уже элементы литературного труда — глубокое, всестороннее изучение происшествий, описание которых занимало иногда сотни страниц, вдумчивое изучение всех мотивов, толкнувших человека на преступление, иначе сказать — его внутреннего мира.

Но в конце лета приехал следователь из уездной прокуратуры. Оказывается, он давно уже обратил внимание на то, что обвинительные заключения иногда пишутся не отцовской рукой. Отцу пришлось рассказать о моей помощи, и следователь решил познакомиться со мной. Тут же просматривая одно из моих последних заключений, он, правда, не совсем одобрительно заметил:

— И даже пейзаж есть: «Была полночь, луна сияла над степью». Гм... Это не наш стиль!

И вдруг спросил:

— Да ты, случаем, не сочиняешь ли рассказики? А стишки?

Я замотал головой, но отец сказал:

— Сочиняет.

— Ему учиться надо, — немного хмурясь, сказал следова-

тель отцу и, узнав, сколько зим я учился, добавил: — Поищем волость, где в школе есть шестой класс. Поедете туда.

VI

Осенью отца перевели в село Ново-Егорьевку, что на опушке Барнаульского бора, и я опять оказался за партой. За два года я отвык от школьных занятий и приступил к ним с неохотой. Но все же быстро втянулся — сказалась отцовская выучка: за что ни взялся — делай с усердием, делай хорошо. Вообще только тогда, кажется, я понял, что дало мне постоянное общение с отцом за последние годы. Многие его взгляды стали моими взглядами, многие его привычки — моими привычками, многие его вкусы — моими вкусами. К сожалению, он оказался бессильным передать мне прекрасные черты своего мягкого, доброго характера, — я рос легко возбудимым, горячим, зачастую резким и непримиримым.

Начав вновь учиться в школе, я и видеться-то с отцом стал не каждый день. Это было воспринято мною болезненно. Но уже наступила пора самостоятельной жизни. Тут и оказалось, что именно он, отец, подготовил меня к ней всесторонне и очень хорошо. Необычайно полезной была и моя ранняя трудовая деятельность, раннее приобщение к общественной жизни и комсомольской работе. Не в пример тем, кто вырос лишь под кровлей родного дома, поглощенный интересами одной своей семьи и своего двора, я неплохо разбирался в общественных событиях и — главное — тянулся к ним всей душой.

В то время я уже увлекался не только чтением художественной литературы, но и общедоступной политической, а также регулярно, как все комсомольцы, посещал политзанятия в избе-читальне. Именно тогда же у меня выработалась и закрепилась навсегда привычка обязательного, ежедневного чтения газет. Любопытно, что я до сих пор отлично помню многие материалы из газет того времени. Ну вот, например, в одной газете (в верхней части третьей полосы) появилась заметка о полете на Луну ракеты американца Годдарда. Многие мои знакомые и сейчас не верят, что такое сообщение было в печати. Но оно было! Известно и появившееся тогда же предостережение Циолковского: «Предприятие Годдарда, — писал он, — вероятно, под каким-нибудь предлогом будет отложено. Его ракета не поднимется и на 500 верст. И ни в коем случае не попадет на Луну без управления. Эта задача трудна даже для теории».

Всю зиму мы, комсомольцы, устраивали в Ново-Егорьевке громкие читки газет для крестьян и занимались ликвидацией негра-

мотности. Многих пожилых людей учили на дому. Это было особенно интересно. В домашней обстановке люди вели себя свободнее, чем в школе, и зачастую, взволнованные своими скромными успехами в чтении и письме, пускались в пространные разговоры, доверительно рассказывали нам о своем житье-бытье. Такие встречи с односельчанами оставляли в наших юношеских душах заметный след, помогали нам лучше осознать все величие перемен, какие произошли в деревне при Советской власти.

Незабываем морозный день той зимы, когда всех жителей Ново-Егорьевки ошеломила весть о смерти Владимира Ильича Ленина. До мельчайших подробностей помню, как проходил траурный митинг в Народном доме: взволнованные речи, слезы на многих лицах, обрамленные черными лентами флаги и венки из сосновых веток... И еще помню — это был первый случай в моей жизни, — я написал в школьную стенную газету почему-то не стихи, какие сочинял уже года три, а статью о Ленине. Эта статья скорее всего не произвела на читателей того впечатления, на какое я самонадеянно рассчитывал, но сыграла определенную роль в моей судьбе. Именно после того я, осмелев, стал пробовать свои силы не только в стихах.

Если активное участие в комсомольской работе, в работе среди крестьян Ново-Егорьевки дало мне многое, то этого, к сожалению, нельзя сказать о школе. Никто там не заметил моего увлечения литературой, моей склонности к литературным занятиям. Надо было искать другую школу, где преподавание велось на более высоком уровне, где можно было получить полное общее образование.

Такая школа нашлась в селе Веселоярском на Алее, недалеко от Рубцовки. Это была девятилетка, созданная год назад большим энтузиастом народного просвещения и знатоком русской литературы Евгением Александровичем Боголюбовым, впоследствии доктором филологических наук, профессором.

В свое время Е. А. Боголюбов с большим успехом окончил Московский университет. Ему предлагали начать педагогическую деятельность в Москве, но он отказался от лестного предложения и отправился в Сибирь, как это делали многие передовые люди, болеющие душой за судьбы народа. При Советской власти Е. А. Боголюбову, обладавшему несомненным талантом педагога, было поручено создание школы с педагогическим уклоном: надо было срочно готовить кадры сельских учителей. Е. А. Боголюбов сам выбрал для школы обыкновенное село за двадцать пять верст от Рубцовки и привлек для работы в ней образованных, опытных преподавателей, таких, как бывший народоволец Скабичевский,

сын известного критика, — отбыв ссылку в Сибири, он полюбил ее и остался в ней навсегда.

Мне пришлось выдержать большой конкурс в школу Е. А. Боголюбова: слава о ней за один год разошлась по всей округе, и к ее порогу бросились со всех сторон юноши и девушки, у которых перерывы в учении были до четырех лет. И потому наш набор (в седьмой класс) оказался таким же своеобразным и сильным, как и первый набор: хотя почти все поступавшие надолго отрывались от школ, порастеряли ранее полученные знания, но зато накопили немалый жизненный опыт и, конечно, имели осознанное желание получить образование, а также умение трудиться в поте лица.

О школе в Веселом Яре, в которой я учился три года, у меня сохранились самые светлые воспоминания. Впрочем, добрую память о ней хранят все ее воспитанники. Помню, как отец привел меня к дому, где жил Евгений Александрович, и у ворот, встретив его, передал меня, можно сказать, с рук на руки. И Евгений Александрович стал для меня вторым — после отца — воспитателем. Именно потому, что мне посчастливилось встретиться с этим человеком, у меня окончательно созрело решение посвятить себя литературному труду. Под его влиянием сформировались и мои литературные взгляды.

Многим учащимся школы Е. А. Боголюбов привил любовь к русской литературе. Его увлекательные лекции (а он читал именно лекции, как в университете) не только давали нам много знаний, но и пробуждали желание испробовать свои силы на литературном поприще. Он постоянно наблюдал за работой литературного кружка и нашего рукописного журнала «Всходы», помогал проводить диспуты о разных литературных явлениях того времени. Ученикам, какие были у него на особой примете, он всегда давал индивидуальные темы для сочинений. Например, нашему лучшему школьному поэту Кайгородову он предложил однажды «вписать» в «Евгения Онегина» целую главу о том, как семья Лариных узнала о гибели Ленского на дуэли и что потом происходило в их доме. Эта весьма любопытно написанная «глава» была зачитана потом в классе. Мне он однажды дал задание написать статью о творчестве недавно погибшего Сергея Есенина, о котором тогда шли споры по всей стране. Получилась большая и острополемическая статья: я защищал от критиков, ополчившихся против замечательного русского поэта, все его стихи, за исключением цикла «Москва кабацкая». Эта статья была тоже зачитана Евгением Александровичем в классе и послужила поводом для общешкольного диспута, продолжавшегося два вечера. Мы, защитники Есенина, одержали на том

диспуте полную победу против наших оппонентов, возглавляемых обществоведом Белоусовым, за что и получили по выговору от бюро комсомольской ячейки.

Но и здесь, в Веселом Яре, хотя школьные занятия и отнимали очень много времени, мы, ученики, не отрывались от деревенской жизни. Е. А. Боголюбов горячо поощрял наше увлечение культурно-просветительной работой.

Почти все мы жили в крестьянских домах — и потому всегда были хорошо осведомлены о том, что происходит в селе. Помню, из рассказов своих хозяев я узнал, как обнаглевшие жулики действуют в сельской кооперации. Дождавшись собрания пайщиков, я заявился в Народный дом, полный веселоярцев, выслушал несколько довольно мирных речей, а потом попросил слова. Представьте: на трибуне появился паренек пятнадцати лет, ученик седьмого класса, и звонким голосом, на высокой ноте, произнес гневную разоблачительную речь, в которой досталось всем жуликам невзирая на лица! Что творилось тогда в Народном доме, а потом и во всем селе! Совершенно не думая о последствиях, я словно разворошил осиное гнездо. Не помню, был ли толк от моей речи (не от всех речей он бывает!), но я был доволен, что никого не убоялся и смело восстал против ворюг. С тех пор я поступал так всегда, в любых случаях. Опять-таки этому научила меня сама жизнь.

Ученики нашей школы организовали селькоровский кружок в Веселом Яре, выпускали стенную газету в сельской избе-читальне, были активными распространителями периодической печати. Неграмотных в селе оставалось уже мало, но многие мужики скупились: выпишут по одной газетке — и ладно. Поэтому можно понять, какую огромную работу мы должны были провести в селе, если на каждый двор (а их было, кажется, около восьмисот) веселоярцы выписали тогда по три разных издания, в том числе немало журналов «Безбожник»! О нашем кружке, добившемся поразительных результатов, было рассказано даже в газете «Сельская правда».

Но мы, селькоры, писали еще и заметки в сибирские и центральные газеты. Печатали их, правда, редко, но это нас не смущало. Для меня из того времени памятной осталась, пожалуй, лишь небольшая зарисовка о разгульном праздновании дня покрова в Веселом Яре, напечатанная в губернской газете «Красный Алтай». О работе нашего кружка хорошо знало все село — и уже одно это давало пользу: все понимали, что от наших зорких глаз ничто не ускользнет.

Большую и разнообразную работу вели ученики в селе. В Народном доме часто ставили для крестьян различные спектакли,

устраивали антирелигиозные вечера, выпускали злободневные «живые газеты», пользовавшиеся большой популярностью. Силами учеников нашей школы в центре села был разбит и выращен большой сквер. Многие ученики принимали участие в строительстве Алейской оросительной системы, в первой Всесоюзной переписи 1927 года. Нелегко перечислить все, что мы делали в селе. Однажды мы, например, узнали, что для сельского общества требуется карта Веселого Яра. И мы пообещали: сделаем! Я уговорил троих своих друзей сократить на месяц летние каникулы. Ребята приехали. Раздобыв при содействии Е. А. Боголюбова теодолит, мы весь август работали от зари до зари. Большая, подробная карта села, растянувшегося вдоль берега Алея, была сделана. Конечно, без какой-либо малейшей личной выгоды, а так, от всей души...

Не знаю, может быть, нас не так уж хорошо подготовили в Веселом Яре к педагогической деятельности, тем более что в то время существовали самые различные, зачастую противоборствующие течения в педагогике. Но вот к общественной деятельности школа подготовила нас определенно хорошо: политической зарядки, какую мы получили в ней, нам хватило надолго. Да и общими знаниями школа вооружила нас, я думаю, неплохо. Не случайно, что многие ее ученики впоследствии стали крупными специалистами в разных областях хозяйства, видными научными работниками, преподавателями и литераторами.

Немного о личном отношении ко мне Е. А. Боголюбова.

Зная о том, что у моего отца ничтожный заработок, а семья большая, он взял меня на «государственное снабжение», то есть предоставил мне стипендию, какой вполне хватало расплатиться за квартиру и харчи. Если бы не эта стипендия, мне, возможно, и не закончить бы его школы.

Была у меня юношеская забава — любил шутки ради подделывать подпись Евгения Александровича. Входя в класс, он частенько видел на доске: «Евг. Боголюбов», — это было начертано с той тонкостью и легкой витиеватостью, какая была присуща лишь его руке. Сдерживая улыбку, покачивая головой, Евгений Александрович, никогда не повышая голоса, добродушно говорил:

— Бубеннов, сотри.

Я выходил к доске, работал тряпкой, класс потешался надо мною, все были в отличном настроении...

Весной 1927 года, за полтора месяца до окончания школы, я заболел и не мог вставать с постели. Евгений Александрович пришел проведать меня, и я заявил, что сдам все экзамены досрочно — пусть только преподаватели приходят ко мне на дом

да не обижают меня своей жалостью. Евгений Александрович отнесся к моей просьбе весьма благосклонно. Он первым просидел у моей постели несколько часов подряд, пока я, кривясь от боли, писал сочинение.

Когда все экзамены были сданы, меня увезли домой. Там я быстро — в две недели — поправился и встал на ноги. И мне нестерпимо захотелось вернуться в родную школу, чтобы побывать на выпускном вечере. Я запряг коня в ходок и отправился за восемьдесят верст в Веселый Яр.

На выпускном вечере Евгений Александрович, встретив меня, отвел в сторонку и сказал:

— Очень рад, что ты приехал попрощаться со школой, очень рад! — Он поправил на мне неумело завязанный галстук и немного смущенно признался: — Откровенно говоря, я не считаю тебя самым талантливым из ребят. Но почему-то на тебя возлагаю особые надежды. Впрочем, помни: тебе нелегко будет.

...Об этом вечере, о расставании в Веселом Яре мы вспомнили, встретясь в Москве после войны. Позднее мы встречались часто, и мне пришлось с большой горечью произнести прощальные слова над его гробом. Похоронен профессор Е. А. Боголюбов на Новодевичьем кладбище.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

В начале лета 1927 года, закончив школу и получив звание сельского учителя, я уехал в Заобье, в село Сорокино на Чумыше, где еще весной поселилась наша всегда кочующая семья. Уже прошло больше года, как отец получил возможность вернуться на свою любимую работу, с какой надолго расставался не по своей воле, — в лесное хозяйство.

В Сорокине, быстро перезнакомясь с местными комсомольцами, я с привычной увлеченностью занялся общественной работой. Мы, комсомольцы, действовали весьма горячо и напористо, борясь, как умели, за скорейшее утверждение советской нови в сибирской глуши: проводили среди крестьянской молодежи беседы на самые различные темы, устраивали громкие читки газет в избе-читальне, разоблачали, используя любые возможности, всяческие махинации кулаков, торговцев и попов, всегда старавшихся обойти советские законы, устраивали субботники в помощь бедноте, экскурсии в коммуны, ставили спектакли и «живые газеты», посвященные злободневным местным событиям, —

они пользовались у населения особой популярностью. Я писал для них небольшие сатирические сценки или монологи в стиле раешника. Эти занятия постоянно держали меня в курсе всей жизни села и являлись, пусть и небольшой, но все же литературной практикой.

В то лето я часто ездил с отцом по районам Заобья. Общительный, разговорчивый, отец умел быстро заводить знакомства с крестьянами, умел в непринужденных беседах разузнать у них обо всем, чем жил народ. Это помогало мне подмечать и светлые, и теневые стороны тогдашней деревенской действительности. Страстное желание как можно скорее увидеть глухую сибирскую деревню преображенной, культурной и счастливой все чаще заставляло меня браться за перо. Я уже знал, какой великой силой обладает печатное слово. Свои заметки и зарисовочки с натуры посылал в губернскую газету «Красный Алтай». Все они печатались без задержки. Конечно, это не бог весть что: многие заметки и зарисовочки — при сегодняшнем чтении — кажутся весьма наивными. Да и немало в них очевидных погрешностей — в стиле, в языке, что особенно досадно. И все же, как ни говори, в них есть живой отблеск далекого времени. Они мне дороги как память о юности и начале творческой работы.

Первым в редакции «Красного Алтая» на меня обратил внимание Василий Михайлович Семенов (Трудовой), известный организатор и вожак молодежи на Алтае в первые годы Советской власти. Он заведовал сельхозотделом, в котором, кроме него, по-моему, никого больше и не было. В начале августа я получил от него письмо: «Шлите зарисовки. Побольше. Все, что послали — напечатали. Пишите. Черпайте темы из деревни. В деревне тем много. Кроме этого, прошу написать заметки: 1. Как работают сберкассы; 2. Самообразование в деревне; 3. Подготовка к 10-й годовщине Октября». Как приятно было получить из редакции такое письмо! Я храню его до сих пор...

В конце августа я впервые в жизни побывал в редакции газеты. Василий Михайлович встретил меня очень приветливо, обласкал и даже — помню — сводил в типографию, показал, как набираются заметки. Незабываемые минуты! Потом Василий Михайлович, что было совсем уж потрясающим, выдал мне тридцать рублей гонорара, как я теперь-то понимаю — из своих денег. О гонораре я тогда не имел никакого представления и очень растерялся, когда он заставил меня взять деньги, посоветовав купить на них пальто и сапоги. Наконец он познакомил меня с настоящим, уже известным на Алтае поэтом Ильей Мухачевым, — до нашей встречи я успел прочитать его небольшую книжечку стихов «Чуйский тракт». Дня два мы бродили с Муха-

чевым по Барнаулу, мечтали о будущем, делились своими мыслями о литературе и с тех пор остались дружны навсегда.

В 1948 году, когда получил известность мой роман «Белая береза», Василий Михайлович прислал мне поздравление. Я ответил ему немедленно. Во втором письме он писал мне: «Признаться, я думал, ты совсем забыл меня. И вдруг письмо! Да еще какое! Сразу видно сибиряка! — И рассказал о своих планах написать мемуары. — Ты, наверное, помнишь Мухачева, Пиотровского, Булухту?.. Все это талантливые парни, люди с искрой. Всех их я тащил, а двери моего дома были для них широко открыты. Я издал на свои деньги стихи Мухачева и Пиотровского... Трудно тогда было протаскивать живое слово. Как сейчас помню твои рассказики. Они мне очень понравились. Обычно я все, что поступало ко мне, тщательно обрабатывал, переписывал заново. Твой первый рассказ я направил в набор без поправок, не перепечатав даже на машинке. Редактор долго допрашивал меня, кто это да откуда, да почему я не посидел как следует над материалом...»

Что и говорить, мои зарисовочки, конечно же, нуждались в суровом редактировании. Но в какой-то мере, очевидно, был прав и Василий Михайлович, заботливо оберегавший м о е с л о в о, давая ему возможность развиваться свободно.

Да, Василий Михайлович Семенов действительно много сделал добра молодым людям, стремившимся служить литературе. Забота о молодых отнимала у него так много времени, что только по этой причине, пожалуй, он и не смог в полной силе проявить свое литературное дарование. А оно у него было.

II

В Сорокине много времени уделял я и подготовке в Ленинградскую лесную академию — легко догадаться, что я решил поступить туда под влиянием отца, влюбленного в лесное дело. Но неожиданно мне возвратили все документы. Причина — нет полных восемнадцати лет. Пришлось заняться учительской деятельностью, к которой, признаться, я не испытывал особого влечения. Меня оставили в Сорокине, назначив заведующим районной школой малограмотных (были такие!); в ней учились главным образом молодые сельские активисты. Но эта школа просуществовала лишь до весны, а там ее великовозрастных, зачастую усатых учеников непреодолимо потянуло по домам — настала пора готовиться к пашне. Я остался не у дел, что было для меня полной неожиданностью. И тогда мне тоже захотелось мах-

нуть куда-нибудь в новые места: такое желание у меня появлялось в молодости каждой весной.

На некоторое время я уехал в Минусинский край, прибился там к какой-то небольшой экспедиции, изучавшей памятники древности, побывал с нею на Енисее, в Хакасии, в Саянах. И все лето, пользуясь каждой свободной минутой, писал стихи и рассказы; некоторые из них были опубликованы в сибирских газетах.

К осени вернулся домой, но о продолжении образования — по семейным обстоятельствам — мне уже не пришлось мечтать: надо было работать и жить самостоятельно. И я отправился в село Верх-Камышенку заведующим начальной школой.

В тот год жизнь сибирской деревни, приутихшая было после гражданской войны, вновь забурлила, как порожистая река. В стране стала ощущаться нехватка хлеба. Но кулачество, имевшее большие запасы зерна, не желало продавать его по государственной цене, припрятывало. Против кулаков стали применяться некоторые меры экономического воздействия, но это не давало ощутимой пользы: сильно разбогатев за последние годы, они имели полную возможность деньгами вносить любые платежи. Хлеба из Сибири в закрома страны поступало мало.

Не успев обжиться и осмотреться в Верх-Камышенке, я оказался вовлеченным в самый водоворот борьбы за хлеб — ведь я был не только заведующим школой, но и секретарем комсомольской ячейки, и членом сельского Совета. Вначале хлебозаготовки шли вполне успешно. Год выдался очень урожайным, и нам, сельским активистам, нетрудно было уговаривать крестьян побыстрее сдавать излишки хлеба: все они отлично понимали, что у государства большая нужда. Бывало, крестьяне сами, без нашего зова, приходили в сельский Совет за путевками. Мы очень часто отправляли в Барнаул «красные обозы», были счастливы и горды своей работой. Но потом по селу распространились слухи, что в будущем году будет большая засуха, — несомненно, это было кулацкой агитацией. А в наших местах нет ничего проще напугать крестьян засухой. Они случаются частенько — и крестьяне, конечно, боялись оставаться без хлебного запаса. После этого многие стали осторожничать, и нам, сельским активистам, каждый воз хлеба стал даваться с большим трудом.

Мне как человеку со стороны, совершенно незнакомому с состоянием хозяйств верхкамышенцев, работать было особенно трудно. Приходилось полностью полагаться на советы местных коммунистов, моих старших друзей. Это усложняло мои позиции. Особенно трудно было вести разговоры с «крепкими хозяевами». Бывало, сто потов сойдет, пока увещеваешь одного из них, не

зная всей его подноготной, сдать излишки. И все бесполезно! Проведешь все подсчеты: какой урожай он получил в прошлое лето, сколько требуется его семье зерна на пропитание до нового урожая, сколько на корм скоту и даже птице, на семена, и тогда собеседника иногда тоже прошибает потом: становится очевидным, что есть у него излишки, есть! Но все равно, быстро овладев собой, он опять начинает заученно твердить: «Нету, ищите!» Однако все знали, что искать зерно в хозяйских амбарах бесполезно: оно или припрятано в ямах, или хранится у бедных, но весьма услужливых сельчан. Иногда, правда, такой толстокожий не без хитрости, со слезой во взоре соглашался свезти небольшой возишко, — дескать, как ни трудно, но поделюсь последним куском с Советской властью. Было ясно, что такими подачками иные хотят лишь откупиться и избежать карающего удара.

В середине зимы несколько прижимистых «справных хозяев», как они себя называли, были вызваны на собрание сельской бедноты, которая хорошо знала многие их хозяйственные тайны. Каждому из них было определено, сколько он должен сдать зерна, и каждому сказано, что в случае дальнейшего упрямства с него будет взыскана стоимость хлеба в пятикратном размере. Это называлось «пятикраткой». И что же? Суровое предупреждение подействовало отрезвляюще на многих. Но два или три двора продолжали упорствовать. По решению сельского Совета они были обложены «пятикраткой».

Из исторических материалов известно, что еще в начале двадцать восьмого года, когда только разворачивалась борьба за хлеб, во многих местах Сибири не только с кулаками, но уже и с середняками обходились круто. Это повторилось и той зимой, о которой я вспоминаю. Но смею утверждать — далеко не везде. Дело прошлое, но мне кажется, что в Верх-Камышенке таких явлений не было. Те два или три двора, какие подверглись суровой каре, были определенно кулацкими и, как оказалось позднее, скрывали значительные излишки хлеба. Я не помню, чтобы от такой кары пострадали тогда середняцкие дворы.

Но надо признать, что борьба за хлеб, если ее рассматривать в свете современных общественных норм, не всегда велась умело и достойно, особенно нами, комсомольцами, горячими головушками. Мы допускали, например, всяческие оскорбительные осмеяния на все село тех, кто утаивал излишки, устраивали им разные «бойкоты» и т. д. Однако позволительно спросить у тех людей, которые сейчас стремятся выискивать в истории нашей священной борьбы разные ошибки и промахи, у тех любвеобильных, которые проявляют странную жалостливость к разгромленной

кулацкой части старой деревни: а как же было нам вести наступление на тех живоглотов, которые мечтали своими руками задушить Советскую власть? Вымаливать у них для государства, как милостыню. каждый кусок хлеба? Кланяться им в ноги? Нет, правильно было сказано: борьба за хлеб — борьба за социализм.

Одновременно с изъятием излишков хлеба на кулаков велось наступление и по другим линиям: их облагали разными повышенными налогами, лишали права голоса, изгоняли из массовых организаций. Словом, применялись разнообразнейшие меры ограничения и подрыва экономической мощи кулачества. Шла подготовка к ликвидации его как класса.

Серьезные затруднения с хлебом в стране обнаружили полную беспомощность и бесперспективность единоличного хозяйства, что не могло не встревожить трудовое крестьянство. И немудрено, что крестьянам тогда приходилось всерьез задумываться о будущем деревни, о своей судьбе. Они все яснее и яснее начинали понимать, что в новых условиях совершенно неизбежны коренные перемены в сельском хозяйстве. Поэтому в среде крестьян, особенно сельской бедноты, и получила горячую поддержку выдвинутая партией год назад идея перехода к коллективному пользованию землей.

Со всей категоричностью утверждаю, что эту идею никто насильно не навязывал, например, крестьянам Верх-Камышенки. Помню, как верхкамышенцы очень часто по своей инициативе заводили разговоры о преимуществах коллективного хозяйства. Эти преимущества им были уже хорошо известны. В наших местах существовали хорошо окрепшие коммуны. Крестьяне окрестных сел, в том числе и верхкамышенцы, частенько бывали в них и видели, как живут и трудятся коммунары.

Вообще надо отметить, что сибирские коммуны сыграли огромную роль в распространении идеи коллективизации сельского хозяйства. Как известно, они начали создаваться в первые месяцы существования Советской власти. Весной восемнадцатого года рабочие Обуховского завода создали коммуну на Бухтарме, первую на Алтае, — о ней рассказано в поэме Ольги Берггольц «Первороссийск». Одновременно питерские рабочие создали и коммуну «Новая жизнь» на Алее, близ села Локоть. Многие первые алтайские коммунары погибли после мятежа контрреволюции в Сибири. Но семена, посеянные ими в народе, дали богатые всходы. Сразу же после разгрома белогвардейщины в нашем крае стали создаваться сотни коммун. Это был невиданный порыв крестьянства к лучшей жизни. Правда, большинство коммун просуществовало недолго — не было еще у крестьян опыта в ве-

дении коллективного труда, не было и условий для создания крупных хозяйств, тем более в большом масштабе. Но те коммуны, какие уцелели, оказали огромное влияние на умы трудового крестьянства. Их опыт в организации труда и его оплаты изучался по всей стране. Девять коммун Алтайской губернии за хозяйственные успехи и культурно-просветительную работу среди крестьян получили премии на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1923 года.

Естественно, что когда в Верх-Камышенке зашла речь о создании коллективного хозяйства, то все мы стали называть его коммуной. (Кстати, в то время слово «колхоз» еще и не дошло до глубинных сел Алтая.) Впрочем, если разбираться строго, то в Верх-Камышенке, по существу, создавалась артель — у нас никто и не думал обобществлять весь скот и птицу. (Коммуне — по моему настоянию — дали название «Красный богатырь». Признаюсь, хотелось, чтобы в названии прежде всего звучала революционность, но непременно в сочетании с некоторой народной поэтикой.) Да никто и не подсказал нам, что создавать коммуны, несмотря на одиночные хорошие примеры, несвоевременно. Где там! Они создавались тогда по всей Сибири. Более того, Сибкрайком ВКП(б) неоднократно и совершенно определенно ориентировал всех на преимущественное создание не артелей, а именно коммун, как якобы лучшей формы коллективного хозяйства. Так что нашу затею в Верх-Камышенке даже и нельзя считать только нашей ошибкой. Все это говорится лишь для установления исторической истины.

В связи с напряженной борьбой за хлеб, а затем и созданием коллективного хозяйства резко обострилась классовая борьба в нашей Верх-Камышенке. Дело дошло до того, что партийная ячейка иногда не решалась засиживаться допоздна в сельском Совете, а собиралась на моей квартире, — крестьянский дом, где я жил, стоял на отшибе. Помню, что коммунистам (а заодно и мне) было выдано даже оружие — для самообороны. К счастью, той зимой в нашем селе обошлось без нападений на активистов, но они уже случались по всей Сибири. Однако некоторым нашим активистам угрожали даже в письменном виде. Вообще тогда распространялось, особенно церковниками, множество злобных антисоветских писаний: вражеские силы старались всячески запугать людей, заставить их отказаться от начатого великого дела.

...За какие только дела не приходилось мне, сельскому учителю, браться той зимой! Общественная работа отнимала у меня тогда все часы и минуты, остающиеся после школьных занятий. Освобождался я от нее обычно не ранее полуночи и, можно сказать, едва не валился с ног. Но каждый день, насыщенный слож-

ными событиями, прожитый в горячей борьбе за советскую новь, обогащал меня множеством наблюдений и мыслей. Определенно подогретый ими, я ночами, несмотря на усталость, садился писать стихи или рассказы, навеянные какой-нибудь былью. Но теперь стихи о природе, какими я увлекался прежде, полностью уступили место стихам, насыщенным страстной гражданственностью. (Помню, писал даже поэму, посвященную борьбе за хлеб, — «Путевка»; молодые любят затеивать крупные вещи!) В рассказах же тем более старался запечатлеть кипучую действительность тех памятных дней. Но я уже понимал, что тем событиям, участником которых мне довелось быть, наиболее подходящее место в большой книге. Однако для ее создания у меня не хватало ни опыта, ни времени, ни творческой дерзости.

Желание писать очень сильно подогревалось во мне и успехами советской литературы. Только что разлился по всей стране и полонил наши души «Тихий Дон» Шолохова. Герои Фадеева и Панферова страстно звали в будущее. Волновали и многие книги, изданные в Сибири («Два мира» Зазубрина, «Виринея» Сейфуллиной и др.). В журнале «Сибирские огни» печатались такие писатели, как Березовский, Бахметьев, Пушкарев, Гольдберг, Далецкий. Литературная жизнь Сибири била ключом! А в соседнем районе, в коммуне «Майское утро», учитель А. М. Торопов проводил читки книг советских писателей и печатал отзывы о них коммунаров. Огромный интерес у нас, учителей, вызвало это великолепное начинание! Словом, существовала атмосфера, определенно способствующая развитию творческой активности.

Еще перед началом учебного года, на учительской конференции в Сорокине, я собрал около десяти своих коллег, которые тоже пробовали свои силы в литературе. Все они работали в разных селах, но это не помешало нам создать литературный кружок. Вскоре установили связь с Москвой — со Всероссийским объединением крестьянских писателей (ВОКП), которое в то время становилось весьма представительной, творчески активной организацией. В ВОКПе наше первое письмо, вероятно, произвело впечатление: гляди-ка, дескать, вон в какой глуши знают о существовании организации и тянутся к ней! Нам оказали большое внимание. Завязалась переписка. И хотя никто из нас еще не был писателем, наш кружок стал как бы небольшой частицей организации крестьянских писателей в Заобье.

Находясь в разных селах, мы не могли собираться часто. Однако позднейший опыт подсказывает мне, что это обстоятельство лишь способствовало нашей творческой работе. Мы завели свой литературный журнал, который путешествовал из села в село, начиная свой путь из Верх-Камышенки. Каждый член

кружка собственноручно и без всякого редактора «печатал» в нем свои произведения (стихи, рассказы, критические статьи) и отправлял с нарочным ближайшему члену кружка. Сделав большой круг по району, журнал возвращался ко мне. Некоторые, наиболее удачные, наши журналы мы отослали затем для ознакомления во Всероссийское объединение крестьянских писателей. Там и были замечены мои рассказы.

В мае 1929 года меня как руководителя литературного кружка в Заобье, единственного, кто уже публиковал свои произведения в периодической печати, пригласили в Москву — на Первый Всероссийский съезд крестьянских писателей.

Для крестьян та весна была тревожной — долго не было дождей. А у меня на душе было радостно. Сборы в Москву были короткими. Я уезжал с полупустой плетеной корзиной, в которой, кроме запасных рубашек, лежали подорожники, напеченные моей хозяйкой. Расчет был прост: с подорожниками я управлюсь до Москвы, а там загружу корзину книгами.

III

Передо мною большая фотография: ее я бережно, как самую драгоценную реликвию, храню всю жизнь.

...В узком и убогом зале плотно, плечо в плечо, сидят и стоят, должно быть, более двухсот человек, чем-то очень взволнованных, с оживленными, устремленными вперед и слегка приподнятыми взглядами. На первом плане — слегка ссутулившийся, словно стесняющийся своего высокого роста человек в светлом костюме, с зачесанными назад густыми волосами и большими, обвисающими усищами. Он тоже с некоторым напряжением, исподлобья старается глядеть вверх, а его усталые, много потрудившиеся руки на коленях, в правой — недокуренная папироса. По выражению его резко очерченного, скульптурно выразительного лица, изрезанного резкими морщинами, видно, что он или очень устал, или чем-то недоволен, — возможно, только тем, что его усадили в первый ряд, впереди всех, кто собрался в зале.

Это Алексей Максимович Горький.

Среди тех людей, какие его окружают, узнаешь молодую, в соломенной шляпе А. Караваеву, А. Дорогойченко, П. Замойского, А. Богданова, М. Исаковского... В глубине зала тоже немало знакомых лиц: и ушедших от нас по извечному закону, и погибших на войне, и ныне здравствующих. Большинство из них — крестьянские писатели, собравшиеся в начале июня 1929 года в Москве на Первый Всероссийский съезд своей организации, а снимок сделан в зале Центрального Дома крестьяни-

на, на бывшей Мещанской. (На съезде было 157 делегатов и, вероятно, около сотни гостей.) Стены невзрачного зала завешаны панно, плакатами и полотнищами с призывами, посвященными еще Первомаю и индустриализации страны; все это предназначалось, конечно, для приезжих крестьян. Впрочем, хотя зал и не подготовлен специально для писательского съезда, в нем ощущается дыхание того памятного времени.

Я стою у стены, позади усатого и седовласого писателя со скрещенными на широкой груди руками. Почему он поднялся со своего места, хотя и сидел в третьем ряду, я не знаю, а вот про себя знаю — не усиделось в те минуты, когда фотографировались с Горьким, не в моей это было натуре и власти. Но у меня почему-то в отличие от многих очень строгое — не по возрасту — выражение лица, очень сосредоточенный взгляд, будто я только что пережил какое-то потрясение и мне приходится с усилием разбираться в его природе. Да ведь так оно и было! Те люди, какие встречались с Горьким, легко меня поймут. Встреча с этим человеком большой культуры и редкостного личного обаяния, хотя бы и очень короткая, не могла не потрясти любого человека, в ком бьется русское сердце.

...Нынешним молодым людям трудно понять, с какими чувствами я ехал тогда в Москву. Сейчас тысячи детей летят в столицу, чтобы во время каникул осмотреть ее достопримечательности, побывать в ее музеях и театрах, и это всеми считается за обычное дело. О молодых же людях и говорить нечего: они носятся на воздушных лайнерах из конца в конец страны, иной раз и без особой нужды, а только ради развлечения: хочется пройтись по быстрым сибирским рекам, покататься на лыжах в горах Кавказа, полюбоваться гейзерами на Камчатке. А ведь во времена моей юности любая поездка из дальних мест в Москву считалась большим событием, почти чудом, которое любого человека заставляло трепетать. А у меня к тому же была непростая поездка.

Признаюсь, мне не однажды хотелось сознаться перед своими попутчиками, взрослыми людьми, зачем я еду в Москву, но я всю дорогу упорно отмалчивался. Во-первых, я был уверен, что меня, по виду почти ничем не отличавшегося от деревенских парней, обвинят в хвастовстве; во-вторых, я несколько суеверно чего-то боялся, вроде как сглаза: вдруг да окажусь не в московском поезде, а в своем сибирском селе! К тому же много времени у меня проходило в тягостных раздумьях, так что мои попутчики, пожалуй, относились ко мне с некоторой подозри-

тельностью. А мне было о чем думать! Хотя я и давненько начал литературные опыты и мечтал стать писателем, но все еще, как оказалось, несколько легкомысленно относился к своим занятиям и своей мечте. А дело-то неожиданно приняло крутой оборот: отныне приходилось уже как-то иначе, с большей суровостью, что ли, разбираться в своих помыслах. Таким образом, в те пять дней, пока я добирался до Москвы, мне больше, чем когда-либо, пришлось думать о своей дальнейшей судьбе.

Хотя я примерно и знал, сколько займет дорога до Москвы, приехал туда — на всякий случай — дня за три до открытия съезда. Первым из делегатов, хотя и добирался из далекой дали! Во Всероссийском объединении крестьянских писателей меня встретили очень приветливо и с живейшим любопытством расспрашивали, как я добирался до столицы. Моя деревня в Заобье москвичам казалась еще дальше, чем мне Москва!

Меня устроили в Центральном Доме крестьянина. На другой день, придя на Тверской бульвар, 25, где находилось правление ВОКП, я встретил уже известного писателя Ивана Шухова. Мы познакомились. Он повел меня бродить по Тверскому бульвару, где в те дни проходила книжная торговля. В небольших ларьках под раскидистыми деревьями, до отказа набитыми разной литературой, вместе с продавцами трудились и писатели, рекомендуя книги покупателям и раздавая автографы.

Прямо с поезда я попал на литературный бал, каким можно было назвать книжную торговлю на Тверском бульваре, — над входом в него со Страстной площади на фоне прекрасной перспективы тогда возвышался Пушкин, хорошо освещенный солнцем в лицо, а не со спины, как теперь. На всем бульваре царила удивительная атмосфера живого приобщения людей к книге. За один день я увидел многих известных писателей, выступавших в необычной роли за книжными прилавками, своими руками перебрал много книг и стал владельцем почти всех новинок советской литературы. Казалось бы, что тут особенного? Ну, бродил по бульвару в толпе книголюбов, глазел на отдельных писателей, ловил каждое их слово, сказанное своим почитателям, ловил в толпе какие-то случайные фразы об отдельных книгах... Что тут важного? Пожалуй, я и не отвечу на этот вопрос, но хорошо помню — это был очень большой, очень радостный день в моей жизни, наполнивший меня точно каким-то особым светом. И те раздумья, какие не покидали меня всю дорогу до Москвы, охватили меня тогда с новой силой.

Съезд открылся в один из первых дней июня 1929 года.

Для крестьянских писателей в то время действительно суще-

ствовала крайняя необходимость обсудить многие проблемы, касающиеся изображения в литературе советской деревни.

Заканчивалась первая половина года, названного позднее годом великого перелома. Немногим более месяца назад, на XVI партийной конференции, вновь стоял вопрос о путях перестройки сельского хозяйства. Еще раз были сурово осуждены идеологи и защитники кулачества, проповедники мирного врастания в социализм этого паразитического класса. Началась чистка партии от чуждых, разложившихся элементов и всякой нечисти, противящейся ее генеральной линии.

Крестьянские писатели не стояли в стороне от тех событий, какие прокатывались по всей стране и сотрясали деревню. Ее судьба была их судьбой. Но совершенно очевидно было, что литература отстает от жизни. Для того чтобы она сделала рывок вперед, требовалось поднять писателей на творческий подвиг и вооружить их ясным пониманием своего долга.

В первый же день работы съезда на нем по поручению ЦК партии с большим докладом «Крестьянская литература и генеральная линия партии» выступил А. В. Луначарский. Он очень вдохновенно говорил о задачах, которые стоят перед страной и перед литературой о деревне, о той колоссальной роли, которую ей предстоит играть в освещении сложных процессов, происходящих в деревенской действительности.

После этого нельзя было ограничиваться только теоретической дискуссией о том, что такое «крестьянская литература», какая велась прежде, а пора вести чисто профессиональный разговор о том, как ее делать, чтобы зажечь в душах людей порыв в светлое будущее. Такой разговор начался прежде всего в докладах П. Замойского, И. Батрака, А. Богданова и А. Ревякина. В них отмечался творческий рост организации за последние годы, назывались лучшие книги крестьянских писателей, получивших широкое признание читателей: «Лапти» П. Замойского, «Двор» А. Караваевой, «Девки» Н. Кочина, «Пятая любовь» И. Карпова, «Бабьи тропы» Ф. Березовского, «Ледолом» К. Горбунова, «Большая Каменка» А. Дорогойченко, «Капкан» Е. Пермитина, «Горькая линия» И. Шухова и многие другие. Все выступавшие затем писатели так же горячо говорили о расширении и углублении литературной практики, повышении мастерства, необходимости создавать произведения, достойные советской деревни, вступившей на новый, социалистический путь развития, мечтающей о более счастливой судьбе.

В этом весьма плодотворном профессиональном разговоре неожиданно для всех нас принял участие и великий русский писа-

тель Алексей Максимович Горький, только что приехавший из Италии.

Хорошо помню тот вечер, когда в «Вечерней Москве» появился репортаж о его приезде. Во всех номерах Центрального Дома крестьянина, в которых проживали делегаты съезда, оживленно толковали о том, надолго ли Горький вновь появился в Москве. Мы не осмеливались мечтать о встрече с великим писателем: все понимали, что ему сейчас, после долгой-то дороги, не до встреч. Мы были довольны одним тем, что он вновь вернулся на Родину; все расценивали это возвращение Горького как несомненное проявление его живейшего интереса к жизни родной страны, начавшей грандиозное переустройство. И одно это заставило нас опять и опять думать о своем месте во всенародном движении того времени. Таким образом, Горький, еще не появившись перед нами, еще со стороны, но уже вмешался в наш разговор о задачах литературы.

Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что А. М. Горький, не успев отдохнуть с дороги, появится на нашем съезде. Услышав об этом, все притихли в напряженном ожидании. Хорошо, что оно продолжалось недолго. А. М. Горький появился на сцене и, оглушенный грохотом стульев и шумом рукоплесканий, в полной растерянности остановился за столом президиума между Замойским и Дорогойченко. Он то благодарно прижимал руки к груди, то поднимал их, словно прося пощады, то мягкими, убаюкивающими жестами старался образумить нас и усадить на свои места. Когда же ему это не удалось, он вытащил платок и стал утирать вдруг заблестевшие от слез глаза...

Известно, какой впечатлительностью, душевной отзывчивостью был наделен Горький. Встреча с нами была одной из первых, важных для него встреч в Москве. Для него мы, в большинстве совершенно неизвестные в литературном мире, были, конечно, не столько писателями, сколько читателями, представителями народа. В этом для него была главная суть встречи. Но А. М. Горький, давно увенчанный мировой славой, мог бы, казалось, и спокойнее отнестись к нашему изъявлению любви и восторга. Да вот не мог! В нашей любви, в нашем восторге он, несомненно, почувствовал, как ждали его в родной стране, как здесь хотят видеть и слушать его...

Но слезы Горького еще более тронули наши души. Некоторые товарищи из президиума, стараясь облегчить его положение, начали всячески утихомировать зал, но сделать это было не так-то легко. Тогда Горький начал говорить. Первые его фразы никто и не расслышал, но все в зале, вдруг опомнясь, стали быстро усаживаться на свои места.

Начиная речь, Горький, конечно, еще не успокоился до конца: изредка покашливал, характерным жестом теребил, разглаживал усы, беспричинно надевал и снимал очки. Его речь, особенно вначале, будто речка, с трудом выбивалась на свой путь. Прежде всего она поражала то радостью, то грустным раздумьем и болью. Чувствовалось, что все, о чем говорил Горький, все от его огромного жизненного опыта, а не от книг, все тысячу раз им продумано за долгие годы, все нажито тяжким трудом, все выстрадано. Его речь, пожалуй, и нельзя было назвать речью, какие обычно говорятся с трибун. Это была беседа, от волнения несколько нескладная, петлястая, но необычайно задушевная, содержащая в себе много неожиданных, оригинальных мыслей, много мудрейших профессиональных советов писателя, открывшего новое направление в нашей литературе, пропитанная отеческой заботой о молодых людях, которые решают посвятить ей свои таланты, заботой о приумножении завоеваний русского художественного слова.

— Будучи старым мастером литературного дела, которому все вы служите, — так начал Горький свою речь, — я полагаю, что мне следует говорить именно об этом мастерстве *.

Заметив, что оратор, которому он невольно помешал говорить, совершенно правильно призывал серьезно работать над словом, Алексей Максимович продолжал:

— Над словом у нас работают мало, язычок молодых литераторов плох, писателя от писателя трудно отличить, нет характерного языка, нет того, чем, например, язык Лескова непохож на язык Глеба Успенского... А это должно быть. В неисчерпаемой сокровищнице русского языка, народного языка для всякого писателя достаточно таких слов, в которых он найдет яркое, сильное, четкое оформление для своего материала.

Здесь Алексей Максимович несколько поправил оратора, только что сошедшего с трибуны, — тот явно неудачно обмолвился, что «мы слишком увлекаемся фольклором».

— Вероятно, он говорил о «местных речениях», о местных словах, — сказал Алексей Максимович. — Это действительно встречается у большинства писателей, почти у всех молодых писателей. Иногда употребляют такие слова, что приходится подстрочные примечания делать к ним...

Он привел некоторые примеры, вызвавшие смех в зале, и заявил категорически:

— Я думаю, товарищи, что, наоборот, фольклором нам следует заниматься. Народные песни, народные сказки, народные

---

* Выдержки из речи А. М. Горького приводятся по стенограмме, хранящейся в Институте мировой литературы имени Горького.

легенды — вообще все народное устное творчество, которое, собственно, и называется фольклором, — должно быть постоянным нашим материалом...

Он довольно пространно, что, к сожалению, не нашло отражения в сокращенной стенограмме, говорил о тех писателях, которые хорошо знали фольклор, особенно о Лескове и Мельникове-Печерском (о его романе «В лесах»), а затем о Бунине и Чехове, отлично владевшими чистейшим русским языком. Призывая учиться у таких писателей, Алексей Максимович, однако, тут же осторожно заметил:

— Но, видите ли, учиться литератору у литератора — одно дело, а учиться у первоисточника — другое... — И вновь подчеркнул, что писателям следует обогащать свой язык прежде всего за счет богатств народного языка, устного народного творчества.

Затем Алексей Максимович подробно говорил о том, как писатель должен работать над созданием образов своих героев, чтобы они предстали перед читателем живыми людьми, каждый со своими особенными чертами; при этом он предостерегал от нагромождения таких деталей, какие не являются характерными для их внутреннего содержания, чем грешат произведения многих неопытных писателей.

— С деталью надо обращаться осторожно, — заметил Алексей Максимович.

...Я слушал Горького совершенно поглощенно. Но в какие-то секунды, когда в его речи-беседе случались паузы, я успевал вспомнить многое, что касалось моего личного отношения к великому писателю. Особенно вспоминались недавние школьные годы в селе Веселый Яр. Именно там началось мое увлечение произведениями Горького, прежде всего его романтическими рассказами и стихотворениями в прозе. Многие его произведения я знал наизусть и любил читать их в кругу друзей. Более того, откровенно, по-мальчишески подражая Горькому, я даже написал несколько «стихотворений в прозе», одно из них — помню — об одиноком дубе в степи, хотя никогда и не видел дубов — их всего несколько штук на Алтае. Со временем я, конечно, проникся большой любовью к суровой горьковской прозе, но где-то в самой глубине души моей всегда продолжала звучать, пусть и приглушенно, музыка его романтической поэзии.

Но каким же наивным увидел я себя, слушая речь Горького! Он поражал мое воображение прежде всего огромной, выстраданной мудростью, необычайной озабоченностью судьбой родной

литературы. Слова Горького и волновали, и тревожили, и заставляли всерьез задуматься: да за свое ли дело берусь? Я впервые понял, какую большую ответственность перед народом должен взять на себя, вступая на литературное поприще, и это чувство, родившееся в те минуты, когда я слушал Горького, уже не покидало меня никогда. Я впервые понял тогда, какой огромнейший путь должен пройти, сколько положить труда и преодолеть разных трудностей, чтобы стать писателем! Это была главная мысль, какая родилась в моем сознании еще задолго до того, как Горький закончил свою речь. «Однако не хватит у меня сил и ума, — невольно думалось мне тогда. — Не мое это дело, литература...» И все же я не чувствовал, что Горький убивает все мои надежды. Даже для меня, едва взявшегося за перо, в его речи, полной высоких требований, было и что-то обнадеживающее...

— Все вы сами великолепно понимаете, что литература — дело нелегкое, — сказал под конец Алексей Максимович. — Тем не менее за это десятилетие у нас выросла литература, которой Запад все больше и больше увлекается, там переводят таких литераторов, каких я, например, не знаю, а я слежу за ростом литературы внимательно... Вообще, мне кажется, что за всю историю человечества не было эпохи, когда в течение такого ничтожного отрезка, как десятилетие, вдруг хлынула в жизнь столь мощная волна пишущих книги... Имейте в виду, что мы действительно начинаем строить литературу, которая уже почти не уступает работам моего поколения. Мы можем насчитать уже пятнадцать-двадцать книг, которые останутся надолго. Это факт. Они написаны, они живут и становятся рядом с произведениями крупнейших писателей. Творится огромное дело, великое дело. Повторяю, не было — я глубоко уверен в этом, — не было в истории человечества такого взрыва энергии, такого роста всюду и везде, во всех областях. Это надо учесть, это надо помнить, этим надо жить, этим надо питаться!

Такой взгляд на все, что происходило тогда в нашей стране, в частности на явления в молодой советской литературе, прозвучал для нас, делегатов съезда, призывом к творческому дерзанию. Хорошо запомнились и последние слова Алексея Максимовича, произнесенные с большим воодушевлением:

— Мы являемся таким поколением, которое кладет совершенно новые камни, строит совершенно новое здание! Мы являемся новым, совершенно новым рычагом в истории человечества! — И на прощание он помахал нам рукой. — Всего доброго, товарищи! Побольше энергии, силы, стремления к победе, к творчеству!

Это было все равно, как если бы он каждого из нас похлопал по плечу и каждому сказал: «Не вешай голову! Действуй смелее!» Что ж, работать и работать — это не страшно, можно и до седьмого пота...

...Потом все члены президиума вместе с Горьким спустились в зал и заняли первый ряд, а на помосте появился фотограф с огромной камерой на треноге. С завистью я поглядывал на тех, кто находился рядом с Горьким и слушал еще какие-то его слова. Я чувствовал себя обделенным, и поэтому, когда Горький, прощаясь со всеми, направился к двери, я использовал все свои природные возможности для того, чтобы пробиться к нему поближе. И ловок же я был в молодости, стало быть, если мне удалось-таки пронырнуть в бурлящем потоке людей и настичь Горького, хотя уже на лестнице! На ходу его расспрашивали о здоровье, о том, как тяжела была дорога из Италии, о его ближайших планах. Слава богу, у меня все же хватило ума не полезть к нему со своими расспросами, хотя я и шел почти рядом, да и вопросы вертелись на языке!

Двери подъезда распахнулись, и мы увидели, что на улице хлещет дождь. Кто-то стал возмущаться непогодой, но Горький, словно стараясь и тут всех приободрить, сказал:

— А в Италии нынче был снег.

Это было воспринято как нежелание Горького обрывать разговор на полуслове, и его опять засыпали вопросами со всех сторон.

К подъезду подошла машина. Горький поднял воротник летнего пальто, но продолжал стоять, хотя ему надо было сделать всего четыре шага. И мне подумалось, что он не дождя боится, а скорее всего боится обидеть писателей, не ответив на какие-то их вопросы...

...Вернулся я из Москвы очень задумчивым и вскоре отправился бродить по Алтаю. В пути всегда есть время подумать, да и думается легко. Пешком, с легкой котомкой за плечами (по-горьковски!) я неторопливо шагал по проселкам и тропам предгорий, подолгу сидел у шумливых речек, любовался чудесной природой, ночевал у костров, на заимках и пасеках. Без конца обдумывал горьковские советы и наказы, вспоминал подробности встреч с известными писателями. Иногда слушал рассказы местных жителей об алтайской старине, о годах гражданской войны, а то и просто всякие побасенки и небылицы.

В раздумьях прошло все лето, а осенью твердо решил: буду продолжать литературные занятия, но с удесятеренной настойчивостью! Сама собой появилась мысль — описать то, чему был свидетелем прошлой зимой, когда в деревне начинался вели-

кий перелом. Конечно, это было большой дерзостью с моей стороны — браться тогда за повесть, но ведь без дерзости нет и творчества...

IV

Бродя по предгорьям Алтая, я задержался, не помню уж по какой причине, в селе Алтайском, на бывшем Чуйском тракте. И тут внезапно, как это часто случается с молодыми людьми, у меня появилась мысль остаться здесь на годок: молодых всегда тянет что-то повидать, что-то испытать на стороне, вдали от родных мест. Меня назначили учителем в большое село Сетовку, где существовало три школы. До начала школьных занятий оставался еще месяц свободного времени. Скорый в любом деле, за исключением литературного, я немедленно воспользовался этим случаем, чтобы жениться, а потом уж и заняться своей первой книгой. (Об этом случае я упоминаю, конечно, не из желания похвастаться своей легкомысленностью, а только лишь затем, чтобы позднее стало ясно, почему я уехал из Сибири и оказался в Татарии, на Каме.) Но жизнь, как известно, часто путает наши планы.

В Сетовке мне было не до книги...

Началась сплошная коллективизация по всей стране. У меня еще были свежи воспоминания о том, как прошедшей зимой создавалось коллективное хозяйство в Верх-Камышенке. Повторяю: осторожно, без горячки, при полнейшей добровольности! Никаких нажимов, принуждений и даже надоеданий!

В Сетовке все пошло иначе...

Как известно, массовое колхозное движение началось прежде всего в основных зерновых районах страны — на Нижней Волге, Северном Кавказе и на Украине. В Сибири — по разным причинам — оно значительно отставало. Но от Сибири никто и не требовал, чтобы она по темпам коллективизации догоняла передовые районы. В январе 1930 года Центральным Комитетом партии было установлено, что коллективизация в нашем сибирском крае должна быть в основном закончена лишь к весне 1932 года.

Но удивительное дело: несмотря на эту директиву, Сибкрайком ВКП(б) вдруг выдвинул задачу завершить коллективизацию в Сибири уже предстоящей весной. К тому времени по краю вступила в колхозы всего лишь пятая часть крестьянских хозяйств! Таким образом, за оставшиеся три месяца надо было сделать невероятное — вовлечь в колхозы остальные 80 процентов хозяйств!

Естественно, после такой установки по всей Сибири начались перегибы. Карьеристы, пробравшиеся в партию, дали себе полную волю. Зазвучали их грозные приказы: «Выявляйте кулаков!» Но чего, спрашивается, их было выявлять? Настоящие кулаки и так были хорошо известны. Правда, некоторые из них успели «самораскулачиться» — поделить или распродать хозяйства, уничтожить скот и т. д. Но все равно их знали. Да ведь совсем и немного их было в селах — по статистике, не более пяти на сотню крестьянских хозяйств, хотя и эти данные, мне кажется, слегка преувеличены. В последние годы кулаков основательно прижали разными налогами и поборами, ввели для них всевозможные ограничения, например, в использовании наемного труда и аренде земли. Наконец, все они уже были лишены права голоса. Что же было делать карьеристам, которые вознамерились коллективизировать деревню с помощью запугивания и устрашения крестьян? Они стали выискивать, кто в деревне когда-нибудь нанимал батраков, пусть на время страды, хотя это и разрешалось законами того времени, кто когда-нибудь давал соседу плуг вспахать землю или косилку — убрать хлеба. Это были типичнейшие сибирские середняки. Вот таких-то крестьян карьеристы-перегибщики стали самовольно, без всяких обязательных решений собраний бедноты изгонять из домов и родных селений.

Тяжело вспоминать те дни.

В Сетовке главным карьеристом, с наслаждением творившим беззаконие, оказался секретарь партийной ячейки. Еще в начале зимы он стал настойчиво добиваться ускорения коллективизации в селе. Кстати, она шла неплохо, но секретаря партячейки это не удовлетворяло. В январе же, окрыленный решениями Сибкрайкома, он решил выслужиться так, чтобы прогреметь по всему Алтаю. Что началось тогда в Сетовке! С утра до ночи во всех концах большого села, растянувшегося на много верст, шли напряженнейшие собрания, на которых секретарь партячейки и его подручные, используя самые недостойные приемы, старались объединить в колхозе всех сельчан подряд! Особенно сопротивлявшихся насилию в самое неурочное время (чтобы пострашнее было!) вызывали в сельсовет, где перегибщики вели с упрямыми недостойные коммунистов разговоры, которые начинались обычно с печально известной фразы:

— Ты за Советскую власть?

Если же крестьянин и тут продолжал упорствовать, ему припоминали, что лет пять назад он нанимал безродного паренька

в батраки не только на страду, но и до осени. Крестьянин чувствовал, что дело принимает самый дурной оборот, и подписывал любезно заготовленное для него заявление...

Кажется, в середине февраля перегибщики решили провести особенно впечатляющую операцию устрашения упрямых. Однажды к нескольким дворам без всякого предупреждения с утра подогнали подводы, заставили плачущих людей в невероятной поспешности собраться в дорогу и, не разрешив взять с собой даже самое необходимое, отправили обозом невесть куда. Напуганные беззаконием, боясь за судьбы своих семей, крестьяне Сетовки толпами понесли перегибщикам заявления о вступлении в колхоз.

Вскоре после этой незаконной операции состоялось собрание сельского актива. Самодовольно рассказав о последних «успехах» коллективизации, секретарь партячейки призвал всех активистов еще более подналечь, чтобы закончить ее первыми в районе. После его речи все долго и угрюмо молчали. И тут я, как говорится, очертя голову, со всей своей горячностью, а может, и запальчивостью выступил против авантюристических действий местных властей, извращающих идею коллективизации.

Слух о моем резком выступлении на собрании немедленно разнесся по всей Сетовке. Это мое выступление давало перегибщикам возможность придраться ко мне, обвинить меня во всех грехах, тем более что оно не было застенографировано: при известном желании мне можно было приписать любые слова. Но я хорохорился, не понимая, какие меня ожидают неприятности. Однако нашлись умные люди, которые посоветовали мне убраться поскорее и подальше от беды.

До сих пор не могу понять, почему меня тогда не сунули в одни сани с раскулаченными, а отпустили восвояси. Должно быть, решили: пусть этот горлопан, мечтающий стать писателем, поскорее скроется с глаз долой.

Морозным мартовским утром наш поезд, идущий из Бийска в Новосибирск, остановился на станции Алтайской — недалеко от Барнаула, на другой стороне Оби. Я вышел из вагона и, по всегдашней привычке, прежде всего бросился за газетами. У ларька стояла большая очередь. На первых полосах газет свежо чернели слова: «Головокружение от успехов». Все расходились от ларька быстро и молча.

Статья была за подписью И. Сталина. Я ее прочитал не сходя с места. Первой моей мыслью было сбегать в вагон, схватить свои вещички и немедленно вернуться в Сетовку. Но какой-то голос подсказал мне не делать этого.

В вагоне я еще раз перечитал статью. В ней ясно и определенно заявлялось, что колхозы нельзя насаждать силой, что в процессе их создания никому, кроме наших врагов, не нужны недостойные угрозы по отношению к крестьянам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

В конце лета я распрощался с Сибирью и в удрученном состоянии уехал на родину жены — в Татарию, в село Рыбная Слобода на Каме. С осени стал учительствовать в Урахче, недалеко от Рыбной.

Русские деревни Прикамья во многом отличались от сибирских сел. В них все было для меня новым, непривычным, все, как говорится, не по нраву. Я долго и тяжко скучал по Сибири. И поэтому, быть может, мне особенно хотелось писать о сибирской деревне.

Но то, что происходило в Сетовке, все еще не укладывалось в моей голове. Не имея литературного опыта, обескураженный событиями последней зимы, я не осмеливался взяться за описание их в своей первой книге даже и после того, как некоторые обстоятельства, связанные с перегибами в деревне, несколько прояснились и получили оценку в статье И. Сталина. На душе от тех событий все еще оставался горчайший осадок, мешающий осмыслить их глубоко и описать со спокойной суровостью. И тогда я невольно обратился памятью к Верх-Камышенке, где, как мне казалось, великое дело преобразования деревни начиналось более разумно, во всяком случае, без насилия над крестьянином, который, естественно, не мог легко, лишь по чьей-то указке, расстаться со своим извечным хозяйственным и бытовым укладом.

Я решил написать повесть о самом начале великого перелома, о самых первых, не всегда уверенных, но сделанных по своему желанию, вполне самостоятельных шагах сибирского крестьянина по новому пути. События в Верх-Камышенке казались мне тогда вполне ясными, понятными; описывая их, я мог несколько удовлетворить и свой неутихающий внутренний протест против того, что произошло в Сибири последней зимой.

Берясь за создание повести, мне надо было знать, как начиналась коллективизация не в одной лишь Верх-Камышенке и даже не в одной Сибири. Я этого не знал. Надо было обладать

большой и самой разнообразной информацией о событиях того времени. Я такой информацией не обладал. С моим весьма скромным багажом знаний и впечатлений нельзя было, конечно, создать широкие, правдивые, типические картины начала социалистических преобразований в сельском хозяйстве страны. Но писать-то мне хотелось! И хотя мне были известны непреложные законы литературы, я почему-то все же решил: для создания повести мне с лихвой хватит и того, что сохранилось в моей памяти об одной-единственной сибирской деревне. «Опишу все, как было, что видел своими глазами, и этого будет достаточно, — наивно рассуждал я тогда сам с собой. — Ведь вот Горький, он описывал все, как было...»

Одним словом, работая над первой повестью, я допустил такие просчеты и ошибки, какие характерны для многих молодых писателей, создающих первые книги. Слишком часто я оказывался пленником своих впечатлений, впечатлений одной зимы, и не мог подняться над ними, чтобы оглянуться во времени и пространстве. Однако где-то в моем сознании и тогда уже таилась и давала о себе знать мысль, что надо вырываться из этого плена, если я хочу создать художественное произведение, и эта мысль вступала в борение с моими впечатлениями о Верх-Камышенке.

Поэтому я и не назвал ее в повести; там описана на фоне пейзажа, полюбившегося мне в детстве, некая Сосновка. Той же мысли я обязан и тем, что не стал давать своим героям подлинные имена. Наконец, в процессе работы над повестью у меня далеко не все получалось так, как было в действительности. Без моего желания и каких-либо усилий мои недавние наблюдения странным образом, сами собой переплавлялись в моем сознании в никогда не виданные мною, но реальные картины. В такие минуты я все более оказывался во власти своего внезапно разыгравшегося воображения и всегда подчинялся ему с удовольствием и радостью. Вот и получилась у меня первая повесть, к сожалению, из неумелого сплава подлинных фактов и картин, являющихся исключительно плодом вымысла.

Не обошлось у меня, конечно, и без некоторых литературных влияний, особенно в языке. В то время молодая советская литература, особенно о деревне, очень сильно засорялась разным словесным мусором, портящим прекрасный, яркий, цветистый язык русского народа. К сожалению, несмотря на предостережение А. М. Горького, и я по молодости не уберегся от этого опасного поветрия, о чем теперь и сожалею.

Повесть «Наследство» была закончена в конце февраля

1931 года. Естественно, мне хотелось как можно скорее увидеть ее книгой.

Из всех издательств, известных мне в ту пору, меня чем-то особенно привлекло издательство «Московское товарищество писателей» — скорее всего тем, что в его названии глубокомысленно и весьма обнадеживающе звучало прекрасное слово «товарищество». Да и нравились мне небольшого формата, хорошо по тем временам оформленные книжки этого издательства. Их приятно было подержать в руках и помечтать...

Я написал письмо в издательство с разведывательной целью: выведывал, когда может быть издана моя повесть и (о господи!) на какой гонорар можно рассчитывать в случае ее издания. Такое мое письмо, естественно, не могло не надивить работников издательства, но, как это ни странно, вскоре я получил любезный ответ секретаря редакции писателя Василия Кудашева, погибшего впоследствии на Великой Отечественной войне. Он сообщал, какой гонорар платят за печатный лист и что мою повесть могут издать в текущем году, конечно, при условии, если она будет одобрена.

Вполне удовлетворенный ответом В. Кудашева, я 8 апреля 1931 года отослал рукопись повести в Москву. Она была со всем тщанием переписана от руки на чистой, разлинованной мною бумаге, раздобытой с большим трудом, и переплетена в самодельной обложке из желтого картона. Она и сейчас хранится в моем архиве. С такой рукописью ни одно современное издательство не пустило бы меня и на порог...

Как ни странно, но еще в летний период моя рукопись побывала в руках многих писателей, принимавших активное участие в работе кооперативного издательства. И уже в сентябре я получил из Москвы телеграмму: «Наследство» принято гонорар сто пятьдесят необходима легкая редакторская правка согласие срочно сообщайте задерживаем книгу сдачу производство». Легко догадаться, что свое согласие на издание повести я дал немедленно. А 25 октября 1931 года получил из издательства письмо: «Корректуру Вы получите через две недели, точный же срок выхода в свет книги пока определить нельзя. Но в этом году она все-таки выйдет». И я окончательно убедился, что не ошибся в выборе издательства, судя по всему, вся его работа шла именно под знаком высокого писательского товарищества.

Я не случайно так подробно рассказываю о том, как отнеслись в МТП к первой рукописи совершенно неизвестного начинающего писателя, живущего где-то в деревенской глуши. Мне кажется, далеко не каждое современное издательство может похвастаться таким отношением к молодым людям, пробующим

свои силы на литературном поприще, и такой поразительной оперативностью в работе.

Все шло как нельзя лучше: рукопись повести была легко отредактирована (к сожалению, очень уж легко!), набрана и сверстана. Но тут случились обстоятельства, не зависящие от издательства: пришлось искать нового редактора. А пока его искали — типография рассыпала набор. И все началось сначала...

II

Весной 1932 года я приехал в Москву с намерением поступить в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева и вскоре наведался в издательство, которое находилось в бывшем Ветошном переулке. Новым моим редактором был назначен писатель П. Парфенов, активный участник борьбы с контрреволюцией в Сибири и на Дальнем Востоке. Он заново просмотрел рукопись и тоже ограничился небольшими поправками. Но людям, знакомым с издательским делом, известно, что не все зависит от редактора, еще выше его есть люди с указующим перстом. Один суровый блюститель на литературной ниве неожиданно потребовал исключить из повести самые острые сцены, а также обескровить главного героя, человека корявого, еще мечущегося в жизни.

Скрепя сердце я вынужден был внести поправки, от которых моя повесть изрядно пострадала. В эти-то невеселые дни я повстречался с Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем...

Однажды в издательстве мне посоветовали заодно с вынужденными поправками написать сцену крестьянского схода, в которой показать яростное столкновение противоборствующих сил в деревне. Этот совет я принял охотно: действительно, такая сцена была бы не лишней в повести. Мне дали бумагу и казенное перо. Часа через два я вручил заведующей редакцией пять исписанных страниц и вновь занялся своей рукописью.

Войдя в редакцию спокойным, размеренным шагом, Алексей Силыч поздоровался с работниками издательства, которые дружно поднялись со своих мест, и остановился у стола заведующей редакцией. Кивнув в мою сторону, негромко спросил:

— Кто?

Услышав, что сидевший за столом в углу длинноволосый парень, успевший до черноты загореть на весеннем солнце, с засученными рукавами сатиновой рубахи домашнего покроя, и есть начинающий писатель-сибиряк, Алексей Силыч тут же направился ко мне и заговорил с тем оживлением, какое показалось

мне несвойственным человеку неспешной походки и осанистой фигуры:

— Ну, давайте знакомиться... — Он назвал себя, крепко пожал мою руку и даже ненадолго задержал в своей, вглядываясь тем временем в мое лицо. — Совсем мальчишка! Сколько вам? А мне показалось, даже меньше двадцати. Впрочем, я догадался, что наш сибирячок совсем молод. По рукописи видно. Да, начали вы рано и времени у вас в запасе еще много. Что, небось измучили вас тут строгие товарищи? Ничего, привыкайте. У писателей путь нелегкий, ухабистый. У вас все еще будет впереди — и разные преграды, и неудачи. Без этого не проживете. Только никогда не вешайте головы!

Я оказался выше Алексея Силыча ростом, что было — подумалось мне — какой-то противоестественной несуразностью. Вначале это серьезно смутило меня, но вскоре, вслушиваясь в рассуждения Алексея Силыча о литературном труде, о литературе, я почувствовал, что с каждой минутой вроде бы убываю в росте, а он, коренастый усач, поднимается надо мною все выше и выше — во всей своей богатырской силище и красоте. Я хорошо знал книги Алексея Силыча, вышедшие к тому времени («Цусима» еще не появлялась в печати), и, как все читатели, считал его одним из больших писателей Советской страны. Да и внешне он, моряк, всегда виделся мне человеком саженного роста. Так что мое давнишнее представление об Алексее Силыче при первой встрече легко взяло верх над реальностью.

— Чем занимаетесь в деревне? — вдруг спросил Алексей Силыч.

— Учительствовал.

— Ну, я так и знал! — воскликнул Алексей Силыч. — Да и кто еще в деревне мог написать такую повесть? Грамотных людей там пока мало. Скажу прямо — вы хорошо знаете деревню, знаете мужиков, народный язык...

Он начал подробно говорить об отдельных эпизодах повести, о разных героях, изображенных в ней, о диалоге, о пейзаже.

— У нас тут, в издательстве, многие читали вашу повесть, — пояснил Алексей Силыч и назвал имена нескольких писателей. — И читали с большим интересом: книг-то о современной деревне еще очень мало. Жаль только, что задержалось издание повести. Очень жаль. Ведь она могла появиться раньше некоторых других книг о коллективизации, а это очень важно в писательском деле. Со временем узнаете! Теперь же волей-неволей, а придется делать в ней кое-какие поправки, а то еще обвинят в плагиате.

— Все уже сделано, Алексей Силыч.

— Знаете, — выслушав меня, продолжал Алексей Силыч, — у нас тут недавно опять разговор был о вашей повести. Раз уж издание задержалось, надо бы вставить одну сценку — описать сельский сход.

— А вот она, Алексей Силыч, — сказала заведующая редакцией, поднимаясь и протягивая ему мои листы.

— Ну-ка, ну-ка...

Он сел за стол заведующей редакцией и, слегка нахмурясь, сосредоточась, стал читать.

Для меня потянулись томительные минуты. Несколько раз я быстро, с опаской взглядывал на Алексея Силыча, стараясь понять, какое впечатление производит на него описанная мною сельская сходка. Мне казалось, он читает почему-то слишком медленно, становится все серьезнее и задумчивее, все сильнее хмурит брови. Меня слегка зазнобило. Шутка ли, на моих глазах известный писатель читает только что написанную мною сцену из жизни деревни. Что будет? Почему он хмурится? Вот сейчас как окатит холодной колодезной водой!

Закончив чтение, Алексей Силыч не спеша перебрал все листы, затем обратился к заведующей редакцией с некоторой недоверчивостью:

— Когда же успел?

— А вот сейчас!

— Здесь? Хм... — И только после этого, взглянув на меня, поднялся и заговорил опять оживленно: — А ведь хорошо, очень хорошо вышло! Живая сцена! Это как раз то, что надо было дописать для усиления социального накала в повести. Теперь обнажилась вся классовая борьба. Поздравляю. Массовые сцены писать очень трудно, по себе знаю.

Тут начался общий разговор на литературные темы, какие всегда случаются в редакциях. Все, о чем говорилось, мне было чрезвычайно интересно, но я чувствовал себя неловко — вроде подслушиваю. Я засобирался уйти, но Алексей Силыч вдруг остановил:

— Обождите, вместе пойдем.

Мы долго гуляли по тихим тогда улицам у Красной площади, потом спустились в Александровский сад.

— Я ведь бывал на Алтае во время гражданской войны, — сказал мне Алексей Силыч. — Немного, но сибиряков знаю. У вас они в повести — живые люди. Как сейчас живет деревня? Чем дышит?

Мне пришлось подробно рассказать о том, как постепенно налаживается жизнь в деревне. Алексей Силыч задавал самые неожиданные вопросы. Меня даже удивило, что «морской» писа-

тель так глубоко интересуется всем, что происходит на «суше», всей новью сибирской души.

— Да, знаете вы деревню, — выслушав меня, еще раз заключил Алексей Силыч. — Вот и вышла у вас книга. Давно пишете?

— Года четыре.

Он посмеялся, покачал головой.

— Печатались?

— Были небольшие рассказы в газетах.

— Значит, первая книга? Как вы задумали ее написать? Что подтолкнуло?

Я ответил, что события года великого перелома произвели на меня неизгладимое впечатление и мне сразу же захотелось рассказать о них в повести. Но взяться за нее решился лишь после того, как три года назад побывал на Всероссийском съезде крестьянских писателей и послушал Горького.

— Вон что! И здесь Горький! — воскликнул Алексей Силыч. — Ну, вам здорово повезло! Перед такой трудной дорогой, какая перед вами, да послушать Горького, это все равно, что запастись на всю дорогу хлебом. Расскажите-ка...

Выслушав мой рассказ о встрече и беседе Горького с крестьянскими писателями в начале лета 1929 года, Алексей Силыч неожиданно предложил:

— Вот выйдет книга — пошлите ее Горькому. Он любит молодых.

— Страшно, — признался я откровенно.

— Это хорошо, что робеете перед ним. А все же пошлите...

И продолжал выведывать с явной заинтересованностью и доброжелательностью:

— Какие у вас сейчас планы?

Услышав о моем намерении поступить в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, где проводился весенний набор, Алексей Силыч поразился:

— Вот те на! Агрономом захотели быть? Да зачем вам это? Какая-то блажь.

Я смутился и ответил как пришлось:

— Все же высшее образование...

— У меня вот низшее, да пишу, — возразил Алексей Силыч. — И говорят, неплохо. А у Горького какое? Нет, молодой человек, не дело задумали! Потратьте-ка лучше пять лет на литературное самообразование. Вы должны стать не агрономом, а писателем. И никуда вы теперь не денетесь — станете! Хотя для этого вам надо поднакопить побольше знаний. Выйдет у вас книга — это для начала очень хорошо. Но помните, что это

только начало. Чтобы писать дальше, нужно многое знать. Составьте-ка свою пятилетку самообразования — и выполняйте ее строго, пока не выполните!

И тут же, увлеченный своей мыслью, Алексей Силыч стал советовать, что должно быть включено в мою «пятилетку самообразования» из общественных и исторических наук, из теории и истории литературы. Он настойчиво рекомендовал заново перечитать всех классиков, причем с карандашом в руках, и постараться понять особенности их творческой работы — как они строили композицию своих произведений и диалог, какие использовали детали для изображения своих героев, их внутреннего мира.

— Включите в свой план только то, что непременно нужно знать писателю, — наказал Алексей Силыч. — Ничего лишнего! Зачем вам, скажем, знать химию? Вам другая химия нужна — химия творчества. Вы ведь только что вспоминали о речи Горького...

Да, конечно, в речи Горького, слышанной мною три года назад, очень сильно прозвучал призыв к писателям, особенно молодым — учиться и учиться, чтобы в совершенстве овладеть своим делом и стать достойными своего высокого звания. Я никогда не забывал этого напутствия, но, рано обзаведясь семьей, часто переезжая с места на место, не мог выполнять его с тем усердием, какого оно заслуживало. И вот Алексей Силыч подсказал, как можно в моем затруднительном положении самостоятельно набраться ума-разума для литературной работы.

В издательстве я бывал каждый день. С моей повестью вышла еще одна заминка: кому-то не понравилось ее название — «Наследство». И не потому, пожалуй, что оно не отвечало основной мысли повести. От него будто бы веяло какой-то стариной. (Как известно, в те далекие годы из печати изгонялись многие даже великие и дорогие нашим сердцам слова.) Но писателям хорошо известно, как иной раз бывает трудно дать название своей книге.

Я просидел в издательстве часа два в поисках нового названия и, так и не найдя его, в расстройстве скомкал исписанные листы, бросил их в редакционную корзину и пообещал подумать дома. Но и дома мои поиски оказались безуспешными, о чем мне с большим огорчением и пришлось сообщить по телефону в издательство.

— А вы не огорчайтесь, — успокоила меня заведующая редакцией. — Вы название уже придумали. Очень жаль, что вы быстро ушли. Вскоре к нам зашел Алексей Силыч, и мы ему все рассказали. А он, знаете ли, вытащил из корзины ваши ском-

канные листы и там нашел название «Гремящий год». Согласны? Соглашайтесь!

Мне не очень-то понравилось это название, но все же оно, конечно, было подходящим для повести о годе великого перелома.

— Ну, вот и окрещена ваша книга, — с облегчением сказала заведующая редакцией. — Благодарите Алексея Силыча. Обложку заказываем художнику Милашевскому. Хороший художник! И оформит книгу быстро.

...После нескольких дней раздумья я послушался Алексея Силыча и отказался поступать в академию: решение стать агрономом, конечно же, было у меня случайным, навеянным скорее всего неудовлетворенностью своей учительской деятельностью. Что и говорить, в глубине души я давно уже хотел стать только писателем, но не всегда был уверен в своих возможностях, а встреча с Алексеем Силычем, его ободряющие слова укрепили мою уверенность и мои душевные силы.

Узнав о моем решении, Алексей Силыч поинтересовался:

— Какие же теперь у вас планы?

Я весь вспыхнул, но признался:

— Хочется остаться в Москве.

— Одобряю, — без всякой заминки, чего я никак не ожидал, сказал Алексей Силыч. — Запас деревенских наблюдений у вас порядочный. Теперь можете пожить и в городе. Тем более что здесь и возможностей для самообразования куда больше, чем в деревне. Да и среди писателей вам надо побыть. А где будете работать?

— Вероятно, в «Совхозной газете».

— Тоже одобряю. Жить в Москве, а ездить по всей стране — это для вас очень хорошо. Шире станет кругозор.

После этого Алексей Силыч при каждой новой встрече спрашивал, как продвигаются мои поиски жилья в Москве. Однако найти его в столице было очень и очень трудно: у меня всюду оказывалось много конкурентов, да еще с туго набитыми кошельками, — они могли оплатить жилье хоть за два года вперед. Мои неудачи огорчили Алексея Силыча, и однажды он опять сказал мне:

— Вот выйдет книга, пошлите ее Горькому. Он поможет вам устроиться в Москве.

Но тут я остался несговорчивым:

— Я не осмелюсь, Алексей Силыч.

— Жаль. Он любит помогать молодым.

Я знаю, что многие читатели недоверчиво относятся к воспоминаниям о встречах со знаменитыми людьми. И не зря! Бы-

вает, задним-то числом иной и присочинит кое-что... Только это и заставляет меня привести здесь некоторые строки из своего письма от 12 мая 1932 года брату Фаддею. Какой-никакой, а это все же документ, появившийся под свежим впечатлением, вроде записи в дневнике. Рассказав брату о всей печальной истории с изданием книги, я писал: «Но что меня все эти дни радует, так это отзыв Новикова-Прибоя о моей книге. Он меня затормошил, наговорил столько комплиментов и предсказаний о моей будущей деятельности — ужас! Очень удивлялся, что не напечатал книгу в толстом журнале. И сказал, что она на него произвела громадное впечатление. И еще сказал, что передает не только свое мнение, а целой группы: Никифорова, Перегудова, Низового... Все они читали мою книгу, и у всех одно мнение... Это, знаешь ли, самое большое вознаграждение за мои труды. Новиков-Прибой очень жалел, что я никак не «прицеплюсь» в Москве... Очень мягкий, простой человек...»

Кстати, в моих письмах брату рассказывается о нескольких встречах с Алексеем Силычем, о разных его советах, в том числе и о совете послать книгу Горькому.

Прижиться в Москве мне так и не удалось — не хватило выдержки. В один из первых июльских дней я последний раз побывал в издательстве, посмотрел рисунки Милашевского к своей повести — она уже вновь была сдана в производство. К сожалению, на прощание мне не удалось повидаться с Алексеем Силычем: его, кажется, не было в Москве.

Повесть «Гремящий год» вышла в конце лета 1932 года. К моему удивлению, она не осталась незамеченной в большом потоке литературы. В печати о ней появились отзывы, в которых, как водится, содержались и положительные оценки, и высказывалось немало справедливых критических замечаний. В особо доброжелательной рецензии Г. Пушкарева, например, напечатанной в журнале «Сибирские огни», говорилось: «У Бубеннова много свежих образов, большое знание деревни, быта, психологии героев. Несмотря на ряд больших срывов, упущений, Бубеннов во многом (но не во всем) художественно убеждает читателя, заставляет верить себе, а это уже значительное достижение писателя, тем более молодого».

...Повесть «Гремящий год», хотя и была написана без достаточного опыта и широкого взгляда на жизнь, все же сделала свое дело, окончательно утвердив меня в дерзкой мысли посвятить себя литературному труду, и тем она мне дорога. И еще дорога тем, что в годы молодости свела меня с прекрасным писателем и человеком Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем. Его отеческие, задушевные беседы со мною были для меня тем

откровением, какое помогает разглядеть многое, что ожидает тебя впереди, и той большой мудростью, без какой, может быть, и не состоялась бы моя литературная судьба. И здесь хочется сказать, что моя сердечная признательность Алексею Силычу за все доброе, что он сделал для меня, не только выдержала испытания временем, но с годами стала еще глубже и проникновеннее, — под старость с особой чувствительностью познаешь добро.

III

За полтора года, пока издавалась моя первая книга в Москве, воды утекло много. Развитие моих литературных взглядов и вкусов шло своим чередом, и, вероятно, довольно быстро, как это обычно бывает в молодости. С целью контроля за своей памятью я перечитал десятки своих писем брату Фаддею; он передал их мне в копиях, по какому-то своему наитию, вскоре после войны. С братом я переписывался всегда предельно искренне, и поэтому мои письма являются своеобразными чистосердечными отчетами перед ним или даже страницами моего дневника того времени. Я не считаю большим грехом, рассказывая о далеких годах, ради установления истины приводить иногда выдержки из своих писем. Ведь это лучшее доказательство того, что я не сочиняю сейчас свою литературную биографию, а стараюсь описать ее такой, какой она сложилась сама собой.

Прежде всего, что такое первая книга в жизни молодого человека, который стремится стать писателем? В личном плане она имеет иногда большое значение, заставляя автора пережить незабываемые минуты радости, которые, быть может, явятся внутренним толчком для дальнейшего творческого роста. В общественном же плане она чаще всего еще ничего не значит. Читая ее, никогда не осмелишься сказать, что на свет появился новый писатель, со своей особой судьбой в литературе. Писателем чаще всего становятся лишь после второй, а то и третьей книги. Автор одной книги — всего лишь одаренный человек, как говорится, подающий надежды.

Мне еще в молодости была известна эта суровая и непреложная истина. В мае 1931 года, через полтора месяца после того, как рукопись первой повести была отослана в издательство, я писал брату: «Сейчас мне хорошую книгу не написать. Чувствую, что есть способность кое-что выхватить из жизни, но только кое-что...» А в январе 1932 года, до поездки в Москву, где готовилось издание повести, писал ему же: «Знаю, что моя

книга затеряется в большой книжной макулатуре. Плоха она». А вот что в письме из Москвы: «Я ни одного плохого отзыва о книге не слышал, а, наоборот, все прямо восторженные. Я только удивляюсь, тем более что сам считаю ее слабой». Наконец, получив и прочитав свою первую книгу, я вскоре взялся было готовить новую редакцию повести, с внезапно появившейся тайной мыслью о ее переиздании в улучшенном виде, но вскоре почувствовал, что мне хочется не только внести поправки, переделать некоторые сцены или вписать новые, но вообще всю ее переписать заново. Тогда я еще не знал, что этому надо было только радоваться, и в большом смущении навсегда покончил со своей неразумной затеей.

Совершенно очевидно, что к тому времени, когда вышла моя первая книга, мной владели уже новые, более высокие требования к своей работе. И время и обстоятельства, в каких я оказался весной 1932 года, работали на меня, а я, пусть отчасти и безотчетно, но воспользовался этим с немалой для себя пользой. Одни встречи с А. С. Новиковым-Прибоем не только поддержали меня в моих литературных начинаниях, но и помогли понять многое, без чего нельзя продолжать их успешно. Не прошло даром и общение со многими другими писателями, с которыми я ежедневно встречался в «Доме Герцена» на Тверском бульваре. Но, пожалуй, самое главное: тогда только что было опубликовано прогремевшее, как гром в горах, постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литературных организаций, положившее начало новому этапу в развитии советской литературы. «Знал бы ты, как его встретили писатели!» — с восторгом сообщал я брату. Знаменательное, воистину историческое постановление вызвало огромное оживление в литературных кругах, горячие разговоры о будущем литературы, переоценку всего, что было сделано в ней до той поры. Все это и для меня не прошло бесследно. Я тоже с радостью воспринял новые веяния в литературе и с решительностью, свойственной молодости, начал уточнять свои взгляды. «Давай, брат, подальше от штампа, — советовал я брату, который тоже пробовал свои силы в литературе. — Надо совсем отбросить формулу, как правило, вводимую в произведение: бедняк — середняк — кулак. Безусловно, бедняк — тверд, середняк — качается. Безусловно, кулак вредит. Все это старо. Ты знаешь, что в жизни это не так просто. Покажи их, но не кричи, не выпячивай, а дай человека».

...Да, я совсем недолго радовался своей первой книге и, конечно, не кичился ею. В селе Рыбная Слобода, где я поселился в тот год, почти никто и не знал, что у меня вышла книга в Москве. Я очень счастлив, что, несмотря на молодость, без ма-

лейшего головокружения пережил опаснейшее событие — выход в свет первой книги. Для начинающего автора очень важно не ошибиться в самооценке своего первенца. Любуйся им, коль охота, да не теряй головы!

Не менее важен вопрос и о второй книге.

Не всегда, конечно, так бывает, но чаще всего первое произведение пишется почти исключительно на основе своих личных впечатлений. Для дальнейшей работы у молодого автора, имеющего скромный жизненный опыт, их уже не хватает. Приходится в помощь памяти гораздо чаще, чем прежде, подключать творческое воображение. Это и есть начало профессиональной литературной работы. По тому, какие способности покажет пишущий в овладении элементами профессионализма, можно сказать что-то более определенное о его будущей литературной судьбе. Случается, что пишущий даже широко прославится со своей первой книгой. Но это, повторяю, ничего не значит. Писателем он станет только тогда, когда научится, умело вычерпывая из кладовой своей памяти все, что есть в ней интересного, давать полную волю своему воображению, поверит в то, что с его помощью способен создать правдивые, реалистические картины жизни народа, его истории.

Перед второй книгой обычно случаются заминки. Была она и у меня, хотя, правда, не продолжительная и не мучительная. О чем я мог тогда писать? Да опять же о деревне! Значит, нечто вроде продолжения «Гремящего года»? Но я еще не смирился с тем, что творилось в Сетовке и по всей Сибири. Признаюсь, это отпугнуло меня от темы колхозной деревни. Я понимал, что мне не удастся поведать подлинную горькую правду, а ограничиваться полуправдой считал недостойным делом.

Размышляя о событиях в деревне, я как-то невольно оглянулся на свое совсем еще недалекое детство и увидел сибирских партизан, создающих коммуну «Новый мир» на берегу озера Молоково. Мне припомнилась прежде всего нравственная сторона всех событий, связанных с созданием коммуны. В нее никого не загоняли силой. Бедняки шли в коммуну по доброй воле, шли с великой верой, что именно в ней найдут свое счастье. Не зная, как строить коллективную жизнь, они между тем строили ее с необычайным вдохновением, с горячей, пусть и несколько наивной мечтой о светлом будущем, до которого — казалось — можно дотянуться рукой. И я решил, что сейчас, когда началась грандиозная перестройка сельского хозяйства, следует напомнить о том, в какой атмосфере появились первые ростки коллективизма в сибирской деревне, на какой почве они взошли, что являлось для них живительной средой. Все это для того,

чтобы заставить иных поглубже задуматься над поисками более разумных, более человечных путей переделки извечных устоев и быта.

В новой повести, как видно из сказанного, закладывался некий полемический заряд. И хотя я решил, следуя правде истории, показать падение коммуны, весь ее пафос заключался в показе той удивительной атмосферы, в какой зарождалось великое дело.

Жилось мне тогда, при небольшом заработке, бедно, скудно. Но хуже того — часто не было керосина, не хватало даже плохой бумаги. А у меня уже тогда выработалась сохранившаяся в течение всей жизни привычка переписывать рукопись от руки не менее трех раз, а уж потом на машинке. Кстати, только когда пишешь от руки, только тогда, по моему глубокому убеждению, чувствуешь, как идет у тебя слово за словом, как из них, подчиняясь определенному ритму, складываются фразы, как отдельные слова и фразы, появляясь на бумаге перед твоим взором, влияют на развитие, на бег твоих мыслей. Когда водишь пером (желательно — хорошим пером!) по чистому листу бумаги (желательно — хорошей бумаги!), у тебя устанавливаются особые, можно сказать, интимнейшие отношения со своей рукописью. Таинственное физическое соприкосновение с бумагой — с помощью пера — вызывает творческое волнение и дает толчки воображению. Работая пером, удобнее делать и немедленные поправки, почти не прерывая течение письма.

Я был доволен своей второй повестью. Впрочем, это бывает почти всегда, когда закончишь новое произведение: естественное облегчение вызывает и безотчетное удовлетворение своим трудом. Но, как правило, ненадолго. Уже зная это, я писал брату о новой повести: «Возможно, она мне будет нравиться больше года».

Повесть о сибирской коммуне не увидела света. По совету А. С. Новикова-Прибоя я послал ее в издательство «Московское товарищество писателей», где она вскоре и была принята к изданию. Однако перестройка литературных организаций повлекла за собой и перестройку издательского дела. Издательство «Московское товарищество писателей» прекратило свое существование, и моя рукопись исчезла в какой-нибудь бумажной свалке. Так довольно быстро сбылось одно из предсказаний Алексея Силыча, что впереди у меня еще будут всякие неудачи.

Я довольно быстро и легко смирился с пропажей рукописи, а со временем почти полностью позабыл содержание повести. Стало быть, очень хорошо, что ей не суждено было появиться на свет!

IV

Но ничто в писательской работе не проходит бесследно. Описывая бывших сибирских партизан, создавших коммуну, я невольно предавался воспоминаниям о днях гражданской войны в Сибири. Эти воспоминания подогревались моей тоской о родном крае.

Считаю, что писателю, особенно молодому, вредно отрываться от родной почвы. Какой ни есть он, отчий край, все равно он обогащает писателя гораздо больше, чем чужие места. Счастлив тот писатель, какой никогда не расстается со своей маленькой родиной надолго, а если и расстается по нужде, то не теряет с нею духовной связи. Счастлив тот, кому удается хотя бы время от времени посещать родные места, постоянно наблюдать за теми переменами, какие там происходят, за жизнью своих односеленцев и сородичей, знать все их помыслы, радости, успехи и неудачи. Такая связь лучше, чем что-либо другое, дает писателю возможность познать жизнь всего родного народа, услышать сердцебиение большой Родины.

Думаю, что именно тоска по Сибири и породила у меня тогда мечту описать историю гражданской войны на ее просторах, историю борьбы с белогвардейщиной. Вполне вероятно также, что сказалось и влияние «Тихого Дона», который был у меня настольной книгой. Кто тогда из молодых писателей, потрясенных шолоховской эпопеей, не пытался писать свою эпопею о гражданской войне в родных местах? Им несть числа.

Мечта о большом сибирском романе не покидала меня до самого начала Великой Отечественной войны. Долгие годы были затрачены на добывание и изучение исторических материалов, на раздумья и овладение сложной темой.

Но я никогда не забывал и о советах А. М. Горького. Да и как их было забыть? С переездом Алексея Максимовича в Москву литературное движение в стране стало бить ключом, повышались требования к мастерам художественного слова. В газетах стали появляться статьи с острыми критическими замечаниями о творчестве именитых писателей, которых раньше не было принято задевать в печати. Появился журнал «Литературная учеба». Создавался Литературный институт. Все, все указывало на то, что, если хочешь заниматься литературой, надо учиться и учиться, надо как бы начинать все сначала, но на более высокой основе. Поехать в Москву, в Литературный институт, я не мог по семейным обстоятельствам. Оставалось заниматься самообразованием, как советовал А. С. Новиков-Прибой.

Еще в Москве я разработал план самообразования, рассчи-

танный на несколько лет. Из Москвы привез довольно много разных учебников, пособий, справочников и книг. Но привезенного оказалось, конечно, недостаточно. На последние гроши начал выписывать необходимые книги и журналы. Хорошо, что вся классика оказалась в районной библиотеке, собранной из частных библиотек в годы революции. Обнаружил я в Рыбной Слободе и целый склад еще не разобранной литературы. Здорово наглотался я на том складе пыли, но зато в моих руках оказался Словарь Даля и много нужнейших книг, в том числе о гражданской войне в Сибири.

Все мои дни были заняты службой, которая давала ничтожный заработок, добыванием хлеба и необходимой снеди, заготовкой дров и стоянием в разных очередях, а вот ночи — ночи напролет просиживал над книгами, да еще при маленькой лампешке, а то и при коптилке. Пришлось отказаться от многих развлечений, хотя молодость и звала в люди. Каждая свободная минута отдавалась овладению теми знаниями, без каких невозможно преуспеть на литературном поприще, и поискам полезного для будущего заветного труда. Зимой никому из родных не удавалось уговорить меня делать хотя бы маленькие передышки. После многомесячных ночных сидений весной меня шатало, как говорится, без ветра.

Кроме изучения разных наук, я много времени затрачивал на чтение художественной литературы, главным образом русской классической. Причем читал я ее не как прежде, забывая обо всем на свете, а с карандашом в руках, делая для памяти самые различные заметки. С особенным вниманием следил за логикой развития характеров героев, за тем, как русские писатели, явно избегая длинных, утомительных описаний, стараются раскрыть образы своих героев через их поступки и в зависимости от этого с необычайной естественностью и жизненностью строят свои произведения. Вначале меня больше всего интересовала композиция небольших, немноголюдных романов Тургенева. Записывая содержание его романов, главу за главой, я вдумывался в то, почему у него возникали те или иные ситуации при развертывании конфликта, и как одна ситуация неизбежно порождала другую, и какие это вызывало иногда внезапные, но неизбежные, закономерные повороты в судьбах описываемых людей, и что в конечном счете ломало или возвышало их жизни. Эти записи помогали мне понять, как Тургенев, желая выразить свои определенные мысли, взгляды, задумав создать определенные образы, очень экономно, расчетливо, не расплываясь по древу, придавал своим романам изящные литературные формы. Со временем дело дошло и до изучения сложных, многоплановых ро-

манов Л. Н. Толстого. Я был поражен его редчайшей своеобычностью в построении своих величайших творений, что не всегда замечается при быстром чтении.

Не знаю, насколько разумен был этот мой опыт литературного самообразования, но я всегда чувствовал, что он не прошел для меня даром.

Читая разные произведения — и классические и современные, — я также выписывал из них на небольшие листки чем-то понравившиеся мне места, отдельные фразы и те слова, какие я не знал или употреблял редко. С целью выискивания таких слов читал (именно читал!) разные словари, прежде всего Словарь Даля и разные энциклопедии. Постепенно у меня создавался свой, необычный «словарь» слов, каких я прежде не знал или какие еще не твердо закрепились в моей памяти. Время от времени я просматривал его, постепенно пополняя свои словарные запасы. По себе знаю, что при такой длительной, настойчивой практике можно многое почерпнуть из сокровищницы русского языка.

В своей учебе я не пользовался никакой консультацией и, возможно, допускал какие-то ошибки и просчеты. Скажем, однажды у меня мелькнула такая мысль: а не попробовать ли переписать от руки один из шедевров русской литературы? Конечно, не для того, чтобы потом подражать автору в его манере письма. Нет, я так рассуждал: авось мне станет понятнее, как у великого классика, следуя за его мыслью, слагались фраза за фразой, создававшие определенный ритм романа, почему у него появлялись те или иные слова, при каком условии он переходил от описания к диалогу или пейзажу, то есть как строил композицию каждой отдельной сцены. И я начал медленно, очень медленно переписывать одно из совершеннейших творений отечественной литературы. Я вдумывался в каждую фразу, стараясь хотя бы в какой-то незначительной степени, хотя бы отдаленно почувствовать, почему именно она, а не какая-либо другая появилась в рукописи автора. Мне показалось, что, переписывая роман, я гораздо лучше, чем даже при замедленном чтении, чувствую, почему в одном месте автор делает диалог очень пространным, а в другом кратким до предела, в одном месте пейзажу отводит чуть ли не целую страницу, а в другом всего две или три строки, где и при каком условии пользуется внутренним монологом, и опять-таки то необычайно многословным, то, наоборот, сдержанным.

Острословы могут, конечно, посмеяться над таким моим занятием в молодости как над бесполезной причудой. Я сам не очень-то уверен в его большой пользе. Однако уже после войны

я с удивлением узнал, что еще два писателя в молодые годы с той же целью, что была и у меня, тоже «чудили», переписывая от руки классические романы! Совсем же недавно мне стало известно, что Леонид Леонов как-то обмолвился, что «начинающему прозаику совсем не худо переписать от руки «Капитанскую дочку», а Алексей Югов, готовясь к работе над историческим романом, переписал от руки сотни страниц Галицко-Волынской летописи...

V

Четыре года я усиленно занимался литературным самообразованием. Но это не значит, что у меня случился тогда длительный перерыв в литературной практике. (Перерывы в творческой работе, даже небольшие, очень вредны!) Дело в том, что с осени 1933 года я стал газетчиком. Сначала около года работал в политотдельской газете МТС (в Рыбной Слободе на Каме), затем в республиканской газете «Красная Татария» (Казань).

Для начинающего писателя работа в газете весьма полезна. Писатель не должен гнушаться никакой мелкой газетной работой — она окупится сторицей. Она учит искать нужное слово, учит писать экономно, выразительно. Начинающий писатель в газете, как говорится, набивает руку. Он должен пройти весь путь газетчика — от писания мелких заметок до очерков на различные темы.

Я прошел этот путь. Писал все, что требовалось газете, всегда серьезно, дотошно изучая то, о чем хотел поведать читателю. В поисках материалов исколесил всю Татарию, встречался со многими интересными людьми — известными летчиками, первыми Героями Советского Союза, участниками автопробега Москва — Каракумы, учеными, писателями, художниками, спортсменами, партийными и советскими деятелями, хозяйственными работниками, строителями, геологами. Всех не перечесть! Часто выезжал в Москву — то на открытие сельскохозяйственной выставки или пуск метро, то с экскурсией колхозников на канал имени Москвы, то на первую сессию Верховного Совета первого созыва...

Работа в газете расширила мой кругозор, усилила зоркость взгляда, научила быстро ориентироваться в бурном потоке общественной жизни, быстро замечать в ней наиболее интересные, значительные явления, научила общению с людьми, умению по малейшим признакам распознавать их характеры. Эта кипучая, нелегкая работа стала и отличнейшей школой, позволившей мне

окончательно выработать свой стиль и утвердиться в своих взглядах и пристрастиях. Наконец, работа в газете приучила избегать водолейства, самого большого зла в нашей литературе.

Однако при всей очевидной пользе, какую дает работа в газете, я довольно быстро начал тяготиться ею: она не оставляла времени для заветного дела, которое все настойчивее звало меня к себе.

С начала 1937 года я вновь активно занялся литературной работой. К этому времени я был, конечно, уже не тем зеленым юнцом, который когда-то написал повесть о годе великого перелома в сибирской деревне. За четыре года я значительно пополнил запасы своих знаний и всевозможных жизненных наблюдений. А в результате серьезного изучения истории гражданской войны в Сибири и Поволжье у меня скопилось столько интереснейших материалов, что их уже невозможно было держать под спудом. Да и чувствовал, что могу сделать новый, более твердый шаг в литературе, что его пора сделать, иначе будет поздно.

Немало времени потратил я тогда на обдумывание своего сибирского романа. Постепенно складывались планы отдельных его частей, появлялись в воображении многочисленные герои, имевшие уже свои имена. Замысел то воодушевлял меня, то — чаще всего — своими масштабами приводил в уныние. Понимая, что мне не объять необъятное, я всячески старался ограничить свой замысел, сделать его более локальным, взять главное, характерное для того времени, какое собирался описать в будущей книге. Наброски плана задуманного романа занимали около восьмидесяти страниц на машинке; отдельно были написаны характеристики основных героев и их портреты.

Сделал я тогда и некоторые наброски для романа: одну главу — о контрреволюционном сборище в Томске, где тайно создавалось «Сибирское правительство», несколько глав — о приезде Колчака из Японии во Владивосток, о его встрече с Гайдой, захвате им власти в Омске, а потом — о поездке на фронт. Более ста страниц было написано о жизни деревни в предгорьях Алтая весной восемнадцатого года, о падении там Советской власти после белогвардейского мятежа.

Но как ни успешно шла подготовка к созданию большого исторического полотна о Сибири, я чувствовал, что она далеко еще не закончена. Между тем мне уже не терпелось сделать новый шаг. И тогда я решил, что те материалы, какие определенно не будут использованы в основной работе, надо использовать для

создания небольших произведений. Кстати, это могло быть и хорошей тренировкой перед большой дорогой.

Прежде всего я решил написать повесть «Бессмертие», в которой на основе подлинных событий рассказать о том, как летом восемнадцатого года белогвардейцы уничтожали первых строителей Советской власти на «барже смерти», ходившей по Каме. Однако небольшая повесть складывалась чрезвычайно медленно: я переделывал ее не однажды, добиваясь наибольшей правдивости и выразительности в описании одной из трагедий гражданской войны. Но любая переделка, как известно, требует определенного времени на обдумывание каких-то новых ситуацией, новых ходов в развитии сюжета. Тут неизбежны и паузы. Эти паузы я заполнял работой над рассказами, главным образом тоже о гражданской войне.

В то время я писал брату Фаддею: «Так вот, после длительного перерыва в литературной работе, эти две повести («Бессмертие» и «Чужая земля») — учеба, и учеба, кажется, неплохая. Это для меня своеобразные курсы по подготовке в вуз литературы... Теперь, брат, стараюсь держать экзамен! Надо торопиться — годы уходят! И хотя не существует возрастных ограничений при приеме в вуз литературы, но как-то неудобно будет являться туда с седенькой бородкой... Где-где, а уж на литературном поприще я буду настойчиво биться до тех пор, пока не напишу хорошую книгу. Мне, брат, многого не надо. Смею тебя уверить, что я бы удовлетворился одной хорошей книгой».

Писать приходилось только ночами, после того как выдохнешься на работе в редакции. Обстановка в конце 30-х годов, надо сказать, была весьма неблагоприятной для творчества. За два месяца, пока я временно исполнял обязанности ответственного секретаря редакции, у нас сменилось пять редакторов! Приходилось постоянно жить в необычайном напряжении. Как и все, я не был в состоянии понять, что происходит вокруг; многое невольно вызывало внутренний протест. И все же надо было, как говорил А. Фадеев, «жить и исполнять свои обязанности». Эту последнюю фразу из «Разгрома» я написал на отдельном листке и вывесил над своим домашним письменным столом...

Некоторые мои друзья считали, что я, увлекаясь темой гражданской войны, сознательно ухожу от современности. Но они ошибались. Я был уверен, что поступаю правильно. Меня не смущало и то, что о гражданской войне было написано уже немало талантливых произведений. Как известно, в те годы то в одном, то в другом месте полыхали военные пожары, в воз-

духе чувствовалось обжигающее дыхание приближающейся большой войны. Ясно, что она была неизбежной, что она вот-вот разразится и на границах нашей страны. О чем же прежде всего надо было писать в те дни? Да, конечно же, о том, как еще на заре Советской власти наши люди, голодные, оборванные, плохо вооруженные, защищали ее от разномастных вражеских полчищ и, если требовалось, жертвовали ради нее своей жизнью. О том, что Советская власть, едва появившись на свет, пробудила у наших людей патриотизм особого рода, гораздо выше и ярче того, каким они уже давно прославились во всем мире, когда приходилось с оружием в руках защищать свое Отечество. В природе патриотизма наших людей после победы Великой Октябрьской социалистической революции, несомненно, появилось много нового. На что способны люди, исповедующие идеи социализма, щедро одаренные благами свободного общества, широко открывшие глаза в светлые дали будущего? Это и было, по моему тогдашнему разумению, главной и самой злободневной темой для советской литературы.

В апреле 1940 года состоялась наша последняя встреча с А. С. Новиковым-Прибоем. Я приехал в Москву на расширенный пленум правления Союза писателей СССР, посвященный памяти В. В. Маяковского. В дни пленума состоялась закладка памятника поэту-трибуну революции.

Встретив меня, Алексей Силыч спросил с некоторым упреком:

— Что-то о вас ни слуху ни духу?

— Выполняю свою пятилетку!

— А-а! — Он сразу же вспомнил, как советовал потратить пять лет на самообразование. — Ну и как? Выполнили? Теперь-то пишете? Хотя, раз приехали на пленум, значит, не забросили...

После закладки памятника мы шли по улице Горького к центру столицы, и Алексей Силыч с живейшим интересом расспрашивал о том, что мне удалось написать в последнее время, когда я вновь занялся литературной работой, и о моих творческих планах на будущее. Узнав, что меня увлекла тема гражданской войны, Алексей Силыч с раздумьем заметил:

— Это сейчас горячая тема. Надо побольше писать о том, как наши люди могут сражаться за Советскую власть. Ведь в воздухе пахнет войной.

...Раз уж пришлось упомянуть о поездке в Москву на закладку памятника В. В. Маяковскому, надо рассказать и о том, как я оказался членом Союза писателей СССР. Когда в печати по-

явились, один за другим, несколько моих рассказов и главы из повести «Бессмертие», татарские писатели, не дожидаясь выхода в свет моих книжек, в марте 1939 года приняли меня в члены Союза писателей СССР. Осенью меня освободили от работы в газете, назначили руководителем русской секции Союза писателей Татарии и одновременно редактором русского альманаха. Более года, кажется, мне посчастливилось работать как члену правления Союза рука об руку с Мусой Джалилем, возглавляющим Союз писателей Татарии; о нем я храню самые светлые воспоминания как о незаурядном поэте, человеке высокой интеллигентности и большой культуры.

Судьба моих новых произведений складывалась счастливо, хотя и не без некоторых осложнений. Летом 1940 года наконец-то вышел в Казани небольшой сборничек рассказов «В половодье», а осенью и повесть «Бессмертие». К моим книжкам неожиданно проявили интерес в Национальной комиссии Союза писателей СССР, которую возглавляли тогда П. Скосырев и Н. Чертова. Решено было провести обсуждение повести «Бессмертие», что делалось в те времена нечасто. Обсуждение состоялось в январе 1941 года, на котором моей повести была дана положительная оценка. Все выступавшие писатели рекомендовали ее к переизданию в Москве. Через несколько дней в «Литературной газете» появилась большая рецензия О. Колесниковой «Правдивая повесть». Но вот в «Новом мире» повесть вызвала раздражение и резкие нападки. Рецензент утверждал даже, что Татарское издательство зря затратило бумагу на ее издание. Меня больше всего удивило, что редакция солидного журнала почему-то очень уж быстро откликнулась на выход в свет где-то в провинции небольшой книжечки начинающего писателя — такого за ней прежде не замечалось. Удивил, конечно, и тон весьма примитивной, поверхностной и разносной рецензии, необычной даже для нравов того сурового времени.

Вскоре я получил из издательства «Советский писатель» предложение переиздать не только повесть, но и все мои рассказы. В мае книга была принята к печати. Тогда же по повести была подготовлена литературно-музыкальная композиция и начались передачи по радио.

Но тут и на нашей земле загремела война.

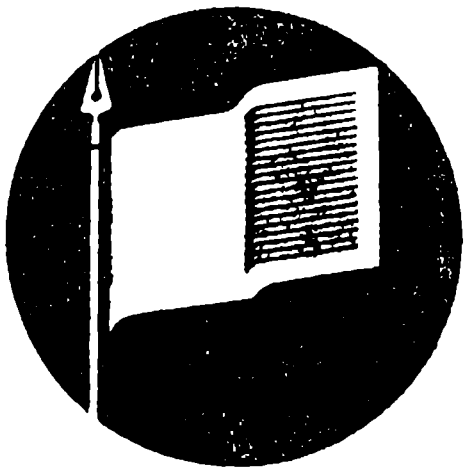
Естественно, все издательские планы были пересмотрены. Вместо сборника в августе вышла лишь повесть «Бессмертие». Весь ее довольно большой для военного времени тираж был направлен главным образом в воинские части, сражавшиеся под

Москвой. Один знакомый солдат-фронтовик рассказывал мне, как ее раздавали в части, формировавшейся на окраине столицы. Он даже сохранил книжку до наших дней. Видел я ее и у одного командира на фронте.

После войны повесть «Бессмертие» переиздавалась много раз, и не только в нашей стране, но и в зарубежных странах. Ее издали даже во Вьетнаме в тяжелые для него дни, что мне особенно приятно. Да и сейчас наши издательства нередко затрачивают на нее бумагу и не считают, что делают это зря...

...Нет, увлекаясь темой гражданской войны, я не уходил от современности. Наоборот, приближался к ней. Да и писал-то я не только ведь о давно отгремевших битвах, но и о недавних боях у озера Хасан. Я одновременно встречался и с солдатами революции, утвердившими на нашей земле Советскую власть, и с их сыновьями, солдатами Красной Армии, которым уже пришлось защищать ее от иноземных захватчиков. И мне было ясно, что в природе советского патриотизма нет ничего случайного, временного. Все, что было порождено в нем революцией, все живо, все действует и получает дальнейшее развитие. Сравнивая подвиги отцов и их сыновей, я легко убеждался, что новое поколение советских людей в моральном отношении отлично подготовлено к грядущей неизбежной войне, что оно способно на любые подвиги во имя своей Родины.

Окончание следует



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Маргарита ЛОМУНОВА

ОТЧИЙ ДОМ

В день празднования двадцатой годовщины Победы по новосибирскому радио Леонид Решетников читал свое стихотворение «Памяти Саши Щукина».

Жгло войной лето 1943 года. Днепр был рядом. Пылала переправа, изрубленная снарядами в щепки. «В сумасшедшей карусели» носились над землей вражеские самолеты...

Два паренька, военкоры армейской газеты, выполняя задание редакции, пробирались в часть. И один погиб — на глазах у другого, в двух шагах от цели...

И остались на пригорке,
За кюветом большака,
Под землей солено-горькой,
Вынутой на два штыка,
Белоснежная улыбка,
Недопетые слова,
Все надежды и ошибки
Жизни, начатой едва...

Леонид Решетников похоронил товарища, на холмик положил фуражку с красной звездочкой, на деревянной дощечке химическим карандашом написал: «Александр Щукин». Больше он о Саше ничего

не знал. В их часть тот пришел недавно. Было только известно, что родом из Сибири.

И вот, едва дочитал стихи, зовут к телефону: родные Саши живут в Новосибирске, просят срочно приехать к его матери...

Л. Решетников рассказывал: «Меня встретила старая седая женщина: «Как долго вы не приходили... Я не знаю, где похоронен мой сын...» Вот почему я до сих пор пишу о войне».

В стихах Л. Решетникова поистине выражена биография поколения, поэтому, рассказывая о других, он говорит и о себе самом.

В предисловии к книге поэта Георгия Суворова, погибшего на фронте, Леонид Решетников писал: «Я не был знаком с ним. Но я знаю его, ибо он из того поколения двадцатилетних, которое в сорок первом лицом к лицу встретило первое свое настоящее испытание на прочность и с честью вышло из него. Один из тех, чья сущность и судьба, без остатка отданные родной земле, составили зримую черту, не затерявшуюся среди множества других штрихов, наметивших прекрасный и трагический облик поколения. А я принадлежу к этому поколению...

Мы до удивления одинаково начинали. Педучилище и комсомол. Учительство и культпросветработа в деревне. Осенью тридцать девятого одновременно сели в красные воинские теплушки и поехали на действительную...

В этой схожести путей и переплетении дорог нет ничего необъяснимого. В тридцатые годы так же, как и сейчас, большинство молодых училось, большинство проходило через комсомол, а в тридцать девятом, в преддверии второй мировой войны, большинство ушло в армию».

Это ощущение судьбы поколения, ответственности перед будущим жило уже в ранних стихах и самого Л. Решетникова, и его сверстников.

В 1939 году даль виделась Леониду Решетникову «к воинской славе дорогой прямой».

Два года службы в Приамурье — исписана стихами целая тетрадь — и вот уже в отпуск собрался, домой, в Уржум! Это было в июне сорок первого. Через несколько дней эшелон мчал его на фронт. За одиннадцать суток — от Благовещенска до Смоленска. На коротких остановках подбегали к машинисту, торопили. А тот, седой, усталый человек, отвечал: «Сынки, я так везу вас, что состав с рельсов может сойти...»

Грохоча и воздух разрывая,
Весь прямой и красный,
как плакат,
Он летел, на стрелках
завывая,
Пятый день с восхода
на закат...
Уж пора б начаться
наступленьям,
Черным дням смениться
светлым дням.
И душа томилась
нетерпеньем,
Полыхала молодым огнем...
И казалось, время перелома —

Вот оно.
Лишь нас недостает.

Эти стихи написаны уже после Победы. И рассказ о первом его бое «в сорок первом, под Смоленском, в артдивизионе Н-ском...», когда первая малая — всего верст на десять погнали врага — победа вдруг показалась концом войны... Через годы оценил он грубоватую заботу госпитальной сестры тети Нюши, возвращавшей на короткие минутки им, мальчишкам, материнскую ласку и «мир на развороченной земле...». По прошествии лет многое увиделось по-другому. Что в те дни казалось мелочью, ныне вдруг обретало иной смысл. В обыденных деталях военного быта ярче, полнее раскрывался характер советского человека. И теплые строки о повседневной работе и заботе пожилой госпитальной санитарки («Тетя Нюша») стали рассказом о великой материнской самоотверженности нашей женщины, принявшей на свои плечи тяжесть лихолетья...

А в первые месяцы войны писались стихи другие. Он назвал их «Дневником войны». День за днем, из строки в строку шли бои, отступления и снова атаки: «И в пору б устать, да устать нам нельзя...» Вера в Победу жила в этих молодых горячих строчках.

Военные стихи Леонида Решетникова по-доброму принял Алексей Сурков, ведавший тогда поэзией в газете Западного фронта «Красноармейская правда», куда поэт принес свою тетрадь. Поэтические подборки красноармейца Решетникова были опубликованы в 1942 году в газете, в журнале «Знамя», в сборнике «Фронтовые стихи».

Он прошел всю войну. Был ранен не раз. Служил в артиллерийском полку, был танкистом, военкором армейской газеты. После войны — корреспондент «Красной звезды».

Война и по сей день не ушла из стихов Леонида Решетникова, как не могла, не может уйти из творчества других поэтов фронтового поколения. Незатихающей болью отзывается она и в восприятии послевоенного, мирного времени.

Не забывает войну лирический герой Л. Решетникова, как не может забыть войну солдат.

...За околицей уснувшей деревни буксует заплутавшая в дождливой ночи машина. И тотчас другой звук врывается из прошлого:

Треск мины, бьющей
за спиной,
И визг ее осколков.
Я видел, выглянув в окно,
Пехоту на привале.
Друзья, погибшие давно,
В седом дыму вставали.
Катились пушки. Ливень лил.
Свистел вверху дюралий.
Солдаты, выйдя из могил,
В атаке умирали.

Радостное ощущение Победы всегда неотделимо от горького чувства утрат. День 9 Мая — день великой радости и столь же великой скорби. Ровно через тридцать лет после Победы М. Луко-

нин вспомнит майское утро на чужой земле, выскажет то общее, что легло на душу наших солдат. Ждала земля, истосковавшаяся по рукам, ждали близкие. Ждала Родина: «Пахло пахотой, небом весенним, дорогой прямой... Двадцати миллионов советских людей в это утро нам так не хватало!»

У каждого из павших на поле боя были свой дом, матери, жены, дети. Они ждали, надеялись. Кто не испытал чувства подспудной, необъяснимой вины, стоя у скромного братского обелиска?..

Эта затаенная боль живым нервом бьется в стихотворении Л. Решетникова «Памяти друга».

Одна, с бегущей в травах Вяткой,
Была мила нам сторона.
Одна взяла нас мертвой хваткой
Война. Грозна была она.

Но, как и он, я там не гнулся,
Не избегал ее, солдат.
Забыть ли мне, что я вернулся,
Один! Хоть в том не виноват.

Об этом чувстве ответственности перед павшими, об этой боли, которая жжет и будет жечь всегда, Л. Решетников размышляет и в статье, посвященной известному стихотворению А. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...».

Близкие по мысли строки двух поэтов рождены многолетними горестными раздумьями людей, прошедших войну. И как ни тяжки эти мысли, молчать о них нельзя. Ибо в них, говоря словами самого Л. Решетникова, «...и наша память о погибших, и наш долг перед ними, и чувство вины за то, что мы не могли предотвратить их преждевременную гибель. И совсем не шуточное предупреждение другим, тем, кто идет следом за нами, наследует этот прекрасный, гордый и грозный мир, отвоеванный такими усилиями и такими жертвами».

Оттого так обострено в его стихах чувство долга, ответственности за этот мир, за судьбу Родины.

Поведение человека на войне стало той высокой точкой отсчета, тем строгим и чистым критерием, по которому оценивалось прожитое. Эта мысль лаконично и сурово передана в строках М. Луконина: «Так надо жить, как жили мы в бою».

И герой Леонида Решетникова перед всеми, кому не суждено было дожить до Победы, держит ответ.

Так ли я долг на земле исполняю,
Так ли я думаю, так ли живу?

Стихи поэта о войне — суровая, строгая правда о ней, рассказанная солдатом. Четыре года войны для каждого, кто прошел ее, обернулись «целой жизнью»...

Память для него — нравственный компас. К памяти он обращается «вовсе не за тем, чтобы лишний раз вспомнить о своей молодости, но чтобы еще раз утвердиться в мысли: сегодняшние победы народов в их освободительных войнах — результат тех

страданий и жертв, которые принес наш народ, результат его победы в Великой Отечественной войне».

Наверное, поэтому Л. Решетников разыскивает часть, в которой сорок лет назад, восемнадцатилетним, начинал службу, летит в Приамурье за сотни верст от дома.

Трудно было справиться с волнением, которое вызвала в нем эта встреча. Не осталось тех, с кем когда-то служил, с кем уходил на войну. Но он увидел, понял главное: «Боевой путь части, имена и подвиги людей, с кем начинал я свой солдатский путь, живы в памяти сегодняшних солдат, служат им примером, ведут их вперед».

Об этой встрече с армейской юностью написан цикл стихов. Иной стала армия, оснащенная новейшей техникой. Но то, что свято для отцов, приняли дети. И, глядя в молодые лица нынешних бойцов, старый командир думает:

Первогодки,
Право слово —
Сыновья мне,
Хоть готовы
Той ответствовать судьбе.

«Как человек, — рассказывает поэт, — я привержен к своей родове, родной земле, родному дому. Пока служил в армии, каждый отпуск проводил у родных. Эти наезды для состояния души были праздником, и это сказалось на творчестве. Сажусь за стихи о войне — а пишу про Уржум...»

Так возникла книга «Возвращение» — первая книга, где больше половины стихов о мирной жизни...

После армии, после
Войн и дальних путей
Вновь — хозяин ли,
гость ли —
Я — средь отчих полей,
В ожерелье из елей,
В переливах овса
Та земля — до предела —
Вся знакома мне, вся.
Вся сыздетства обжита,
Вся избегана мной,
От проселка средь жита
До тропы за копной...

Возвращение ли это было? Не отрывался он сердцем от милого дома, не забыл вкус воды из отцовского колодца, щербинки на досках старого крыльца.

Может быть, просто дольше других не мог отойти от военной темы, расстаться с нею. Ведь для Л. Решетникова военная служба продолжалась и годы спустя после Победы... Именно поэтому теперь пристальнее взглянул в себя, полнее ощутил нерасторжимость с отчей стороной...

Леонид Решетников, как и Александр Яшин, Николай Рубцов, Егор Исаев, Сергей Викулов, Ольга Фокина — плоть от плоти земли. Здесь для них — все поэзия, все отрада. И первое знаком-

ство с миром, первое познание его проходили для них здесь, в родной вятской ли, архангельской, вологодской, воронежской деревне... Причастность к малой родине обострила поэтическое зрение, понятие это слилось в сознании с понятием Отчизны.

«Наша изба была крайней, — вспоминает Леонид Решетников. — Рядом с нею, за околицей, бежала по лугу неглубокая и веселая речка Ноля, а «на задах», за огородами, гудел на ветру сосновый лес. За ними начиналось поле...

...Этот луг и это поле, окружающие деревню леса и перелески, холмы и овраги, свойственные восточной окраине средней полосы России, являлись в детстве моими учителями, воспитателями и друзьями».

...играя облаками,
Выходит Кама
из-за синь-лесов.
Вот Вятка поворачивает
к Каме,
Течет сквозь рощу
птичьих голосов.
А вот,
В лугах петляя то и дело,
Бежит Уржумка —
Отблески видны
Ее волны.
Вот здесь лежат пределы
Моей родной уржумской стороны.

Здесь дремучие суровые ельники подходят к самой околице. В глубоких озерах вода студеная, чистая.

Он приезжает в эти благодатные для него края, ходит по деревням, откуда отец, мать, дядья, где прадеды и деды похоронены. И пишет стихи. Подрос сын — он привез его, с ним целый месяц путешествовал по окрестным селам... Так собралась книга «Благодарение» — низкий сыновний поклон родной земле.

Отец и мать — «крестьяне рядовые в несчетном поколении крестьян» — охаживали эту не очень-то отзывчивую к их стараниям землю. Всю жизнь отца мысль точила — вызволить семью из нужды. Девять ртов у него было, сам — десятый. Леониду, старшему среди детей, шел восьмой год, когда родители, продав избенку и корову, подались в Сибирь. Кое-кто из их деревни раньше туда уехал и теперь звал — сулил сытую жизнь. Добрались кое-как до красноярского села, хлебнули вдоволь беды и осенью тронулись обратно. Проездились до нитки. В деревню не вернулись: ни избы, ни коровы, и купить не на что. Обосновались в Уржуме. На последние гроши сторговали крохотную баньку, там ютились. Отец бондарил в леспромхозе, мать устроилась в артель портнихой.

Еда была скудная и одежда бедноватая. Но детство, хоть не сытое, но теплое и ласковое, оставило светлый след в душе...

Только ли сыновние воспоминания о родном доме движут пером поэта, сливаются в строки? Нет, своей поэзией Л. Решетников утверждает те добрые начала, те нравственные заветы, что берут исток в прошлом нашего народа. Поэт обращается к той деревне, матери городов, что стала корнями нашей индустрии в годы первых пятилеток. В войну, оставшись с женщинами и ста-

риками, кормила и фронт, и тыл, после Победы самых молодых, сильных посылала на стройки...

«Мы все — почти что поголовно — оттуда люди, от земли...» Приведя эти строки Твардовского, нельзя не сказать о его влиянии на творчество Леонида Решетникова, которое не раз отмечалось критикой.

...1944 год. После длительных боев часть, где служил Решетников, была переведена под Смоленск. Во время этого короткого отдыха редактор армейской газеты отпустил молодого поэта на денек в редакцию «Красноармейской правды» Западного фронта. Тот отыскал ее в одной из смоленских деревенек. Там и встретился с Александром Твардовским.

«Твардовский был в чине майора, — рассказывал Л. Решетников. — Молодой, русоволосый, голубоглазый. Он знал, что я привез стихи. Я всегда стеснялся читать вслух, на публике. И сейчас стесняюсь — мне кажется это самооценкой какой-то, заведомым признанием, что стихи хорошие. «А можно оставить?» — спросил я. Он сразу понял и сказал: «Оставьте». Потом сам читал из «Теркина», спрашивал, что пишут солдатам из дому... Была гармонь, и он пел негромким голосом...

Вышел меня провожать на дорогу. Остановил машину, бросил через борт плащ-накидку: вечера были холодными, а я одет легко...» Встреча положила начало близости, прежде всего творческой. Эта близость более всего сказывается в пристальном внимании к народной жизни. Читаешь стихи Решетникова о людях деревни, о сельских тружениках — и вспоминаешь слова его старшего товарища: «Полна, красна земля родная людьми надежных душ и рук». Надежные души, на ком стояла и стоять будет российская земля, являются нам в стихах и Леонида Решетникова.

В книге Л. Решетникова «Благодарение» многие стихи обращены к отцу, матери, сестрам. Не грешно каждому возвращаться к светлой поре своей жизни, но рассказанное в этих стихах выходит далеко за рамки воспоминаний о своем, личном. Тип русского крестьянина, характер народный рисуются нам.

Стихи об отчем доме — это основательные, тщательно выписанные сценки деревенской жизни, того нравственно здорового уклада ее, который воспитывает уважение к труду, к знаниям, почитание старших... Стихотворение «По вечерам» позволяет нам будто самим заглянуть в эту позднюю пору в избу... За окном метель разыгралась. Скудный быт 20-х годов... Отец вернулся с работы. И дома она поджидает: доски для бочек, сучья еловые загодя заготовлены. Младшие спят. Сын читает вслух, отец бондарит. Радостны обоим эти вечера.

...ученик начальных классов
И в доме первый грамотей,
Я шпарил вслух о битве классов
И политических идей.

. . . . . .

А он, застыв, все слушал звуки
Тех слов, забыв про все дела...
Так он внимал азам науки,
А я — азам рукомесла.

Неграмотный крестьянин, прошедший германскую войну, послуживший на Дальнем Востоке, много повидавший, отец понимал цену знаниям. Работящий русский человек, он первым становился под комель.

А сядет за стол —
хоть и весел на вид, —
Рука от усталости пляшет.
Все ж детям он первый кусок норовит:
— Некормленый конь, брат,
не пашет...

В этой нравственно чистой, здоровой крестьянской семье детей рано приучали к посильному труду, и они с малых лет знали: «Работа — не шалость». И самостоятельность приходила в срок: после окончания педучилища забота о семье легла на плечи восемнадцатилетнего Леонида...

Он пронес через немалые годы, сохранил в себе те нравственные уроки народной жизни, что получил в деревне. Это тот корень, те заветы, что передаются из поколения в поколение. Рассказывать о них — в этом поэт видит свою задачу.

«На земле, — говорит Леонид Решетников, — творится то, без чего никто не жил и жить впредь не будет. Человек многое изобрел. Уже металл заменяет пластиками. Но землю изобрести не может. Это насущно необходимо, незаменимо. В этом смысле мы и можем соотносить все, что делаем, с землей, работающей на нас, с людьми, которые трудятся на ней».

...Вот и я думаю чаще и чаще об этом:
Землю пахал бы я, если бы не был поэтом.
Сколько при этом ни жил бы я — мало иль долго,
В землю ушел бы с сознаньем свершенного долга.
Ибо лишь он безусловен, как воздух, от века,
Хлеб наш насущный — и песня, и жизнь человека.

Поэт вовсе не идеализирует старую деревню, не зовет к патриархальности. С отрадой он наблюдает, как меняется лик вятского села. Но важно чувствовать себя сыном земли, быть ответственным за ее дела.

Мне любы люди всех иных судеб
И мил союз наук и производства.
Но не забыл я, где родится хлеб
И где родилось чувство первородства.

Осознание этого чувства, обращение к своей «изначальной дали» необходимы человеку.

...В тени старой сосны, на околице села, могила деда. Все версты вокруг им исхожены. Сколько земли перепахал на своей каурке! Но этот труд не пропал бесследно. Крестьянин охаживал, засевал землю, и она плодоносила, давала жизнь другим...

И мы в свое время уйдем,
Свой след на земле пролагая,
О жизни, что будет потом,

Лишь только светло полагая.
И будут сквозь утренний дым
Трубить эти сосны, как горны,
Как нынче над дедом моим
Трубят широко и просторно.

...Военная служба привела Леонида Решетникова в Новосибирск. Обосновался здесь. Поначалу полагал вернуться на родину, а тем временем Сибирь творила свое дело: прирастала к сердцу. И уже вошла в его творчество...

«Глухарь», «Сосновый бор зимой...». Другой пейзаж, иные картины. Суровые, величественные, они наводят на философские раздумья, помогают глубже осознать гармонию природы, вызывают стремление к единению с ней... Вот чувства, которые навевает поэту сосновый бор:

В нем тихо и светло.
Стоят в нем в полный рост —
Вот так всегда и мне бы! —
Молчание до звезд
И музыка до неба...

Непреходящее чувство долга ведет Л. Решетникова в разные города, села, по строчкам он отыскивает стихи погибших на войне сибирских поэтов. Собирает книгу «Белый снег на вечерней заре» — и к нам через тридцатилетие приходят голоса Георгия Суворова, Бориса Богаткова, других поэтов-сибиряков: «Эта книга мне не менее дорога, чем любой из моих поэтических сборников...»

Он много ездит: «Свою страну знаю, но жалею, что не всю объездил». На ледокольном судне совершает с научной экспедицией плавание на архипелаг Северная Земля и пишет об этом лирический дневник «Индигирка» идет на Север». Своеобразная документальная повесть Л. Решетникова «По Уймону» — это записки участника военно-исторической экспедиции по горам и долинам Алтая. Больше месяца плутали по следам Первой Горно-Алтайской партизанской дивизии...

...Подошла пора зрелости. Зрение стало острее, зорче. Стих — мудрее. Об этом свидетельствует книга поэта, названная «Возраст». Глубже познается истинность непреходящих ценностей. Единственное, непреложное — вот оно:

Быть средь других. И, голоса их слыша,
Их горести и радости любя,
Во всем быть вровень с ними. И быть выше.
Отнюдь не их, но самого себя.

Поэта привлекают обыденные картины. Здесь он и находит пищу для своих стихов.

Пишите эти дни и лица:
Не повторяются они.

Стих Л. Решетникова спокоен. И в этом спокойствии своя проникновенная прелесть.

Сколько дорог исхожено! «Родиной кровной» зовет поэт и литовскую землю у речки Дубисы, где товарищи в войну полегли, и горный Чегем, и еловые леса у Малых Корел, Ключевскую сопку и Командоры... Пристально вглядываясь в эти картины, везде узнает приметы нынешнего времени. Заботы, помыслы людей — всюду те же. Картина сенокоса в горах, когда «к пню привязанный веревкой в поднебесной синеве, бьет косец своей литовкой по склонившейся траве», вызывает иные воспоминания — о нелегком труде хлеборобов в его краю:

Те же руки у них с мозолями,
Так же взоры у них ясны,
И живут они теми ж болями,
Теми ж радостями страны...

«Я знаю твердо, — говорит поэт, — если мысль не созрела, бесполезно садиться за стол. А вызревает она по-разному, порой достаточно спички, искры, которая упадет в стог сена. А иногда это капли — одна за другой падают на камень, долбят его...»

Годы идут... Он все такой же, каким знают его друзья и недруги, — прямой и бескомпромиссный.

Новые книги выходят. Один из его поэтических сборников назван «Книгой верности». Он вобрал в себя строки о родном вятском крае, о войне, о встречах с армейской юностью... По-прежнему поэт верен своим темам. Солдат и пахарь... Он и пишет о полях войны и о полях жатвы. А вместе все это — об отчем доме. О России.

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА

Статьи В. А. Сухомлинского, которые составили эту книгу, посвящены патриотическому воспитанию школьников, воспитанию любви к своему социалистическому Отечеству, к Родине.

У кого-то возникнет сомнение — разве можно научить любви? Внушить уважение, убедить, объяснить — другое дело, но воспитать любовь? Чувство свободно и непроизвольно, а потому всякое внешнее давление, тем паче дидактическое назидание, для него губительно. Но разве любовь, как и другие глубоко интимные душевные состояния и переживания, не связана с обстоятельствами реальной жизни, со всей окружающей нас действительностью? Разве не вся совокупность общественных отношений определяет внутреннюю структуру и содержание человеческой личности? И потому разве воспитание не есть процесс формирования личности, духовного мира человека?

Эту книгу В. А. Сухомлинский писал в трудную пору, когда на него обрушилась догматическая критика, пренебрежительно именовавшая его труды «сельской педагогикой», поскольку он был директором Павлышской средней школы, оставался сельским учителем, несмотря на то, что уже был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук, удостоен звания Героя Социалистического Труда. И все страницы этой книги, которую он считал отчетом о работе всей своей жизни, пронизаны мудрым, осознанным оптимизмом, истоки коего он сформулировал в словах: «Коммунистические идеи — это вся многогранность нашего бытия».

Вся многогранность нашего бытия, вся история жизни народа — строителя и защитника социалистического общества служит основой форми-

---

В. А. Сухомлинский. Родина в сердце. М., «Молодая гвардия», 1978.

рования юного гражданина Страны Советов.

Но в таком случае почему же встречаются и среди нас, в нашей стране убогие, духовно бедные люди, почему есть еще и эгоисты, бессердечные и бездушные хапуги, откуда брались в грозовые годы войны дезертиры, изменники?

Молодой человек, поехавший в отдаленный колхоз на работу, стал свидетелем суда над изменником, бывшим полицейским, который двадцать лет назад истязал советских людей, хотя родился в Советской стране, вырос при социализме. Как же стал он изменником? «Ведь сама жизнь воспитывает!» — воскликнул сын в письме отцу. И Сухомлинский разъясняет: «В том-то и дело, что — в этом я твердо уверен — воспитывает не жизнь сама по себе, а человек. Жизнь только помогает человеку».

Это глубокое убеждение педагога, служащее основой его научно-педагогической концепции. Воспитывать не столько поучениями, но прежде всего своим личным примером, всей жизнью. Благотворное воспитывающее воздействие личности наставника реализуется только в активном процессе самовоспитания, иначе воспитатель столкнется с «пустыми глазами», с «закрытостью сердца», с «холодной душой». В. А. Сухомлинский и создавал в коллективе отношения взаимной ответственности и долга, добиваясь, чтобы маленький человек чем-то выражал свое нравственное богатство и благодаря этому познавал себя и воспитывал себя. Ученый-исследователь писал, что «настоящее воспитание начинается там, где есть единство воспитания и самовоспитания, а это единство возможно лишь при том условии, когда человек чем-то дорожит: вначале человеком, своими отношениями с ним, а потом идеей, истиной».

Опытный психолог, каким был В. А. Сухомлинский, знает, что в сознании каждого человека на всю жизнь запечатлеваются воспоминания детства. Он уверен, что «родная природа входит в нашу душу как колыбель бытия, как чистый источник, из которого мы впервые напились живой воды...». Потому-то он стремится открыть перед детьми красоту родной природы, чтобы она стала для юного человека материальным воплощением духовных богатств, красоты и величия народа.

Потому-то для питомцев В. А. Сухомлинского природа не остается лишь объектом любования, хотя и это уже облагораживает душу, «природа — это не какое-то символическое богатство. Это прежде всего труд десятков и сотен поколений, поливших потом родную землю и передавших ее потомкам своим».

Считая природу ничем не заменимым источником эмоционального развития ребенка, В. А. Сухомлинский с самого начала связывает культуру чувств с ее общественно-материальной основой — культурой труда. Уважение к труду, благодарность людям труда, понимание, что труд — основа подлинной нравственности, подлинного, а не абстрактного гуманизма, — вот главный критерий. Увидев со своими питомцами-пятиклассниками заброшенный уголок — полтора гектара плодородной земли, захламленной развалинами, гниющими пнями, заросшей кус-

тарником, он учит: «Было бы худо, если бы мы на каждом перекрестке кричали: вот, мол, забросили землю, никому до нее нет дела. Мы считаем, что прежде чем один раз сказать о плохом в родном доме, надо десять раз сделать так, чтобы не было этого плохого. ...Мы сажаем деревья, и дети испытывают гражданское счастье. А каждый познавший такое счастье способен загореться как факел от огонька, зовущего на большое поле служения Отчизне».

В. А. Сухомлинский приходит к очень важным, имеющим самое актуальное значение проблемам современности: как добиться того, чтобы каждому завтрашнему гражданину нашего общества было присуще желание воплотить свои лучшие порывы, движения своего сердца. Чтобы ему хотелось трудиться во имя возвышенной гражданской цели. Для этого перед ребенком необходимо открывать радость созидания в отличие от радостей потребления, которые познаются стихийно, почти инстинктивно.

Все в нашем обществе делается для того, чтобы детство, отрочество и юность были радостными. Но если мир наших питомцев будет наполнен только радостями потребления, они вырастут бездушными, бессердечными эгоистами, в их сердце не будет ничего святого. Воспитание патриотических чувств с того и начинается, что завтрашний гражданин находит радость жизни в том, что он что-то дал людям. Это чувствование подлинной радости бытия уходит своими корнями в детство: «...От радости труда для матери, для родных к радости труда для других людей прямая дорога, идя по которой человек поднимается к осознанию таких понятий, как соотечественник, народ, общество, Отчизна».

Именно здесь коренится ответ на тот мучительный вопрос, которым нередко задаются многие из нас: откуда берутся эгоисты, стяжатели, предатели и изменники, — ведь в самой структуре нашего строя заложен коллективизм и гуманизм? В книге «Родина в сердце» немало приводится подобных примеров из жизни, из опыта народа, примеров мучительных именно своей доподлинностью, невыдуманностью. И везде вывод ясен: подлость и преступление — результат эгоизма, духовной пустоты, себялюбия. А источник всего этого, по убеждению В. А. Сухомлинского, в детстве: «Безвольным эгоистом и себялюбцем может вырасти тот, кто в детстве, отрочестве и ранней юности знает лишь одно — потребление благ, создаваемых старшими».

В жизни Василий Александрович был человеком мягким, деликатным, даже застенчивым, но тонкость духовной организации не только не мешает ему, но придает особую силу, пронзительную искренность, когда он пишет о зле. Он умел ненавидеть и не скрывал своей ненависти к жестокости, равнодушному холоду сердца, к душевной глухоте, коросте себялюбия.

Но, подчеркнем, ненавидит В. А. Сухомлинский именно явление, а не людей. Поэтому даже исковерканных, духовно искалеченных людей, особенно, конечно, детей, так называемых «трудных», то есть, в сущности, изуродованных неправильным воспита-

нием, он активно жалеет. Не бездеятельно и сентиментально, а воинствующе борется против условий, способствующих тому, чтобы из ребенка вырастал эгоист, духовный мещанин.

Поэтому В. А. Сухомлинский ставит задачей воспитания не только любовь и доброту, но и науку ненависти. «Ненависть к врагу — страж патриотической любви. Ненависть к врагу, непримиримость к идейному противнику стали неотъемлемыми качествами души, способной к самоотверженности, — к такому труду, в котором главное для человека не личное, а высокая идея, служение идеалу. Только сердце, умеющее ненавидеть, способно иметь свою собственную позицию, свой взгляд на мир».

Следует ли травмировать детскую душу соприкосновением с трудностями, с дисгармоничностью мира? Они еще успеют узнать и грубость и грязь. Они еще могут стать дерзкими, непослушными, все отрицающими, над всем насмехающимися...

Да, они станут таковыми, если их будут оберегать, держать в сперто-тепленькой атмосфере оранжереи. А ведь им жить и работать в мире, где гремят раскаты мировой революции, где все обостряется идейная борьба, где им предстоит включиться в борьбу за гуманизм, справедливость, человечность. В. А. Сухомлинский сознательно идет на то, чтобы в сердца его питомцев «вошли надежды, радости и горести человеческие. Все, что происходит в мире, должно волновать детское сердце; очень важно, чтобы с юных лет человек сознательно избрал свою позицию в борьбе между добром и злом — это самое первое правило гражданского и патриотического воспитания».

Перечислить все проблемы и аспекты воспитания, которые поставлены в книге «Родина в сердце», трудно. Но следует остановиться еще на одном вопросе — преподавании языка и литературы в школе, ибо В. А. Сухомлинский доказывает, что преподавание родного языка — это прикосновение к сердцу ребенка, это мастерство творить человеческую душу. С этим нельзя не согласиться. Конечно, сам воспитатель должен быть эмоционален, должен уметь передать свои чувства выразительной, правильной речью. Ибо, для того чтобы истина воспитывала, она должна вдохновлять. Кроме того, воспитывая и развивая благородные чувства в своих питомцах, нужно научить ярко, понятно и образно выражать эти чувства, эти эмоции. В. А. Сухомлинский убежден, что «эмоциональная толстокожесть, душевные черствость и равнодушие одним из своих корней имеют речевое бескультурье. Речь, слово — это тонкий резец в руках воспитателя-мастера, способный творить изумительную, дивную красоту. Но если этим резцом к сердцу детскому не прикасаться, если, образно говоря, оно знает только молоток и кирку, то напрасно ожидать подлинной воспитанности».

Язык самого Сухомлинского, яркая его образность, эмоциональная насыщенность позволяют говорить не только о научной доказательности, но и о литературно-художественном воздействии книги. Это свидетельствует о незаурядном литературном даровании

В. А. Сухомлинского. Впрочем, может быть, следует лучше назвать это выдающимся человеческим, воспитательским талантом ученого, писателя, педагога в самом высоком и самом широком значении этого слова.

Евг. ПАВЛИХИН

НА СЛУЖБЕ РОССИИ

В славном строю выдающихся русских полководцев достойное место принадлежит Алексею Алексеевичу Брусилову, крупнейшему из военачальников первой мировой войны. Образ его, во всей глубине и внутренней сложности, предстает читателю в книге С. Н. Семанова «Брусилов», изданной в серии «Жизнь замечательных людей».

Маршал Советского Союза К. С. Москаленко пишет в предисловии к книге: «Брусилов был потомственным военным, его прадед, дед и отец служили в рядах русской армии на протяжении двух столетий. Все лучшее, передовое и прогрессивное, что было в старой русской армии, ее суворовские традиции вобрал в себя генерал Брусилов».

Путь к свершениям непрост и некороток. Военную карьеру Алексея Брусилова никак не назовешь «головокружительной». Первый боевой опыт — участие в русско-турецкой освободительной войне 1877—1878 годов. И постоянный, повседневный армейский труд: «До 1881 года я продолжал тянуть лямку в полку», — скажет впоследствии Брусилов.

С 1881 года жизнь Брусилова связана с открывшейся в Петербурге офицерской кавалерийской школой. Окончив с отличием двухгодичный курс наук, он был оставлен в ней уже в качестве преподавателя. Прекрасный кавалерист, Брусилов вел как лекционные занятия, так и практические, стремясь подготовить достойные кадры русской кавалерии, зрелых воспитателей боевого мастерства в войсках.

Четверть века отдал Брусилов своей «лошадиной академии» (так именовали злопыхатели офицерскую кавалерийскую школу). Это были годы упорного, порой незаметного, повседневного труда. Школа стала поистине его детищем. Она сыграла заметную роль в подготовке кадров для русской кавалерии. «И не только для армии старой, — подчеркивает С. Н. Семанов, — но и для будущей, новой Красной Армии, в которой поседевшему кавалеристу тоже пришлось немало послужить. В полках легендарного Буденного, в лихих конниках гражданской и Отечественной войн жила, сохранялась и приумножалась добрая слава брусиловской школы».

Началась первая мировая война. Генерал Брусилов командует 8-й армией Юго-Западного фронта. С первых

С. Н. Семанов. Брусилов. ЖЗЛ. М., «Молодая гвардия», 1980.

дней войны его армия переходит в наступление. Завязывается грандиозная Галицийская битва. «Я не честолюбив, — писал Брусилов, — ничего лично для себя не домогался, но, посвятив всю свою жизнь военному делу и изучая это сложное дело беспрерывно в течение всей жизни, вкладывая всю свою душу в подготовку войск к войне, я хотел проверить себя, свои знания, свои мечты и упования в более широком масштабе». Ближайшие события показали, что генерал Брусилов, как никто другой, оказался на высоте своего призвания.

Маневренный период войны длился недолго. С 1915 года армии зарываются в землю, образуется сплошная линия фронта. Как говорят военные историки, возник «позиционный тупик». Оборона оказалась сильнее наступления, попытки ее взлома терпели неудачу.

В этих условиях с наибольшей яркостью проявился полководческий талант Брусилова.

События развивались стремительно. 17 марта 1916 года Брусилов назначается главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта. 1 апреля он докладывает на совещании в Ставке свои соображения о том, что вверенный ему фронт «может и должен наступать», и добивается поддержки. 22 мая, после мощной артподготовки, войска устремляются в атаку. Успех превзошел все ожидания. Уже в первые три дня на направлении главного удара неприятельский фронт был прорван на протяжении 70—80 верст и на 25—30 верст в глубину. Наступление продолжалось. «Военно-политическое значение его было огромно, — пишет С. Н. Семанов, — австро-венгерская армия потерпела поражение, сказавшееся решительным образом на ее судьбе и в конечном результате на исходе войны». Операция навсегда вошла в учебники и хрестоматии под названием «Брусиловский прорыв». Описание прорыва принадлежит к числу лучших глав в книге.

Это был не просто местный успех, это была победа русской военной школы. Авантюристическим планам германского командования русский полководец противопоставил трезвое понимание законов позиционной войны. Он первым глубоко изучил ее особенности и создал стройную и законченную теорию прорыва как единственного средства перехода к маневренным действиям. Дальнейшее развитие военного искусства в годы Великой Отечественной войны подтвердило верность теории в стратегических разработках выдающихся полководцев Г. К. Жукова, А. М. Василевского, И. С. Конева.

Важно подчеркнуть и еще один пункт решительного расхождения германской и русской военных доктрин. Кайзер Вильгельм проповедовал своим солдатам: «Все должно быть утоплено в огне и крови, необходимо убивать мужчин и женщин, детей и стариков, нельзя оставить ни одного дома, ни одного дерева». Не правда ли, знакомая «философия»? А вот слова из приказа по армии Брусилова от 7 августа 1914 года. «Русская армия не ведет войны с мирными жителями. Русский солдат для мирного жителя,

к какой бы он народности ни принадлежал, не враг, а защитник».

С. Н. Семанову присущ зрелый историзм в оценке поступков и решений Брусилова, например, в вопросе о карательных мерах на фронте. В 1915 году, в трагические дни галицийского отступления, когда лишь железной рукой можно было удержать пошатнувшийся фронт, самые суровые приказы Брусилова звучали своевременно и неопровержимо: «Для малодушных, сдающихся в плен или оставляющих строй, не должно быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пулеметный, и орудийный огонь, хотя бы даже с прекращением огня по неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же способом и при нужде не останавливаться также и перед поголовным расстрелом».

Жестоко? Да. Но нетерпимость к предателям и трусам — в традициях русской армии. Другое дело — 1917 год, когда подобными же мерами Брусилов, на сей раз Верховный Главнокомандующий, пытался остановить армию, хлынувшую вспять в результате провала затеянного Временным правительством июньского наступления. Теперь его директивы о применении оружия против не выполняющих приказов частей воспринимались как меры, направленные против революционно настроенной, не желающей воевать солдатской массы, против самого революционного народа.

Брусилов не пошел против своего народа. Он глубоко переживал развал старой армии, гибель прежней России. Но с Керенским и Корниловым ему было не по пути. Он верил в будущее русского народа и его обновленной армии.

В книге убедительно показано, как мучительные раздумья о судьбах Родины привели Брусилова к признанию высокой исторической правды Октябрьской революции: народ сделал свой выбор, и долг каждого патриота и гражданина — принять и разделить этот выбор, несмотря на жертвы и невзгоды. Как профессиональный военный, Брусилов ясно видел, что руководимая В. И. Лениным партия большевиков оказалась единственной силой, способной защитить национальное достояние России от вражеских нашествий и внутренней анархии.

...В жизни каждого человека бывает, как говорят, свой «звездный час», время особого взлета, духовного дерзания, наибольшего раскрытия внутренней сущности и творческих способностей. Брусилова можно назвать счастливым человеком, на его долю выпало два таких взлета — «Брусиловский прорыв» (о нем говорилось выше) и не менее памятный в русской военной истории «брусиловский призыв». 23 мая 1920 года в связи с польской интервенцией в «Правде» было опубликовано патриотическое обращение Брусилова «Ко всем бывшим офицерам».

Значение этого призыва к офицерам старой русской армии — перестать сражаться против своего народа и идти на службу в Красную Армию — было чрезвычайно велико. Брусилов был не первым из генералов, принявших сторону новой власти, но он был самым видным и авторитетным. Многие и многие тысячи колеблющихся, хотя и

патриотически настроенных офицеров, вняв голосу своего старого командующего, сделали для себя окончательный выбор.

На большом фактическом материале, глубоко и во многом по-новому С. Н. Семанов показывает роль старых военных кадров в становлении Красной Армии, военном планировании ее решающих побед. Этот вопрос, заметим, все еще недостаточно изучен в нашей исторической литературе.

С самого начала, когда стала очевидной необходимость перехода от добровольческой Красной гвардии к регулярной и массовой Красной Армии, Ленин и партия большевиков сделали обоснованный вывод о необходимости привлечения военных специалистов в армию: без их участия создание многочисленной мощной армии было бы невозможно. Среди тех, кто занял видные посты в Красной Армии, было немало представителей высшего командного состава старой армии и выпускников академии Генерального штаба.

Можно было бы назвать множество имен, но еще красноречивее приведенные автором цифры: только с сентября 1918 по март 1919 года в Красную Армию было принято 34 600 бывших офицеров и военных чиновников, 21 000 медицинских и ветеринарных работников. Именно эти военные специалисты руководили на деле боевыми действиями на фронтах и подготовкой войск. Это о них писал В. И. Ленин: «У нас работают тысячи и десятки тысяч военспецов, без коих не могла бы создаться та Красная Армия, которая выросла из проклятой памяти партизанщины и сумела одержать блестящие победы на востоке. Люди опытные и стоящие во главе нашего военного ведомства справедливо указывают на то, что там, где строже всего проведена партийная политика насчет военспецов и насчет искоренения партизанщины, там, где тверже всего дисциплина..., там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед».

Книга С. Н. Семанова захватывает с первых страниц. Автору удалось живо воссоздать, казалось бы, скучные будни армейской службы своего героя. Батальные главы книги привлекают полнотой и точностью описания. Вместе с тем закономерен интерес автора к внутреннему миру А. А. Брусилова, его личной жизни. Тонко и деликатно С. Н. Семанов показывает, что генерал, убежденный службист, безраздельно преданный делу, умел жить при этом глубоко затаенной, но яркой и насыщенной духовной жизнью, с возвышенными чувствами и романтическими порывами...

Честной, добросовестной службой в Советских Вооруженных Силах кончил свой доблестный жизненный путь генерал А. А. Брусилов. Весь свой богатейший боевой опыт передал он командирам молодой Красной Армии. Его личная судьба неотделима от судеб времени, от жизни страны. В этом прежде всего убеждает книга С. Н. Семанова.

Николай ЛИСОВОЙ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КРИТИКИ

«Критика, — писал в свое время Гоголь, — основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования».

Частый случай в истории литературы — забытое имя. Но память избирательна, и порой мы возвращаемся к тем событиям, явлениям и фигурам в истории, которые вдруг оказываются созвучными нашему времени.

Какой ряд даровитых критиков дали 20-е годы! О всех ли мы знаем? Лишь полтора десятилетия назад произошло новое узнавание Александра Воронского — критика, целенаправленного в своем творчестве, большевистски преданного делу, эстетически тонкого, человека разносторонних способностей.

Самого пристального внимания заслуживают выступления литературной критики 20-х годов в партийных органах печати, подготовившие принятие столь важного для нашей литературы документа, как резолюция ЦК РКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы» и в значительной мере способствовавшие организации и объединению литературных сил страны.

Именно поэтому можно приветствовать появление в ряду исследований литературного процесса 20-х годов книгу В. Акимова «В спорах о художественном методе (Из истории борьбы за социалистический реализм)». Сам автор так объясняет свое обращение к теме: «В истории русской советской литературы 20-е годы — один из самых сложных и своеобразных литературных периодов. В напряженной борьбе идей проходило становление нового, революционного искусства, создавались многие произведения, ставшие классическими образцами открытия и утверждения нового мира».

В определенной степени работа В. Акимова подводит итог исследованиям последних лет, посвященных аналитическому рассмотрению советской литературы того периода и важному ее элементу — литературной критике. Не случайно поэтому в книге В. Акимова стремление обобщить усилия современных литературоведов — С. Шешукова, А. Метченко, А. Дементьева и других.

В книге «В спорах о художественном методе» удачно сочетаются изучение первых достижений отечественного литературоведения и анализ процесса теоретического обогащения литературы. В. Акимов весьма полно обрисовывает общественную и литературную обстановку периода, предшествующего 20-м годам, выявляет генезис существовавших в те годы в литературной жизни противоречий и вместе с тем исследует воздействие марксистской эсте-

---

В. Акимов. В спорах о художественном методе. Л., «Художественная литература», 1979.

тики на раннюю советскую критику.

Ключевой частью работы можно назвать главу, в которой автор методично, с четко выверенных марксистских позиций оценивает литературную роль теорий «Пролеткульта» и апологета вульгарного социологизма Богданова.

Теоретическая неразработанность многих положений литературоведения, игнорирование и извращение лидерами «Пролеткульта» ленинских взглядов на искусство привели к тому, что часть нашей критики в 20-е годы руководствовалась принципами вульгарной социологии, при этом пропагандировалось создание кастовой, замкнутой в себе «пролетарской» литературы. В. Акимов подробно разбирает критику В. И. Лениным заблуждений Богданова и, пользуясь новыми материалами и выступлениями, показывает вредоносность пролеткультовских теорий.

К началу двадцатых годов наша литература подошла раздробленной на многие стилевые течения, группировки. Это положение не было случайным и являлось прямым следствием духовного кризиса творческой интеллигенции накануне революции.

Пестрота литературного процесса в известной степени объяснялась и тем, что в 20-е годы в стране существовало более двухсот частных издательств, и не всегда книги, выходящие в них, пропагандировали новый строй.

Надо также отметить, что и в сочувствующей идеям советской литературы писательской среде было много разногласий. Касались эти разногласия и взглядов на цели и характер литературного процесса, и критериев оценки художественного творчества.

Социально - эстетическая критика в лице А. Воронского, В. Полонского и целого ряда других литераторов методологически верно оценивала перспективные пути советской литературы во всем объеме социально-художественных взаимосвязей искусства с жизнью. Это хорошо показано в книге В. Акимова.

Автор размышляет и об иных критериях оценки литературы, выдвигаемых на пролеткультовской основе теоретиками РАППа, а также лефовцами и ОПОЯЗом.

В. Акимов всесторонне анализирует недостатки концепции рапповцев, отмечая в их деятельности «родимые пятна» «Пролеткульта» — и в первую очередь, конечно, кастовый подход к проблемам литературы. Исследователь показывает, как, вульгаризируя социологический подход к оценке литературы, рапповцы делали невозможным для себя объективный анализ литературного процесса в целом и тем более глубокое проникновение в художественный мир целой плеяды советских писателей.

Деятельность близких «Пролеткульту» критиков, в частности теоретиков РАППа и «На посту», суживала социальные границы литературной практики, являясь «прокрустовым ложем» для творчества.

В исследовании В. Акимова убедительно анализируется и деятельность «Лефа», аргументированно показывается, как при внешних различиях между теориями «Лефа» и

РАППа у этих двух организаций было много общего в средствах и целях деятельности. И хотя и лефовцы и рапповцы считали своей конечной целью воссоединение искусства с жизнью, демократизацию литературы, активизацию ее социального воздействия на жизнь, на деле их программа и теоретическая деятельность вели к выхолащиванию существа искусства, ограничению его действенности. И не случайно, что именно в «Лефе» родились впоследствии теория «искусства жизнестроения», конструирующая литературу подобно промышленному производству, и теория «литературы факта», отвергающая художественный вымысел, психологизм, лирику.

В. Акимов убедительно и логично доказывает всю несостоятельность этих надуманных построений.

Исследователь, глубоко и тонко анализируя обширные, в том числе архивные, материалы, показывает, что вульгарно-социологическим и формалистским взглядам на литературу в тот период успешно противостояла социально-эстетическая, реалистическая концепция А. К. Воронского и критиков его круга, в чьем творчестве нашли отражение и решение многие важные вопросы.

Поиски литературной критики 20-х годов при всем своем разнообразии велись все же по общим (и основным) направлениям: определение характера современной эпохи, места в ней художника и, наконец, определение творческого метода новой литературы.

Последнее особенно важно. Теоретические посылки, сложившиеся к середине 30-х годов в формулу социалистического реализма, касались и характера отражаемых в творчестве явлений жизни, и способа их выражения, и выбора самого объекта литературы.

Положительной особенностью анализируемой книги стал широкий диапазон рассматриваемых явлений. Желание глубже проникнуть в суть проблемы закономерно привело В. Акимова и к оценке выступлений партийных органов печати, которые занимали особое место в литературном процессе 20-х годов. В газете «Правда», журналах «Большевик», «Под знаменем марксизма», литературно - художественных и критико-библиографических журналах «Красная новь», «Книга и революция», «Печать и революция», «Молодая гвардия» выступали многие известные партийные деятели. В теории и практике литературы первого периода Советской власти роль Коммунистической партии как направляющей и организующей силы поистине огромна. Понимая неоценимое значение литературы в деле воспитания нового человека, становления социалистической идеологии, строительства культуры социалистического общества, партия командировала для этой работы таких известных партийных деятелей и вместе с тем талантливых критиков, как А. Воронский, В. Полонский, Я. Яковлев, В. Лебедев-Полянский, И. Скворцов-Степанов. Хорошо известны также частые выступления по вопросам искусства и литературы народного комиссара просвещения А. Луначарского, народного комиссара иностранных

дел Г. Чичерина, Н. Крупской. Менее известны, но тоже весьма интересны литературно-критические выступления заведующего отделом печати ЦК РКП(б) И. Варейкиса, члена редколлегии «Правды» Н. Мещерякова.

Завершающая глава «Горьковская школа» и борьба за реализм» раскрывает закономерность и своевременность появления произведений Горького, Серафимовича, Малышкина, созданных на основе нового творческого метода.

Показывая читателю размышления, поиски и находки ранней советской критики, В. Акимов, с одной стороны, по достоинству оценивает деятельность многих, полузабытых ныне критиков, с другой стороны — обобщает современные исследования начального этапа развития советской литературы.

Несмотря на историко-литературный характер своего произведения, В. Акимов убедительно показывает и нынешнюю актуальность поднимаемых проблем, прослеживает связь и преемственность вчерашней и сегодняшней литературной критики.

О. ФИЛИМОНОВ

РЯДОМ С ДОМОМ

Когда открываешь новую книгу стихов, заведомо зная, что автор ее твой современник, то невольно задаешься вопросом: в чем заключается неповторимость или самобытность поэта? Ведь ныне живет и поэзия двадцатых-тридцатых годов с ее романтическим созидательным пафосом, и поэзия поэтов-фронтовиков со своей неповторимой — болевой — темой, со своим неповторимым голосом — мужественным, гражданственным. А что же сегодня?..

«Песни в поле» — пятая книга Ивана Николюкина. Более половины сборника составляет раздел «Багряное детство» — память о войне. Разделы «Вечерняя музыка» и «Степные зарева» так или иначе связаны с прошлым. Лишь отдельные произведения не имеют конкретного указания времени — «Всю ночь над Гагрой», «Малыши и море», «Буксир». И вот что показательно: именно эти стихи наиболее холодные. Объяснить такое явление нетрудно — муза И. Николюкина живет памятью о войне, по крайней мере, если судить по данному сборнику. Плохо это или хорошо? Категоричный ответ затруднителен. Ясно одно: кто пережил войну хотя бы ребенком, тот ее не забудет и непременно расскажет о ней другим.

Детство бесхитростно, память детства — запечатленные картины, сцены, порой случайные и неожиданные. И если поэт лишь «пересказывает» свое детство, игнорируя обретенный с годами опыт, то и стихи его будут не чем иным, как статичным воспроизведением все тех же картин и сцен. И понятно, в данном случае И. Николюкин не исключение, когда не разрабатывает тему войны, а лишь воспроизводит военное

Иван Николюкин. Песни в поле. М., «Современник», 1979.

прошлое, хотя и достоверно и детально, но с позиций детского видения. На запад идут «три дня и три ночи солдаты», и деревенский мальчик тщится узнать в одном из них своего отца («Солдаты»); ночью через деревню проходят тяжелые танки, и дети днем бегут «взглянуть на крутые следы» («Танки»); хозяин, который управляется по дому, а «хозяину лишь шестой пошел годок» («Хозяин»); самолет, подбитый над деревней, при буксировке ему «крылья мешают на земле» («Самолет»); и «Военный оркестр», и «Желуди», и «Дезертир», и «Эхо канонады» — все это реальные сюжетные сцены, выхваченные из пережитого памятью. Одни стихи лучше, другие хуже, но исключением являются такие, где в поэтической стихии автор поднимается до философских обобщений.

Как наиболее удачные в основном разделе, да и в сборнике, можно назвать стихи «Калина», «Беженцы», «Баллада о матери».

Казалось бы, обычная для военного времени картина — тянутся беженцы на восток. Но под пером художника кажущаяся «обычность» вдруг обретает трагическую обобщенность. В данном случае автор удачно использует представления наших далеких предков о Земле. Для взрослого в XX веке такие представления чужды, но для ребенка и картинка из книжки по-своему реальна:

Картинка из книжки осталась,
А книжку в морозы сожгли:
С котомкою путник
под старость
Дошел аж до края Земли...

И вот этот мифический край Земли, куда с ужасом заглядывает путник, и представляется конечным пунктом беженцев. Через двойное восприятие «Края света, края Земли» — на картинке и в детском осознании войны — и достигается трагическая обобщенность происходящего.

А что же потом? У обрыва?
Коль звезды вверху и внизу?..
...Совал я неспелые сливы
Мальчишкам на ближнем возу.

И это детское милосердие-сострадание красноречиво свидетельствует и подтверждает, что война никого не обходила стороной.

Сердце матери — вечная тема в русской поэзии. Кажется, не было и нет такого поэта, который бы не воспевал нежность и силу материнского сердца... Три сына ушли на войну, двое вернулись, младший погиб. И мать отправляется в путь, чтобы найти его безымянную могилку. И находит — ведь она мать.

Размер и форма баллады в данном случае удачно соединились с художественным приемом русской былины, когда заведомо нереальное, обретая символическое значение, воспринимается как реальное, обобщенное. «Баллада о матери» не только удача автора, но и подтверждение того, что И. Николюкину ближе большие, эпические формы.

С «Балладой о матери» перекликаются стихи «Паша» из раздела «Вечерняя музыка», хотя здесь мы уже имеем дело не с собирательным, а с конкретным образом матери. Естественно, и ритм стиха, и размер иные, не балладные... На глазах у Паши, связной партизан, немцы убили ее двух малых детей, сама она лишилась рассудка. И долгие послевоенные годы в чужих детях мать видит своих де-

тей... Традиционный народный взгляд на убогого или несчастного живет и поныне. И среди взрослых, и среди детей Паша чтима. Отмечая это в стихах, автор тем самым как бы утверждает, что историческое время неразрывно.

...Зовут ее в нашей сторонке
Не дурочкой вовсе —
Святой.

Растут-подрастают ребята,
И видел я в школе у них
На стенде героям-солдатам,
Без черного только квадрата,
Портрет ее лет фронтовых.

Стихи «Паша» я назвал бы маленькой поэмой — жанровые каноны в данном случае налицо: и лирический герой-повествователь, и эпическая героиня, и сюжетно-повествовательная организация стиха в целом.

Как в предыдущих сборниках стихов, так и в настоящем автор в меру добродушен, юмористичен. В ином случае даже и слова не сказано «потешного», «веселящего», но юмор присутствует как бы внутри слова, внутри стиха — он весь точно озарен мягкой внутренней улыбкой («Стихи о настроении», «Полярная шуба Водопьянова», «Без напитков да вин...»). Бесспорно, это идет от характера самого поэта, и читатель чутко воспринимает его улыбку.

В произведения И. Николюкина органически входит и поэтика устного народного творчества — и напевные ритмы, и образная система. Как уже отмечалось, былинная символика нашла удачное применение в «Балладе о матери». Во многих же других стихах используются фольклорные песенные традиции: «За горами-долами, в сосновом бору...», «Над рекой склонилась ива сиротливая... не красивая красива, а любимая...», «Из-под горки, из-под низа, в сарафанчике, с утра, распустивши косы, Лиза носит воду...» — таких строк немало, которые невольно заставляют вспомнить о народных традициях в поэзии, о необходимости освоения и развития этих традиций. Нечего и говорить, что устное народное творчество — вечно живой родник национальной поэзии, если оно осваивается не механически, но творчески. Примеров тому много. Но если уж говорить о поэтах поколения И. Николюкина, то в первую очередь следует вспомнить творчество Н. Рубцова и О. Фокиной.

Казалось бы, ни жизненного, ни творческого опыта Николюкину не занимать. Но вот здесь-то мы невольно и возвращаемся к тому, с чего начали. Дело в том, что Николюкину еще предстоит преодолеть скованность, вырваться все из того же временного и тематического однообразия. Прошлое забывать нельзя, но нельзя и жить в поэзии прошлым — иначе неизбежен застой, который, кстати, уже очевиден в сборнике. Стилистические огрехи нередко идут от искусственности, видно, что запасы изобразительных средств оскудевают. Вот и появляются строки: «где чумазые рожи», «и пялился снова в окно», «заголивши юбку чуть не на бедро» и т. п. Такие стихи, увы, не украшают сборник.

Бесспорно, чтобы подняться на новую ступень в творчестве, необходимо и себя преодолеть, возвыситься духовно, обогатить свое поэтическое видение, свое поэтическое мышление, свою поэтическую культуру. Ведь вряд ли можно согласиться с поэтом, когда он утверждает:

Смейся часто и звонко.
Я люблю этот вспыльчивый
смех.

Городская девчонка,
Ты ничья,
В то же время — для всех...

А вокруг,
А вокруг
Ни одной добродушной улыбки.

Нет здесь «любви», впрочем, как и нет поэзии. В то же время рядом, через две страницы, можно прочесть другие стихи («Пустынный край»).

Все говорим о хатах
Да о поле,
А покидаем села навсегда.
С крестьянскою
Бесхитростной любовью,
Как с рюкзаком,
Уходим в города.

В свой дом родной
Уже стучишься гостем,
Желанным пусть,
Необходимым пусть...

Вот почему сегодняшняя осень
В моих краях
В меня вселяет грусть...

Иные слова, иная интонация, иное миросозерцание — и это лишь в силу того, что речь в данном случае идет не о городе, а о селе, о том, что особенно близко и дорого поэту.

На этом можно и остановиться. Однако есть необходимость сказать, что от И. Николюкина мы вправе ожидать большего, чем он предложил нам в книге стихов «Песни в поле». Он обладает своим голосом, своим видением мира, ему надо быть лишь несколько требовательнее к своему творчеству.

Б. СПОРОВ

Главный редактор **Анатолий ИВАНОВ**

Редакционная коллегия: **Валерий ГАНИЧЕВ, Вячеслав ГОРБАЧЕВ** (заместитель главного редактора), **Владимир ГРОШЕВ, Нодар ДУМБАДЗЕ, Александр ИГОШЕВ** (ответственный секретарь), **Борис ЛЕОНОВ, Михаил ЛОБАНОВ, Борис ОЛЕЙНИК, Петр ПРОСКУРИН, Иван САВЕЛЬЕВ, Владимир СЕМЕНОВ, Владимир СОЛОУХИН, Иван УХАНОВ, Василий ФЕДОРОВ, Владимир ФИРСОВ, Вячеслав ШУГАЕВ, Виктор ЯКОВЕНКО** (первый заместитель главного редактора).

Художественный редактор В. Недогонов

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 05.03.81. Подп. в печ. 20.04.81. А09744.
Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Условн. печ. л. 16,8.
Уч.-изд. л. 21,4. Тираж 872 500 экз. Цена 60 коп. Заказ 284.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Майский сбор лекарственных растений очень важен для медицинской промышленности.

Особое внимание советуем уделить сбору целебных цветов ландыша майского, ромашки аптечной, первоцвета весеннего, боярышника кроваво-красного, клевера красного, липы сердцевидной и липы сердцелистной. Сейчас следует собирать листья ландыша майского, ромашки аптечной, брусники, вахты трехлистной (трифоли), а также траву адониса весеннего (горицвета), ландыша майского, фиалки трехцветной.

Всем, кто принимает участие в сборе целебных и хозяйственно-ценных растений, надо, связаться с местными заготовительными организациями потребительской кооперации. Там можно узнать ассортимент растений, которые следует собирать в вашем районе, а также получить квалифицированную консультацию по технике сбора, правильной сушке и транспортировке лекарственных растений — ведь от этого зависит сохранность их свойств.

Желаем вам успеха!

ЦЕНТРОКООПЛЕКТЕХСЫРЬЕ ЦЕНТРОСОЮЗА

54

Цена 60 коп.

Индекс 70544